



Переводено Бакинской Инициативной Группой

ПРИЗРАК КОРОЛЯ ЛЕОПОЛЬДА

*История жадности,
террора и героизма в колониальной Африке*

Адам Хохшильд

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
ВСТУПЛЕНИЕ.....	16
ПРОЛОГ - «ТОРГОВЦЫ ПОХИЩАЮТ НАШИХ ЛЮДЕЙ».....	23

ЧАСТЬ I - ХОЖДЕНИЕ В ОГОНЬ

«Я НЕ ОТКАЖУСЬ ОТ ПОИСКОВ».....	43
ЛИС ПЕРЕХОДИТ ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ.....	61
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПИРОГ.....	83
«ДОГОВОРЫ ДОЛЖНЫ ДАРОВАТЬ НАМ ВСЁ».....	104
ОТ ФЛОРИДЫ ДО БЕРЛИНА.....	127
ПОД ФЛАГОМ ЯХТ-КЛУБА.....	146
ПЕРВЫЙ ЕРЕТИК.....	167
ГДЕ НЕТ ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ	188
ВСТРЕЧА С ГОСПОДИНОМ КУРЦЕМ	246
ПЛАЧУЩИЙ ЛЕС.....	261
ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО УБИЙЦ.....	288

ЧАСТЬ II - КОРОЛЬ В ОСАДЕ

ДАВИД И ГОЛИАФ.....	311
ВЗЛОМ ВОРОВСКОЙ КУХНИ.....	326
ОБНАЖИТЬ ЕГО ДЕЛА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ.....	346
РАСПЛАТА.....	371
«ЖУРНАЛИСТЫ НЕ ВЫДАЮТ КВИТАНЦИЙ».....	386
ЧУЖИХ НЕ БЫВАЕТ.....	413
ПОБЕДА?.....	445
ВЕЛИКОЕ ЗАБВЕНИЕ.....	471
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА.....	492

ПРЕДИСЛОВИЕ

Некоторая часть моего детства прошла в Конго. Это время я назвала бы маленькой главой моей жизни. Так как, приключение, произошедшее со мной во втором классе, сыграло огромную роль в моей судьбе. Не берусь сказать, как именно этот африканский отпечаток на моей психике повлиял на то, каким я выросла человеком, но тридцать пять лет спустя я держала в руках две большие книги, обе о Конго: одна, написанная мной, и другая, которую я прочла с восхищением, и которая ошеломила меня.

Я ничего не знала о проекте Адама Хохшильда до того, как закончила свой роман Библия ядовитого древа. Осенью, во время книжного тура, продавец подарил мне издание Призрак короля Леопольда, будучи уверенным, что я захочу прочитать ещё одну новую книгу о Конго. Признаюсь, мне хотелось читать что угодно другое после моего долгого погружения в плотные тексты о конголезской истории, культуре, ядовитых змеях и прочем. Но на следующий день я раскрыла Призрак в самолёте — и была захвачена. Эта книга была монументальной. Оказалось, что мы с Адамом трудились независимо друг от друга, создавая разные по жанру, но схожие по сути произведения. Изданные всего с разницей в несколько недель книги словно были призваны стать книжными подпорками вокруг целого века колониальной и постколониальной эксплуатации. Для меня было честью поставить мой том рядом с его книгой на полке. И двадцать лет спустя я всё ещё считаю так же.

Вероятно, настоящее чудо заключается в том, что два человека посвятили себя раскрытию истории, которую мир так успешно пытался забыть. В своём предисловии Хохшильд

описывает поразительный момент, когда он впервые узнал, что принудительный труд в Конго унёс восемь–десять миллионов жизней, что превратило эту страну в один из крупнейших мест массового уничтожения в новейшей истории. Будучи опытным профессионалом, много лет писавшим о правах человека, он никогда не слышал о периоде конголезской истории, где количество жертв было сопоставимо с Холокостом. Он задался вопросом, как такое стало возможным. Работа, которую вы держите в руках, стала результатом поиска автором ответов и последующего погружения в удивительную историю спонсированного Европой геноцида.

Как пишет Хохшильд, его любопытство как журналиста особенно усилилось потому, что он посетил Конго в начале 1960-х годов. Так получилось, что и я находилась там примерно в то же время. Но мой путь к профессиональному интересу к указанной теме был куда менее прямым. Когда моя семья переехала в Африку из сельской местности в США, я была слишком мала, чтобы понимать политические события, которые тогда формировали Конго, а именно тайное вмешательство иностранных держав с целью подорвать новорожденную демократию и борьбу транснациональных корпораций за доступ к богатым минеральным ресурсам страны в постколониальной «схватке без правил». Всё это проходило мимо слуха семилетнего ребёнка. Я даже не до конца осознавала трудности моей матери, пытавшейся вести семейное хозяйство в деревне без водопровода и электричества, без кого-либо в радиусе многих миль, кто говорил бы на её языке.

Я лишь смутно понимала проблемы, с которыми сталкивался мой отец в своей медицинской работе, ради которой он туда приехал: у него не было подготовленных помощников, а работать

приходилось в бетонном здании с несколькими железными койками и капризным электрогенератором. Он возвращался домой и рассказывал об операциях, которые приходилось делать в темноте и в такой изнуряющей жаре, что его очки постоянно норовили соскользнуть с носа прямо в открытую брюшную полость пациента. Я не обращала внимания на тревоги родителей по поводу того, что каждый ребёнок в нашей деревне, включая меня, подвергался риску от вероятности заражения оспой до нападения крокодилов. У меня были свои заботы. Например, раса: раньше мне и в голову не приходило думать о том, что я белая. Теперь я думала об этом каждый день, так как дети постоянно тёрли мои предплечья, чтобы проверить, не сотрётся ли мел. Их матери спрашивали, почему у меня и моего брата «нет нормальной кожи». Мы были первыми иностранными детьми, которых видели некоторые из наших новых знакомых, и которые явно произвели на них не очень сильное впечатление. Мы старались освоить навыки, которые, как нам казалось, могли бы изменить их мнение о нас: лазанье по деревьям, поиск съедобных насекомых и общение на языке Китуба. Со временем мы завели друзей, но наших навыков было недостаточно, чтобы слиться с толпой.

Этот «недостаток» я принесла с собой домой, в наш небольшой городок в Кентукки, где мало кто когда-либо выезжал дальше границы округа. Мне было нелегко снова вливаться в место, из которого я уехала, — за время моего отсутствия там кое-что изменилось. Во-первых, в нашей школе провели интеграцию. Двадцать или около того ребят, которые раньше учились в однокомнатной школе при афроамериканской методистской епископальной церкви, теперь были распределены по всем восьми

классам нашей школы — словно несколько зёрен перца в каждой пригоршне соли.

В Конго я научилась быть наблюдателем, следить за непроницаемыми социальными взаимодействиями и догадываться, как же сделать, чтобы выглядеть менее странной. И когда пошла в третий класс в Кентукки, я продолжила это занятие, пытаюсь понять своё место в новом социальном порядке. Я больше не могла воспринимать белизну кожи как нечто нейтральное, тем более как предмет зависти, после моего долгого сезона «розовокожего» унижения. Теперь с двумя детьми в нашем классе, на которых обращали внимание из-за их цвета кожи, я чувствовала заметное родство и с ними легче находила общий язык, чем с моими белокожими сверстниками.

Это стало образом жизни — стремиться к нормальности, неся в себе отличие. Подробности конголезской жизни, которые я впитала, — отрывочные образы, звуки и запахи, быстрый бег гекконов по освещённым лампами стенам, отважная «хореография» двух мальчиков с палками, защищавших меня от кобры, — эти воспоминания крепко засели в моей памяти, словно острова, отказываясь стираться под напором реки американских будней. Я смотрела на зубчатое жёлтое пятно с надписью «Бельгийское Конго» на нашей устаревшей школьной карте, на пятно, которое все игнорировали, пока мы заучивали европейские столицы. Когда я стала достаточно взрослой, чтобы покинуть родной дом и оглянуться назад, я слышала, как слово «бедность» применяли к Аппалачам, хотя у большинства из нас там были электричество в домах, доступ к школам, почтовая система, дороги и семейный автомобиль. Ничего из этого в моей другой деревне детства не было. Такое место настолько выходило за пределы понимания

моих друзей, что я никогда о нём не рассказывала. Но с годами я никогда не забывала, что в какой-то параллельной жизни, в то время как я обживала квартиру, полную так называемых «необходимостей», какие-то дети, с которыми я когда-то бегала (и проигрывала) в гонках, жили в глиняно-соломенных хижинах, ходили за водой по много километров по грунтовой тропе и растили детей, которые, возможно, никогда не пойдут в школу.

Я прочитала всё, что смогла найти о Конго, а этого было немного. У американцев не было связи с этим местом. На севере африканского континента стояли пирамиды, которые могли представлять интерес для туриста, а внизу разыгрывалась политическая драма апартеида, попадавшая в заголовки газет. Но середина была большим пятном - неясностью. Когда в разговоре заходила речь об Африке, её всегда представляли через призму неравенства: христианская миссия, призванная помочь невежественным, или благотворительное пожертвование, чтобы накормить несчастных детей. Такой разговор, с прилагающимися фотографиями умоляющих сирот, никак не согласовывался с энергичными конголезскими детьми, которых я когда-то знала, — блистательно владеющими навыками, необходимыми для их жизни, и совершенно очевидно не стремившимися быть похожими на меня. В разговорах о «имущих и неимущих» отсутствовало какое-либо представление о полноценных африканских культурах со своими законами и священными писаниями, с собственными способами готовить пищу, строить дома и растить семьи, о культурах, которые могли уже быть на пути к созданию собственной истории, но по какой-то причине оказались заточёнными. Теперь они казались застывшими на месте, отрезанными от остального мира.

Точно так же, как Хохшильд вспоминает своё точное местоположение в самолёте, когда впервые узнал о конголезских смертях в геноцидальных масштабах, я помню библиотечный закуток, где сидела с комком в горле, читая конголезские разоблачения, которые изменили мою жизнь. Мне тогда было почти тридцать; книга была Джонатана Квитни Бесконечные враги: создание недружелюбного мира (1984), пронизательное исследование об экономической политике США и её давней привычке манипулировать правительствами. Квитни подробно писал о Конго: как его с таким трудом завоёванная независимость продлилась всего около пятидесяти дней, прежде чем снова была утрачена, а алмазы, кобальт, самоопределение и всё остальное использовалось в пользу иностранных бизнес-интересов. США были главным действующим лицом в этом пиратстве. Первый избранный конголезский премьер-министр Патрис Лумумба заявил, что богатства Конго принадлежат её народу и будут использованы для улучшения их жизни. Ответ США заключался в том, чтобы вынашивать план убийства, финансировать переворот и заменить Лумумбу марионеточным диктатором, которого можно было бы подкупить, чтобы он открыл запасы страны для транснациональных корпораций. Естественно, я была потрясена этими разоблачениями. Я перерыла библиотеку и нашла стенограммы слушаний Конгресса, где задним числом расследовалась роль ЦРУ в дестабилизации независимого правительства Конго. Там было все: заговоры с целью убийства, приход к власти Мобуту. Позднее, когда конголезцы снова проголосовали за представительное правительство, агенты ЦРУ распустили новый парламент и позаботились о том, чтобы их человек остался у власти. Богатства продолжали утекать из страны

в чужие карманы — точно так же, как и в колониальные времена.

Помимо возмущения, я ощущала жгучее чувство собственной сопричастности, осознавая наивность своего предположения о том, что американцы и европейцы были оторваны от Конго. Мы обогащались и украшались за счёт этой страны. Почти каждая замужняя женщина, которую я знала, носила бриллиант, добытый из африканской земли. Кобальт в наших двигателях и самолётах, резиновые шины, которыми обеспечивался наш транспорт и которые помогли выиграть войны, и если заглянуть ещё дальше в прошлое, рабский труд, на котором была построена аграрная экономика моей страны, — всё это процветание происходило из места, о котором не упоминалось в наших учебниках истории. И это было вовсе не невинное упущение. Мой интерес теперь был сосредоточен на одном яростном вопросе: как одна из богатейших земель мира вошла в современную эпоху как родина самых бедных людей на земле?

Следующие десять лет я провела в поисках ответов. Я находилась прямо там, в колыбели современного богатства, когда самая зловещая модель колониальной эксплуатации превратилась в идеальный шторм постколониального узурпирования. История о том, что одна страна готова сделать с другой, слепота культурного высокомерия и грабёж под видом спасения: все эти сюжеты, соединённые воедино, стали моей одержимостью, и меня огорчало, как мало людей знали об этом. Я поклялась, что когда стану старше, умнее и достаточно уверенной в себе как писатель, я расскажу эту историю сама.

В конце концов, моё желание раскрыть правду стало сильнее, чем страх ошибиться, и я начала вынашивать замысел своей конголезской истории. Это должен был быть роман, потому

что именно так я умела рассказывать людям то, что они, как им казалось, не хотели слышать. Художественная литература требует от читателя задавать себе вопросы: какой ущерб наносится во имя спасения? Как завоеватель оправдывает завоевание, и что насчёт остальных, кто оказался пленником чудовищных решений своих правительств? Как нам смириться с нашими незаконно добытыми благами? Результатом моей долгой одержимости стала книга «Библия ядовитого дерева» (The Poisonwood Bible), опубликованная в 1998 году. Чтение «Призрака короля Леопольда» (King Leopold's Ghost) на заре её выхода стало ещё одним великим конголезским откровением в моей жизни.

Как бы хорошо я не знала эту территорию, я была не готова к полной предыстории. Моё внимание было сосредоточено на переходе от колониального правления, понимая, что всё началось с короля Леопольда, который извлёк из страны огромное состояние, прежде чем он передал её бельгийскому государству. Я рассматривала современное Конго в контексте, когда оно было колонизировано, когда социальные службы отсутствовали, высшее образование для конголезцев было незаконным, а инфраструктура строилась исключительно для вывоза богатств. Отсутствие материального и политического развития было следствием колониального правления, которое, как правило, рассматривает местное население лишь как полезный резерв рабочей силы и не заботится об их качестве жизни.

Но я не до конца осознавала ущерб, доставшийся в наследство от прежних поколений, когда вред был не пассивным, а мучительно преднамеренным. Геноцид оставляет психические шрамы у выжившего населения. Конголезцы, голосовавшие за своё первое независимое правительство в 1960 году, были

внуками и правнуками тех, кто видел, как вооружённые силы Леопольда захватили всю их землю, терроризировали их до подчинения и систематически изымали всё хорошее из их жизни. Тактика принудительного труда, кандалы и побои, целые деревни жён и детей, удерживаемых в заложниках до выполнения квот, отрубленные руки тех, кто всё же оказался непокорным, — все эти истории до сих пор живут в устной творчестве Конго, спустя целый век. В мире, где уже трудно удивиться тому, что один человек способен сделать другому, колонизация Конго стоит особняком.

Злодеи этой кампании были поистине легендарными фигурами: Генри Мортон Стэнли, прославленный американский исследователь (чьё рождение в Уэльсе было зарегистрировано как «Джон Роулендс, незаконнорожденный»), оказался жестоким нарциссом и патологическим лгуном. Король Леопольд, движимый бездонной жадностью, опирался на собственные способности скрытности и обмана, чтобы создать своё Свободное Государство Конго и добиться его признания американскими и европейскими главами государств. Его пышная пропаганда о «благodeяниях туземцам» обманула многих, но не всех; у этой истории были и свои герои. Джордж Вашингтон Уильямс, чернокожий американский журналист, вероятно, был первым иностранцем, посетившим Конго и разглядевшим жестокость в повседневном поведении комендантов станций и посвятил остаток жизни тому, чтобы рассказать миру эту правду. Эдмунд Морель, работавший в британской судоходной компании, заметил, что корабли, отправлявшиеся в Конго, везли только оружие, а возвращались, гружёные слоновой костью, каучуком и другими ценностями. Исследуя эту загадку, он раскрыл ужасы, которые сделали

его борцом за права человека. Роджер Кейсмент, ирландец, современник Мореля, служивший в британской консульской службе, был настолько заинтригован, чтобы поехать и увидеть всё собственными глазами, и вернулся с тем же пламенным стремлением низвергнуть Леопольда.

В соответствии с тем, на что способен один человек по отношению к другому — во зло или во благо — такие борцы, как Уильямс, Кейсмент и Морель, выступают противовесом алчным королям и тщеславным исследователям, и рассказ Хохшильда показывает весь спектр человеческих качеств. Я могу лишь представить, сколько часов исследований потребовалось, и восхищаюсь мастерством прозы, благодаря которому эти персонажи оживают так ярко. «Призрак короля Леопольда» читается как роман. Его гуманитарные активисты — идеалисты, несовершенные, часто разочарованные, иногда терзаемые тайными сомнениями, но поразительно достойные. Его колонизаторы — тоже в каком-то смысле идеалисты, но с ярко выраженной корыстью, порой подверженные сомнениям и весьма отвратительные. Леопольд здободневно актуален и в наши дни: мегаломаньяк-лидер, использующий свою власть для обогащения собственного бизнеса, отрицающий человечность иностранцев, манипулирующий средствами массовой информации и распространяющий фальшивые сведения, чтобы выставить себя в выгодном свете. (можно легко представить себе короля Леопольда, пользующегося Twitter-ом.) Это история, которую, надо признаться, никто из нас на самом деле не жаждал услышать, но благодаря мастерству повествования Хохшильда от нее невозможно оторваться.

Перечитывая книгу спустя двадцать лет, я поражаюсь

тому, насколько она всё ещё актуальна. Земля, обезображенная колонизацией, до сих пор пытается обрести свою подлинную форму. Граждане современной Демократической Республики Конго, объединенные вместе в полиглотную нацию с границами, проведёнными людьми, которые никогда не ступали на эту землю, прожили целые жизни, почти не имея опыта функционирующего государства. Трудно создать что-то из ничего. Но перспектива не безнадёжна: гражданские войны в стране завершились; новое поколение говорит с большей уверенностью, чем старое. Пока я пишу эти строки, страна готовится к выборам. Иностранные инвесторы снова обращают внимание на Конго и, возможно, окажутся более доброжелательными, чем хищные капиталисты прошлого. Уровень грамотности держится на уровне около 80 % (хотя среди женщин он значительно ниже, чем у мужчин). Но большая часть населения всё ещё лишена доступа к базовым услугам, и проблема продовольственной безопасности остаётся повсеместной. Конго по-прежнему остаётся богатой землёй очень бедных людей.

Сложности нового века требуют от нас указывать на преступления прошлого. Мы можем искренне надеяться, что больше никогда не повторится ужас, описанный на этих страницах, но только взглянув ему прямо в лицо, мы можем заключить негласный договор, чтобы так и было. Я простила себе то, как мало знала когда-то, но трудно принять то, как мало мы знаем до сих пор. Это одна из самых тщательно написанных историй Конго, но лишь немногие из её исторических свидетелей — сами конголезцы, и автор выражает по этому поводу печаль и глубокое разочарование. Те немногие свидетельства африканских мужчин и женщин, которые кто-либо вообще удосужился услышать,

перевести и записать во времена геноцида, Хохшилд превосходно использовал, и эти яркие рассказы об индивидуальных потерях являются самыми трогательными страницами книги. Но таких свидетельств существовало мало, а сохранилось ещё меньше. (Когда Леопольд передал свою колонию Бельгии, он сжёг все государственные архивы, заявив: «Я отдам им своё Конго, но они не имеют права знать, что я там сделал».) В этом и заключается мучительная суть истории: как население, состоявшее из миллионов душ, расселённых почти на миллион квадратных миль, богатое языками, музыкой и глубоко почитаемыми традициями, может быть заглушено и стерто. Всё, что мы можем сделать сегодня, — это внимать истории разрушения, рассказанной чужаками — теми, кто совершал злодеяния, и теми, кто содрогался от ужаса, — и пытаться услышать голоса уничтоженных. В этом и заключается великое достижение книги «Призрак короля Леопольда». Её призрачное эхо незабываемо.

Барбара Кингсолвер



Карта-схема «Конго-Свободное Государство» 1900-ый год.

ВСТУПЛЕНИЕ

Начало этой истории уходит далеко в прошлое, и её нотголоски звучат до сих пор. Но для меня центральным, ослепительно ярким моментом — тем, что освещает долгие десятилетия до и после — стало мгновение нравственного прозрения молодого человека.

Год — 1897-й или 1898-й. Попробуйте представить его: он бодро сходит с парохода, пересекшего Ла-Манш, крепкий, дородный мужчина лет двадцати пяти с усами «рогами». Он уверен в себе и говорит складно, но в его британской речи нет утончённости выпускника Итона или Оксфорда. Одет он хорошо, но не в одежду с Бонд-стрит. С больной матерью, женой и растущей семьёй на попечении он не из тех, кто, скорее всего, увлечётся какой-то идеалистической идеей. Его взгляды абсолютно традиционны. Он выглядит — и является — во всём солидным, респектабельным бизнесменом.

Эдмунд Дин Морель — доверенный сотрудник ливерпульской судоходной компании. Дочернее предприятие этой компании обладает монополией на все перевозки грузов в Свободное Государство Конго и из него, как оно тогда называлось, — огромную территорию в центральной Африке, которая является единственной в мире колонией, принадлежащей одному человеку. Этим человеком является король Бельгии Леопольд II, правитель, высоко ценимый по всей Европе как «филантропичный» монарх. Он приветствовал христианских миссионеров в своей новой колонии; его войска, как говорят, сражались и разгромили местных работорговцев, которые паразитировали на местном населении; и на протяжении более десяти лет европейские газеты восхваляли

его за то, что он вкладывал своё личное состояние в общественные работы на благо африканцев.

Поскольку Морель свободно говорит по-французски, его компания отправляет его в Бельгию каждые несколько недель контролировать погрузку и разгрузку судов, курсирующих по маршруту Конго. Хотя чиновники, с которыми он работает, уже много лет без особых размышлений занимаются этим грузоперевозками, Морель начинает замечать вещи, которые его тревожат. В доках большого порта Антверпена он видит, как корабли его компании прибывают, нагруженные до крышек люков ценными грузами резины и слоновой кости. Но когда они отшвартовываются, чтобы отправиться обратно в Конго, под звуки военных оркестров на пирсе и среди молодых людей в форме, выстроившихся вдоль поручней судов, на борту в основном находятся армейские офицеры, огнестрельное оружие и боеприпасы. Здесь нет торговли. Почти ничего не обменивается на резину и слоновую кость. Наблюдая, как эти богатства текут в Европу, почти без отправки товаров в Африку в оплату, Морель приходит к единственному выводу: их источник — рабский труд.

Встретившись лицом к лицу со злом, Морель не отвернулся. Напротив, увиденное определило путь всей его жизни и ход необыкновенного движения — первого великого международного движения за права человека XX века. Редко, когда один человек — страстный, красноречивый, обладающий блестящими организаторскими способностями и почти сверхчеловеческой энергией — практически в одиночку добивался того, чтобы одна тема более десяти лет держалась на первых страницах мировых газет. Спустя всего несколько лет после пребывания на доках Антверпена Эдмунд Морель уже находился в Белом

доме, настаивая перед президентом Теодором Рузвельтом, что Соединённые Штаты несут особую ответственность предпринять действия по поводу Конго. Он организовывал делегации в британское Министерство иностранных дел. Он мобилизовал таких разных людей, как Букер Т. Вашингтон, Анатолий Франс и архиепископ Кентерберийский, чтобы присоединить их к его делу. По всей территории США проводилось более двухсот массовых митингов против рабского труда в Конго. В Англии проводилось ещё больше собраний — почти триста в год, в период пика кампании, на которых одновременно присутствовало до пяти тысяч человек. В Лондоне письмо-протест в газету The Times по вопросу Конго подписали одиннадцать пэров, девятнадцать епископов, семьдесят шесть членов парламента, президенты семи торгово-промышленных палат, тринадцать главных редакторов крупных газет и каждый лорд-мэр страны. Выступления о зверствах в Конго короля Леопольда звучали даже в Австралии. В Италии по этому вопросу даже произошла дуэль между двумя мужчинами. Британский министр иностранных дел сэр Эдвард Грей, человек сдержанный в выражениях, заявил, что «за последние тридцать лет ни один внешний вопрос не волновал страну так сильно и так яростно».

Это история того движения, жестокого преступления, против которого оно было направлено, долгого периода исследований и завоеваний, которые ему предшествовали, и того, как мир забыл одну из крупнейших массовых гибелей в недавней истории.

Я почти ничего не знал об истории Конго еще несколько лет назад, когда случайно заметил сноску в книге, которую читал.

Часто, когда сталкиваешься с чем-то особенно поразительным, запоминаешь точно, где ты был, когда это читал. В этот раз я сидел, скованный и уставший, поздно ночью, в одном из дальних задних кресел самолёта, пересекавшего Соединённые Штаты с востока на запад.

Сноска относилась к цитате Марка Твена, написанной, как говорилось в примечании, когда он был участником мирового движения против рабского труда в Конго — практики, которая унесла восемь-десять миллионов жизней. Мировое движение? Восемь-десять миллионов жизней? Я был поражён.

Статистику по массовым убийствам часто трудно подтвердить. Но если это число оказалось даже наполовину меньше того, что указывалось, подумал я, Конго было бы одним из крупнейших полей смерти в современной истории. Почему эти смерти не упоминаются в стандартном перечне ужасов нашего века? И почему я никогда о них раньше не слышал? Я писал о правах человека много лет, и однажды, совершив около полудюжины поездок в Африку, я побывал и в Конго.

Этот визит состоялся в 1961 году. В одной из квартир Леопольдвилья я услышал, как сотрудник ЦРУ, перебравший, с удовлетворением описывал, как и где несколько месяцев назад был убит первый премьер-министр недавно независимой страны Патрис Лумумба. Он предполагал, что любой американец, даже такой гость-студент, как я, разделит его облегчение по поводу убийства человека, которого правительство США считало опасным левым бунтарём. За день или два до этого, рано утром, я покинул страну на пароме через реку Конго, а разговор всё ещё звучал у меня в голове, когда солнце поднималось над волнами, и тёмная гладкая вода плескалась о борт лодки.

Прошло несколько десятилетий, прежде чем я столкнулся с той сноской, а вместе с ней и с собственным незнанием ранней истории Конго. Тогда до меня дошло, что, как и миллионы других людей, я всё же читал что-то об этом времени и месте — роман Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Однако, имея в памяти заметки к лекциям с каракулями о фрейдистских оттенках, мифических отзвуках и внутреннем зрении, я мысленно отнёс эту книгу к художественной литературе, а не к документальной.

Я начал читать больше. Чем дальше я углублялся, тем яснее становилось, что Конго столетней давности действительно понесло потери, сопоставимые с Холокостом. В то же время я неожиданно оказался увлечён выдающимися личностями, жившими в этот период истории. Хотя именно Эдмунд Дене Морель разжёг движение, он не был первым посторонним, кто увидел Конго короля Леопольда таким, каким оно было, и пытался привлечь к этому внимание мира. Эту роль сыграл Джордж Вашингтон Уильямс, чёрный американский журналист и историк, который, в отличие от всех предшественников, брал интервью у африканцев об их взаимоотношениях с белыми завоевателями. Другой чёрный американец Уильям Шеппард, зафиксировал сцену, которую увидел в конголезском тропическом лесу и которая стала символом колониальной жестокости в сознании мира. Были и другие герои, один из самых смелых из которых закончил жизнь на лондонской виселице. Затем, конечно, на сцену этой истории вышел молодой морской капитан Джозеф Конрад, ожидавший экзотической Африки своих детских мечтаний, но обнаруживший вместо этого то, что он назвал «самой отвратительной борьбой за добычу, когда-либо осквернявшей историю человеческой совести». И возвышался над всеми ими король Леопольд II —

человек, наполненный жадностью и хитростью, лицемерием и обаянием не меньше, чем любой из более сложных злодеев Шекспира.

Следя за переплетением судеб этих людей, я осознал ещё кое-что о терроре в Конго и споре, который его окружал. Это был первый крупный международный скандал с массовыми зверствами в эпоху телеграфа и фотографии. В своём сочетании кровопролития в промышленных масштабах, королевской власти, секса, влияния знаменитостей, соперничающих лоббистских и медийных кампаний, бушевавших в полдюжине стран по обе стороны Атлантики, он казался поразительно близким к нашему времени. Более того, в отличие от многих других великих хищников истории — от Чингисхана до испанских конкистадоров — король Леопольд II ни разу не увидел ни капли крови, пролитой в гневе. Он ни разу не ступал на землю Конго. В этом есть что-то очень современное, как и в образе пилота-бомбардировщика в стратосфере, над облаками, который никогда не слышит криков и не видит разрушенных домов или изорванной плоти.

Хотя Европа давно забыла жертв Конго Леопольда, я обнаружил огромное количество исходного материала для восстановления их судьбы: мемуары исследователей, капитанов пароходов, военных; записи миссионерских станций; отчёты правительственных расследований; и эти характерные для викторианской эпохи явления — рассказы джентльменов (а иногда и дам) — «путешественников». Викторианская эпоха была золотым веком писем и дневников; и часто кажется, что каждый посетитель или чиновник в Конго вел обширный журнал и каждую ночь на берегу реки писал письма домой.

Одна проблема, конечно, в том, что почти весь этот огромный

поток слов принадлежит европейцам или американцам. В Конго не было письменного языка, когда туда впервые прибыли европейцы, и это неизбежно искажило способ записи истории. У нас есть десятки мемуаров белых чиновников территории; мы знаем меняющиеся мнения ключевых фигур в британском министерстве иностранных дел, порой вплоть до ежедневных изменений. Но у нас нет ни полного мемуара, ни полной устной истории, ни одного конголезца за период наибольшего террора. Вместо африканских голосов из того времени в основном царит молчание.

И всё же, погружаясь в этот материал, я увидел, насколько он откровенен. Люди, захватившие Конго, часто громко заявляли о своих убийствах, хвастаясь ими в книгах и газетных статьях. Некоторые вели удивительно откровенные дневники, которые показывают гораздо больше, чем намеревались их авторы, так же как и обширное и подробное руководство для колониальных чиновников. Более того, несколько офицеров частной армии, оккупировавшей Конго, почувствовали вину за кровь на своих руках. Их показания и документы, которые они переправляли тайно, помогли подпитать протестное движение. Даже среди жестоко подавленных африканцев молчание не было полным. Некоторые из их действий и голосов, хотя и проходят через призму записей их завоевателей, мы всё ещё можем видеть и слышать.

Наибольшее кровопролитие в Конго произошло между 1890 и 1910 годами, но его истоки лежат на гораздо раннем этапе, когда европейцы и африканцы впервые встретились там. Чтобы добраться до истоков нашей истории, нам нужно вернуться более чем на пятьсот лет назад — во времена, когда капитан корабля увидел, как океан меняет цвет, и когда король получил весть о странном явлении, поднявшемся из недр Земли.

ПРОЛОГ

«ТОРГОВЦЫ ПОХИЩАЮТ НАШИХ ЛЮДЕЙ»

Когда европейцы начали представлять себе Африку за пределами Сахары, этот континент в их воображении был подобен сновидению — местом фантазий о страшном и сверхъестественном. Ранульф Хигден, бенедиктинский монах, который составил карту мира примерно к 1350 году, утверждал, что в Африке живут одноглазые люди, которые используют ноги, чтобы покрыть голову. Географ следующего столетия заявил, что на континенте обитают люди с одной ногой, тремя лицами и головами львов. В 1459 году итальянский монах Фра Мауро объявил Африку родиной Рока — птицы настолько огромной, что она могла переносить слона по воздуху.

В Средние века почти никто в Европе не мог знать, обитали ли в Африке гигантские птицы, одноглазые люди или что-то ещё. Враждебные мавры жили на средиземноморском побережье Африки, и мало кто из европейцев осмеливался ступить туда, не говоря уже о том, чтобы направиться на юг через Сахару. Что же касается попыток плыть вдоль западного побережья Африки, то все знали: как только пройдёшь Канарские острова, попадёшь в Mare Tenebroso — Море Тьмы.

В средневековом воображении [пишет Питер Форбат] это был регион крайнего ужаса, где небеса сбрасывают жидкие пласты пламени, а воды кипят, где змеевидные скалы и острова-людоеды поджидают моряка, где гигантская рука Сатаны поднимается из бездонных глубин, чтобы схватить его, где он почернеет в лице и теле в знак божьей кары за дерзость пытаться разгадать

эту запретную тайну. И даже если ему удастся пережить все эти ужасные опасности и продолжить плавание, он попадёт в Море Тьмы и навсегда затеряется в парах и слизи на краю мира.

Только в пятнадцатом веке, на заре эпохи океанской навигации, европейцы систематически начали продвигаться на юг во главе с португальцами. В 1440-х годах лиссабонские кораблестроители разработали каравеллу — компактное судно, особенно хорошо способное идти против ветра. Хотя оно редко превышало сто футов в длину, этот прочный корабль доставлял исследователей далеко вниз по западному побережью Африки, где никто не знал, какие сокровища — золото, специи и драгоценные камни — могут там находиться. Однако не только жажда богатств вела исследователей. Где-то в Африке, как они знали, находился исток Нила — загадка, которая увлекала европейцев с древних времён. Их также влекла одна из самых стойких средневековых легенд — легенда о Пресвитере Иоанне, христианском короле, который, как говорили, правил огромной империей в глубине Африки, где из дворца, построенного из прозрачного хрусталя и драгоценных камней, он властвовал над сорока двумя вассальными королями, а также над разными кентаврами и гигантами. Ни один путешественник никогда не уходил с его обеденного стола из цельного изумруда, который вмещал тысячи гостей. Несомненно, Пресвитер Иоанн был бы рад поделиться своими богатствами со своими собратьями-христианами и помочь им найти путь к легендарным богатствам Индии.

Одна за другой португальские экспедиции продвигались всё дальше на юг. В 1482 году опытный морской капитан по имени Диогу Кан отправился в самое амбициозное плавание на тот момент. Плывая вдоль западного побережья Африки он увидел,

как Северная звезда исчезла с неба, когда его каравелла пересекла экватор, и оказался значительно южнее, чем когда-либо бывал кто-либо из Европы.

Однажды Кан наткнулся на нечто, что поразило его. Вокруг его корабля море стало тёмным, с оттенком сланца и жёлтым отливом, а буро-жёлтые волны разбивались о ближайшие пляжи. Приближаясь к устью пролива шириной в много миль, его каравелле пришлось бороться с течением в восемь–девять узлов. Более того, вкус воды вокруг корабля показал, что она была пресной, а не солёной. Кан наткнулся на устье огромной, заиленной реки, большей, чем когда-либо видел европейский человек. Впечатление от её величия, которое она произвела на него и его людей, отражено в одном современном описании:

На протяжении двадцати лиг [река] сохраняет свои пресные воды, не смешиваясь с солёными волнами, которые окружают её со всех сторон; словно эта благородная река решила помериться силами в открытом сражении с самим океаном и одна отказать ему в дани, которую все прочие реки в мире платят без сопротивления.

Современные океанографы нашли новые доказательства могучей силы этой великой реки в её «открытом сражении с океаном»: стокилометровый каньон, местами глубиной до четырёх тысяч футов, который река прорезала в морском дне.

Кан высадился на берег у устья реки и воздвиг известняковую колонну, увенчанную железным крестом и украшенную королевским гербом, с надписью: «В 6681 году от Сотворения мира и в 1482 году от рождения Господа нашего Иисуса Христа, пресветлый, преславный и могущественный принц, король Жоау II Португальский повелел открыть эту землю и воздвигнуть эту каменную колонну оруженосцем своего двора Диогу Каном».

Река, у устья которой он высадился, была известна европейцам на протяжении почти пятисот лет как Конго. Она впадала в море на северной окраине процветавшего африканского королевства — имперской федерации с населением от двух до трёх миллионов человек. С тех пор географы обычно писали название реки и будущей европейской колонии на её берегах одним образом, а название народа, жившего у её устья, и их исконного королевства — другим.

Королевство Конго занимало площадь примерно в триста миль по каждой стороне, охватывая территории, которые сегодня находятся в пределах нескольких государств. Его столицей был город Мбанза Конго (mbanza означает «двор»), расположенный на господствующем холме примерно в десяти днях пешего пути от побережья, сегодня — на ангольской стороне границы между Анголой и Конго. В 1491 году, спустя девять лет и несколько плаваний после высадки Диогу Кана, экспедиция восхищённых португальских священников и эmissаров совершила этот десятидневный путь и обосновалась там в качестве постоянных представителей своей страны при дворе короля Конго. Их прибытие ознаменовало начало первого продолжительного контакта между европейцами и чернокожим африканским государством.

Королевство Конго существовало как минимум сто лет до прибытия португальцев. Его монарх - МаниКонго избирался собранием вождей кланов. Подобно своим европейским коллегам, он восседал на троне — в его случае деревянном, инкрустированном слоновой костью. В качестве символов королевской власти МаниКонго носил плетъ из хвоста зебры, имел на поясе подвешенные шкуры и головы детёнышей животных и надевал небольшую шапку.

В столице король вершил правосудие, принимал подданных и проводил смотр войск под фиговым деревом на большой площади. Любой, кто приближался к нему, должен был делать это на четвереньках. Под страхом смерти никому не позволялось смотреть, как он ест или пьёт. Перед тем как приступить к трапезе или питью, слуга ударял друг о друга двумя железными прутьями, и все, кто был в поле зрения, должны были лечь лицом вниз на землю.

МаниКонго, который тогда находился на троне, тепло приветствовал португальцев. Его энтузиазм, вероятно, был вызван не столько Спасителем, о котором рассказывали ему неожиданные гости, сколько помощью, которую обещали их магические оружия, извергающие огонь, в подавлении беспокойного провинциального восстания. Португальцы были рады оказать такую услугу.

Новоприбывшие построили церкви и миссионерские школы. Как и многие белые евангелисты, последовавшие за ними, они были ужасно возмущены многоженством; они думали, что причиной этого страшного обычая были специи в африканской пище. Но несмотря на своё презрение к культуре Конго, португальцы с неохотой признали в королевстве сложное и хорошо развитое государство — ведущее на западном побережье центральной Африки. МаниКонго назначал губернаторов для примерно полудюжины провинций, а его власть осуществлялась разветвлённой бюрократией, включавшей такие специализированные должности, как мани вянгуну вянгуну — первый судья по делам прелюбодеяния. Хотя у них не было письменности и колеса, жители умели изготавливать украшения из меди, оружие из железа и ткать одежду из волокон, снятых с листьев рафии. Согласно мифу, основателем государства Конго

был король-кузнец, поэтому обработка железа была занятием знати. Люди выращивали ямс, бананы и другие фрукты и овощи, а также разводили свиней, крупный рогатый скот и коз. Расстояния измеряли в маршевых днях, время — по лунному месяцу и четырёхдневной неделе, первый день которой был выходным. Король собирал налоги со своих подданных и, как многие правители, контролировал денежную массу: каури — раковины морских моллюсков, найденные на прибрежном острове, находящемся под королевской властью.

Как и во многих частях Африки, в королевстве существовало рабство. Характер африканского рабства варьировался от региона к региону и менялся со временем, но большинство рабов были людьми, захваченными в ходе войн. Другие были преступниками или должниками, а также могли быть отданы их семьями в рамках брачного приданого. Как и любая система, дающая одним людям полную власть над другими, рабство в Африке могло быть жестоким. Некоторые народы бассейна Конго приносили рабов в жертву по особым случаям, например, при утверждении договора между вождями; медленная смерть оставленного раба с переломанными костями символизировала судьбу каждого, кто нарушит договор. Некоторые рабы также могли быть принесены в жертву, чтобы сопровождать душу умершего вождя в его путешествии в потусторонний мир.

В других аспектах африканское рабство было более гибким и менее жестоким, чем система, которую вскоре европейцы установили в Новом Свете. За одно-два поколения рабы часто могли заработать или получить свободу, а свободные люди и рабы иногда вступали в брак. Тем не менее, сам факт существования торговли людьми в любой форме оказался катастрофическим

для Африки, поскольку, когда европейцы появились, готовые покупать бесконечные корабли рабов, они обнаружили, что африканские вожди были готовы их продавать.

Вскоре прибыли покупатели рабов. Сначала их было немного, но затем поток увеличился из-за событий, произошедших за Атлантикой. В 1500 году, всего через девять лет после прибытия первых европейцев в Мбанза Конго, португальская экспедиция сбилась с курса и обнаружила Бразилию. Через несколько десятилетий Западное полушарие стало огромным, выгодным и почти ненасытным рынком для африканских рабов. Их миллионами использовали на рудниках и кофейных плантациях Бразилии, а также на Карибских островах, где другие европейские державы быстро начали использовать богатую плодородную землю для выращивания сахара.

В Королевстве Конго португальцы забыли о поисках Пресвитера Иоанна. Их охватила лихорадка рабства. Люди, отправленные из Лиссабона в Мбанза Конго в роли каменщиков или учителей, вскоре стали зарабатывать гораздо больше, загоняя конвои закованных в цепи африканцев к побережью и продавая их капитанам каравелл, перевозивших рабов.

Жажда прибыли от рабства охватила даже некоторых священников, которые оставили своё проповедничество, взяли чернокожих женщин в наложницы, сами держали рабов и продавали в рабство своих учеников и новообращённых. Однако священники, отклонившиеся от истинной веры, всё же придерживались её в одном аспекте: после Реформации они старались не допустить, чтобы их «товар» попал в руки протестантов. Один из них говорил, что «недопустимо продавать людей, крещённых в католической церкви, народам, врагам их веры.»

Деревня рядом с каменным столбом Диогу Кана на южном берегу устья реки Конго стала портом работорговли, из которого к 1530-м годам ежегодно отправляли через Атлантику более пяти тысяч рабов. К следующему веку из Королевства Конго ежегодно экспортировалось пятнадцать тысяч рабов. Торговцы тщательно вели учёт своего «товара». Один сохранившийся инвентарь из этого региона перечисляет «68 голов» рабов по именам, физическим дефектам и денежной стоимости, начиная с мужчин, которые стоили больше всего, и заканчивая: «Ребёнок, имя неизвестно, так как она умирает и не может говорить, мужчина без стоимости, и маленькая девочка Калембо, без стоимости, потому что умирает; одна маленькая девочка Кантунбе, без стоимости, потому что умирает.»

Многие из рабов, отправляемых в Америку из устья великой реки, происходили непосредственно из Королевства Конго; многие другие были захвачены африканскими работорговцами, которые заходили более чем на семьсот миль вглубь материка, покупая рабов у местных вождей и старейшин. Их насильно гнали к побережью, с шеями, зафиксированными деревянными ярмами; рабам редко давали достаточно пищи, и поскольку караваны обычно путешествовали в сухой сезон, они часто пили стоячую воду. Тропы к портам работорговли вскоре устилались белеющими костями.

После того как рабов крестили, одевали в оставшиеся мешковинные обёртки от грузов и сковывали вместе цепями в трюмах кораблей, большинство из них отправляли в Бразилию — ближайшую часть Нового Света. Однако начиная с 1600-х годов растущий спрос побуждал многих капитанов судов совершать более длинное путешествие к британским колониям в Северной

Америке. Примерно каждый четвёртый раб, ввезённый для работы на хлопковых и табачных плантациях американского Юга, начинал свой путь через Атлантику из экваториальной Африки, включая королевство Конго. Язык КиКонго, на котором говорили вокруг устья реки Конго, является одним из африканских языков, следы которых лингвисты обнаружили в диалекте гуля, на котором сегодня говорят афроамериканцы на прибрежных островах Южной Каролины и Джорджии.

Когда трансатлантическая работорговля начала опустошать Конго, страной правил МаниКонго по имени Нзинга Мбемба Афонсу, взойшедший на трон в 1506 году и управлявший как Афонсу I почти сорок лет. Жизнь Афонсу охватывала переломную эпоху. Когда он родился, в королевстве никто не знал о существовании европейцев. Когда он умер, всё его государство оказалось под угрозой из-за лихорадки работорговли, вызванной ими. Это был человек трагического самосознания, оставивший глубокий след в истории. Спустя триста лет один миссионер сказал: «Житель Конго знает имена трёх королей: нынешнего, его предшественника и Афонсу».

Он был провинциальным вождём в возрасте чуть за тридцать, когда в 1491 году португальцы впервые прибыли в Мбанза Конго. Приняв христианство, он взял имя Афонсу, окружил себя португальскими советниками и десять лет учился у священников в Мбанза Конго. Один из них писал королю Португалии, что Афонсу «лучше нас знает пророков, Евангелие нашего Спасителя Иисуса Христа, все жития святых и всё, что связано с нашей святой матерью Церковью. Если бы Ваше Величество увидело его, вы

были бы поражены. Он говорит так хорошо и с такой уверенностью, что мне всегда кажется, будто через его уста говорит Святой Дух. Государь, он ничем не занимается, кроме учёбы; много раз он засыпает над книгами и нередко забывает есть или пить, потому что говорит о нашем Спасителе». Трудно сказать, сколько в этом восторженном портрете было искреннего восхищения священника и сколько — стремления Афонсу произвести впечатление.

Говоря языком более поздней эпохи, король Афонсу I был модернизатором. Он настойчиво стремился получить европейские знания, оружие и товары, чтобы укрепить свою власть и защитить её от дестабилизирующего влияния белых чужеземцев. Так, заметив португальскую жадность к меди, он обменивал её на европейские товары, которые помогали ему подчинять дальние провинции. Будучи человеком необычного ума, Афонсу пытался сделать то, что трудно как в его время, так и в наше: быть избирательным модернизатором. Он был энтузиастом в вопросах церкви, письменности, европейской медицины, а также плотницкого и каменщицкого дела и других навыков, которым учили португальские мастера. Но когда его королевский собрат в Лиссабоне прислал посланника с предложением принять португальский свод законов и придворный этикет, Афонсу не проявил интереса. Он также прилагал усилия, чтобы не допустить старателей, опасаясь, что европейцы полностью захватят его землю, если найдут желанное золото и серебро.

Поскольку практически вся информация, которую мы имеем об этой части Африки в последующие несколько сотен лет, поступает к нам от её белых завоевателей, король Афонсу I даёт нам нечто редкое и ценное — африканский голос. Действительно, его голос — один из очень немногих центральноафриканских голосов,

которые мы можем услышать вообще до XX века. Он использовал своё свободное владение португальским языком, чтобы диктовать замечательную серию писем двум последовательно правившим португальским королям — первые известные документы, написанные чернокожим африканцем на европейском языке. Сохранилось несколько десятков писем, подписанных им королевским почерком и двойным подчёркиванием. Тон этих писем формален, как у монарха к монарху, обычно начинаясь словами: «Самый высокий и могущественный князь и король, мой брат». Но мы слышим не просто короля, мы слышим человека, который ужасается, видя, как его народ всё в больших количествах увозят на рабовладельческих кораблях.

Афонсу не был аболиционистом. Как и большинство африканских правителей своего времени и позже, он владел рабами, и по крайней мере один раз отправил некоторых в подарок своему «брату» королю в Лиссабон, вместе с леопардовыми шкурами, попугаями и медными браслетами. Но эта традиционная практика обмена подарками между королями казалась Афонсу совершенно иной вещью по сравнению с тем, как десятки тысяч его ранее свободных подданных увозили через море в цепях. Послушайте его, когда он пишет королю Жуану III Португальскому в 1526 году:

«Каждый день торговцы похищают наших людей — детей этой земли, сыновей наших знатных и вассалов, даже членов нашей собственной семьи. Это извращение и развращённость так широко распространены, что наша земля полностью обезлюдела. В этом королевстве нам нужны только священники и учителя, и никакой торговли, если только это не вино и мука для мессы. Мы желаем, чтобы это королевство не стало местом торговли или перевозки рабов.»

Позже в том же году:

«Многие из наших подданных с жадностью желают португальские товары, которые ваши подданные привезли в наши владения. Чтобы удовлетворить эту чрезмерную страсть, они захватывают многих наших свободных чернокожих подданных. Они продают их, тайно или ночью доставляя этих пленников [к берегу]. Как только пленники оказываются в руках белых людей, их клеймят раскалённым железом.»

Афонсо вновь и вновь возвращается к двум главным темам — работоторговле и заманчивому ассортименту тканей, инструментов, украшений и других безделушек, в обмен на которые португальские торговцы покупают человеческий товар.

«Эти товары настолько сильно притягивают простых и необразованных людей, что они начинают верить в них и забывают о своей вере в Бога. Милорд, чудовищная жадность толкает наших подданных, даже христиан, похищать членов своих собственных семей — и наших тоже — чтобы вести торговлю, продавая их как пленников.»

Прося короля Португалии прислать ему учителей, аптекарей и врачей вместо торговцев, Афонсо признаёт, что поток материальных товаров угрожал его власти. Его народ «теперь может достать в гораздо большем количестве, чем мы, вещи, которыми раньше удерживали их в послушании и довольстве». Жалоба Афонсо оказалась предвидением: это было не в последний раз, когда жажда великого европейского изобилия подрывала традиционные образы жизни в других местах.

Португальские короли не проявили сочувствия. Король Жуан III ответил: «Ты говоришь мне, что не хочешь работоторговли в своих владениях, потому что эта торговля опустошает твою

страну. Португальцы же там, наоборот, рассказывают, насколько велик Конго и насколько густо он населен, что кажется, будто ни один раб оттуда никогда не уходил».

Афонсу обращался к своим собратьям-монархам, как христианин к христианину, с предрассудками того времени. О священниках, ставших работорговцами, он писал:

«В этом королевстве вера так же хрупка, как стекло, из-за дурных примеров людей, которые сюда приходят учить, потому что страсти мира и соблазн богатства отвратили их от истины. Так же, как евреи распяли Сына Божьего из-за алчности, брат мой, так и сегодня Он снова распинается.»

Несколько раз Афонсу направлял свои призывы положить конец работорговле непосредственно папе римскому, но португальцы задерживали его эмиссаров в Ватикан, когда они сходили с корабля в Лиссабоне.

Отчаяние Афонсо достигло своего пика в 1539 году, близко к концу его жизни, когда он узнал, что десять его юных племянников, внуков и других родственников, отправленных в Португалию для религиозного образования, пропали по пути. «Мы не знаем, живы они или мертвы, — писал он в отчаянии, — не знаем, как они могли погибнуть и какую весть мы можем передать их отцам и матерям». Можно представить себе ужас короля от того, что он не мог гарантировать безопасность даже своей собственной семьи. Португальские торговцы и капитаны кораблей на длинном пути обратно в Европу часто перенаправляли грузы между королевством Конго и Лиссабоном; как оказалось, эти молодые люди оказались рабами в Бразилии.

Его ненависть к заморской работорговле и стремление не допустить подрыва его авторитета навлекли на Афонсу неприязнь

некоторых португальских купцов, живших в его столице. Группа из восьми человек совершила покушение на его жизнь, когда он посещал мессу в пасхальное воскресенье в 1540 году. Он отделался лишь пулевым отверстием в бахроме своей королевской мантии, но один из его приближенных был убит, а двое других ранены.

После смерти Афонсу власть государства Конго постепенно ослабла, поскольку вожди провинций и деревень, которые сами разбогатели на продаже рабов, больше не были преданы двору Мбанза Конго. К концу 1500-х годов к работорговле присоединились и другие европейские страны; британские, французские и голландские суда бороздили африканское побережье в поисках человеческого «груза». В 1665 году армия ослабленного королевства Конго вступила в сражение с португальцами. Она потерпела поражение, а МаниКонго был обезглавлен. Внутренние распри еще больше истощили королевство, вся территория которого к концу 1800-х годов была захвачена европейскими колониями.

За исключением писем Афонсу, письменные источники той эпохи по-прежнему показывают её исключительно глазами белых. Как же европейцы, начиная с Диогу Кана и его трёх кораблей с выцветшими красными крестами на парусах, выглядели для людей, живших у устья великой реки? Чтобы увидеть это их глазами, нужно обратиться к мифам и легендам, которые передавались из поколения в поколение. Поначалу африканцы, по-видимому, видели в белых морях не людей, а вумби — духов предков, поскольку народ Конго верил, что кожа человека становится цвета мела, когда он переходит в мир мёртвых. И было очевидно,

что именно оттуда пришли эти зловещие белые вумби, ведь люди на берегу сначала видели верхушки мачт приближающегося корабля, затем его надстройку, а потом и корпус. Явно корабль доставил своих пассажиров из их жилищ под землёй. Вот как описал прибытие португальцев Мукунзо Киоко, устный историк народа пенде XX века:

«Наши отцы жили в достатке. У них был скот и посевы; у них были солончаки и банановые деревья.

Вдруг они увидели большой корабль, поднимающийся из великого океана. У этого корабля были белоснежные крылья, сверкавшие, как ножи.

Из воды вышли белые люди и заговорили словами, которых никто не понимал.

Наши предки испугались; они сказали, что это вумби — духи, вернувшиеся из мира мёртвых.

Они оттеснили их обратно в океан залпами стрел. Но вумби плевались огнём с грохотом грома. Многие люди были убиты. Наши предки бежали.

Вожди и мудрецы сказали, что эти вумби — бывшие хозяева этой земли.

С тех пор и до наших дней белые принесли нам лишь войны и бедствия.»

Трансатлантическая работоторговля казалась ещё одним подтверждением того, что европейцы пришли из мира мёртвых, ведь после того как они увозили полные корабли рабов в море, пленники никогда не возвращались. Так же, как европейцы долгое время были одержимы представлением о людоедстве в Африке, африканцы воображали, что европейцы практикуют то же самое. Считалось, что белые превращают плоть пленников в

солёное мясо, их мозг — в сыр, а кровь — в красное вино, которое пьют европейцы. Африканские кости сжигались, и серый пепел превращался в порошок. Огромные медные дымящиеся котлы, которые можно было увидеть на парусных судах, по поверьям, были местом, где начинались все эти смертоносные превращения. Смертность на переполненных невольничьих кораблях, отплывавших на запад с побережья Конго, становилась ещё выше, когда некоторые рабы отказывались есть предлагаемую им пищу, полагая, что едят тех, кто плыл до них.

С течением лет возникали новые мифы, объяснявшие загадочные предметы, которые незнакомцы привозили из мира мёртвых. Один миссионер XIX века записал, например, африканское объяснение того, что происходило, когда капитаны спускались в трюмы своих кораблей за торговыми товарами, вроде ткани. Африканцы верили, что эти товары поступают не с самого корабля, а из отверстия, ведущего в океан. Морские духи ткут эту ткань в «подводной фабрике, и, когда нам нужна ткань, капитан идёт к этому отверстию и звенит в колокол». Морские духи подают ему ткань, а капитан «в качестве платы бросает туда несколько мёртвых тел чёрных людей, которых он купил у тех злых туземных торговцев, что околдовали свой народ и продали его белым». Этот миф был не так уж далёк от реальности. Ведь что представляло собой рабство на американском Юге, как не систему превращения труда чёрных тел — через хлопковые плантации — в ткань?

Поскольку африканские посредники доставляли пленников прямо к их кораблям, португальские торговцы редко удалялись далеко от побережья. На самом деле, почти четыре столетия

спустя после того, как Диогу Кан открыл реку Конго, европейцы так и не знали, откуда она берёт начало. В океан она сбрасывает около 1,4 миллиона кубических футов воды в секунду; больше воды несёт только Амазонка. Помимо своих огромных размеров и неизвестного истока, Конго представляла ещё одну загадку. Моряки замечали, что её течение, по сравнению с другими тропическими реками, менялось относительно мало в течение года. Реки вроде Амазонки и Ганга имели периоды крайне высокого и низкого уровня воды, в зависимости от того, переживала ли территория, с которой они стекали, сезон дождей или засухи. Чем же отличалась Конго?

Причина, по которой за несколько столетий путешественникам так и не удалось исследовать исток Конго, заключалась в том, что подняться вверх по реке было невозможно. Любой, кто пытался, обнаруживал, что река превращается в ущелье, в верховьях которого находились непроходимые пороги.

Большая часть бассейна реки Конго, как мы теперь знаем, расположена на плато в глубине африканского континента. С западного края этого плато, почти тысячефутовой высоты, река спускается к уровню моря всего за 220 миль. Во время этого бурного спуска река сжимается в узких каньонах, вздымается волнами высотой до 40 футов и падает с 32 отдельных водопадов. Настолько велик перепад высот и объём воды, что эти 220 миль обладают гидроэнергетическим потенциалом, равным суммарному потенциалу всех озёр и рек Соединённых Штатов.

Для любого моряка, достаточно смелого, чтобы сойти с корабля и пойти пешком, сухопутный путь в обход порогов вёл в гору через пересечённую, каменистую местность, опасную своими коварными утёсами и оврагами, а также малярией и

другими болезнями, к которым у европейцев не было иммунитета. Лишь с огромным трудом некоторым капуцинским миссионерам дважды удалось ненадолго пробраться вглубь страны до вершины великих порогов. Португальская экспедиция, предпринявшая попытку повторить этот путь, так и не вернулась. К началу XIX века европейцы всё ещё ничего не знали о внутренней части Центральной Африки или о том, где берёт начало эта река.

В 1816 году британская экспедиция под руководством капитана Джеймса К. Таки из Королевского флота отправилась на поиски истоков Конго. Его два корабля несли на борту удивительно странную компанию людей: морских пехотинцев, плотников, кузнецов, хирурга, садовника из королевских садов в Кью, ботаника и анатома. Анатоми было поручено, среди прочего, тщательно изучить гиппопотама и «сохранить в спирте, и, если возможно, в трёх экземплярах, орган слуха этого животного». Господин Кранч был внесён в бортовой журнал как Собираатель предметов естественной истории; другой участник экспедиции был просто записан как Доброволец и Наблюдательный джентльмен.

Когда он прибыл к устью Конго, Таки насчитал восемь невольничьих судов разных стран, стоящих на якоре в ожидании своих «грузов». Он повёл свои корабли так далеко вверх по реке, как только мог, а затем отправился в обход гремящих порогов по суше. Но он и его изнурённые люди быстро пали духом от бесконечного «карабканья по почти отвесным склонам и через огромные глыбы кварца». Эти места получили название Хрустальных гор. Река представляла собой массу пенящихся порогов и гигантских водоворотов. На редком спокойном участке Таки отметил, в несколько провинциальной манере, что «пейзаж был прекрасен и не уступал любому на берегах Темзы». Один

за другим англичане начали страдать от неизвестной болезни, вероятнее всего — жёлтой лихорадки, и, пройдя около 150 миль, Таки пал духом. Отряд повернул назад, и он умер вскоре после возвращения на свой корабль. К моменту, когда потрясённые выжившие участники экспедиции добрались обратно до Англии, двадцать один из пятидесяти четырёх отправившихся в путь был мёртв. Истоки реки Конго и тайна её устойчивого течения всё ещё оставались загадкой. Для европейцев Африка продолжала быть поставщиком ценных природных ресурсов — человеческих тел и слоновой кости. В остальном же континент представлялся им безликим, пустым, пустующим местом на карте, ожидающим исследования, всё чаще описываемым фразой, которая говорит больше о том, кто смотрит, чем о том, на что он смотрит: «Тёмный континент».

ЧАСТЬ I:

ХОЖДЕНИЕ В ОГОНЬ

«Я НЕ ОТКАЖУСЬ ОТ ПОИСКОВ»

28 января 1841 года, через четверть века после неудачной экспедиции Таки, родился человек, которому суждено было с блеском завершить то, что пытался сделать Таки. Он появился на свет в маленьком валлийском рыночном городке Денби. В церковной книге прихода Святой Хилари он был записан как «Джон Роуландс, незаконнорожденный» — эпитет, который будет преследовать мальчика всю его жизнь - жизнь, одержимо посвящённую попыткам заглушить чувство стыда. Юный Джон был первым из пяти незаконнорожденных детей, рождённых Бетси Парри, служанкой. Его отцом мог быть либо Джон Роуландс, местный пьяница, умерший от белой горячки, либо известный женатый адвокат по имени Джеймс Вон Хорн, либо один из ухажёров Бетси Парри в Лондоне, где она тогда работала.

После родов Бетси Пэрри с позором уехала из Денби, оставив своего ребенка в доме двух его дядей и деда по материнской линии, человека, который считал, что мальчика нужно «хорошенько выпороть», если он плохо себя ведет. Когда Джону было пять лет, умер его дедушка, и дяди немедленно избавились от своего нежеланного племянника, заплатив местной семье полкроны в неделю за то, чтобы она взяла его к себе. Когда семья попросила еще денег, дяди отказались. Однажды приёмная семья сказала юному Джону, что их сын Дик отведёт его в другую деревню навестить «тётю Мэри».

«Путь казался бесконечным и утомительным. Наконец, Дик

опустил меня с плеч перед огромным каменным зданием и, пройдя через высокие кованые ворота, дёрнул за колокол, звон которого я услышал далеко внутри. У двери появился мрачный незнакомец, который, несмотря на мои возражения, схватил меня за руку и втянул внутрь, а Дик пытался успокоить мои страхи, ловко обещая, что он лишь собирается привести ко мне тётю Мэри. Дверь закрылась за ним, и с этим гулким звуком я впервые испытал ужасное чувство полной заброшенности.»

Шестилетний Джон Роулэндс теперь стал воспитанником работного дома Сент-Асафа.

Сведения о жизни в Сент-Асафе обычно скрыты за вуалью викторианских эвфемизмов, но местная газета жаловалась, что управляющий работным домом был алкоголиком и позволял себе «непристойные вольности» в отношении женщин из своего персонала. Следственная комиссия, посетившая работный дом в 1847 году, примерно в то время, когда туда прибыл Джон Роулэндс, сообщила, что взрослые мужчины «занимались всеми мыслимыми пороками» и что дети спали по двое в одной кровати — старший ребёнок с младшим, — в результате чего они начинали «практиковать и понимать вещи, которых им знать не следовало». На протяжении всей своей жизни Джон Роулэндс проявлял страх перед любой формой сексуальной близости.

Что бы Джон ни испытал или ни увидел в спальнях работного дома, в школьном классе он процветал. За свои успехи он получил в награду Библию из рук местного епископа. Его увлекала география. У него была необычная способность подражать чужому почерку, изучив его всего несколько минут. Его собственное письмо отличалось поразительной изящностью; его юношеская подпись была стильной и наклонённой вперёд, а

штрихи и хвосты букв эффектно уходили далеко выше и ниже строки. Казалось, что через свой почерк он пытался вытащить себя из позора и превратить «сценарий» своей жизни из истории бедности в историю утончённости.

Так Джон описывал случай из своей жизни: однажды вечером, когда мне было двенадцать лет, мой надзиратель «подошёл ко мне во время ужина, когда все обитатели были собраны, и указав на высокую женщину с овальным лицом и большим узлом тёмных волос на затылке, спросил меня, узнаю ли я её».

«— Нет, сэр, — ответил я.

— Что, ты не узнаёшь свою собственную мать?»

«Я вздрогнул, с лицом, пылающим от смущения, бросил на неё робкий взгляд и заметил, что она смотрит на меня холодным, критически оценивающим взглядом. Я ожидал, что почувствую прилив нежности к ней, но её выражение было настолько холодным, что створки моего сердца захлопнулись, словно по щелчку.»

К его потрясению, мать привела с собой в Сент-Ассаф ещё двоих внебрачных детей — мальчика и девочку. Спустя несколько недель она покинула рабочий дом. Для Джона это было последним в череде случаев, когда его бросали.

В пятнадцать лет Джон покинул Сент-Ассаф и стал жить у разных родственников, все из которых относились с явным неудовольствием к приютскому родственнику. В семнадцать, живя у дяди в Ливерпуле и работая развозчиком мяса у мясника, он опасался, что его снова выгонят. Однажды, доставив мясо на американское торговое судно Уиндермир, стоявшее в доках, он встретил взгляд капитана. Тот окинул взглядом этого невысокого, но крепко сложенного юношу и спросил:

«— Как бы тебе понравилось выйти в море на этом корабле?»

В феврале 1859 года, после семинедельного плавания, Уиндермир прибыл в Новый Орлеан, где молодой новичок сошёл на берег, бросив судно. Он надолго запомнил завораживающий букет городских запахов: дёготь, солёная морская вода, зелёный кофе, ром и патока. Бродя по улицам в поисках работы, он заметил на крыльце склада мужчину средних лет в цилиндре — как оказалось, торговца хлопком — и подошёл к нему с вопросом: «Вам не нужен мальчик, сэр?»

Торговец хлопком, впечатлённый единственной рекомендацией Джона — наградной Библией с дарственной надписью епископа, — взял валлийского подростка на работу. Вскоре молодой Джон Роулэндс, уже живший в Новом Свете, решил дать себе новое имя. Процесс был постепенным. В переписи населения Нового Орлеана 1860 года он значился как «Дж. Ролинг.» Женщина, знавшая его в то время, вспоминала его как Джона Ролинса: «острый как бритва, склонный к хвастовству, громким речам и рассказам историй». Однако уже через несколько лет он начал использовать имя и фамилию торговца, который дал ему работу. Он продолжал экспериментировать с отчествами, пробуя варианты Морли, Морлейк и Морленд, пока, наконец, не остановился на Мортон. Так мальчик, попавший в рабочий дом Сент-Асафа под именем Джона Роулэндса, стал человеком, которого вскоре узнал весь мир как Генри Мортон Стэнли.

Стэнли дал себе не только новое имя; он пытался всю жизнь создать себе и новую биографию. Человек, который стал самым знаменитым исследователем своего времени, известным своими точными наблюдениями за африканской природой и ландшафтами, был мастером высшего класса в сокрытии правды, когда речь

заходила о его ранних годах. В своей автобиографии, например, он описывает свой уход из валлийского приюта в мелодраматичных тонах: по его словам, он перепрыгнул через садовую стену и сбежал после того, как возглавил бунт класса против жестокого надзирателя по имени Джеймс Фрэнсис, который, как он утверждал, безжалостно избивал весь старший класс. «“Никогда больше!” — крикнул я, изумляясь собственной дерзости. Едва эти слова вырвались у меня, как я обнаружил, что меня вздернули в воздух за воротник куртки и без чувств швырнули на скамейку. Затем этот яростный зверь бил меня в живот, пока я не упал назад, задыхаясь. Снова меня подняли и швырнули на скамью с таким ударом, что чуть не сломали мне спину». В то время Стэнли был крепким и здоровым пятнадцатилетним подростком и не был бы лёгкой добычей для Фрэнсиса — бывшего шахтёра, потерявшего руку в аварии на шахте. Другие ученики позже вспоминали, что никакого бунта не было, тем более возглавленного Стэнли; они помнили Фрэнсиса как мягкого человека, а Стэнли — как любимчика учителя, которому часто оказывали поблажки, давали поощрения и поручали руководить классом в отсутствие Фрэнсиса. Архивные записи приюта показывают, что Стэнли ушёл вовсе не как беглец, а чтобы жить у дяди, продолжая обучение в школе.

Не менее вымышленным является и рассказ Стэнли о его времени в Новом Орлеане. По его словам, он жил в доме добросердечного торговца хлопком Генри Стэнли и его святой, хрупкой жены. Когда в городе вспыхнула эпидемия жёлтой лихорадки, она заболела и умерла, лежа в кровати, занавешенной белым муслином, но в момент смерти «она открыла свои кроткие глаза и произнесла слова, словно издалека: “Будь хорошим мальчиком. Да благословит тебя Бог!”»

Вскоре после этого её скорбящий вдовец прижал своего молодого постояльца и работника к груди и объявил: «Отныне ты будешь носить моё имя». Как утверждает Стэнли, за этим последовали два идиллических года путешествий по делам с человеком, которого он называл «моим отцом». Они поднимались и спускались по Миссисипи на речных пароходах, прогуливались по палубам, читали вслух друг другу и беседовали о Библии. Но, к сожалению, в 1861 году щедрый приёмный отец Стэнли последовал за своей любимой женой в иной мир. «Впервые я понял всю остроту боли, пронзающей душу, когда любимый человек, лежит сложив руки, ледяной, в вечном сне. Созерцая его тело, я мучил себя вопросами: было ли моё поведение столь совершенным, как я тогда хотел бы? Упустил ли я что-то? Оказал ли я ему должное уважение?»

Трогательная история — за исключением того, что записи показывают: оба старших Стэнли умерли лишь в 1878 году, семнадцать лет спустя. Хотя они действительно усыновили двоих детей, обе были девочками. Согласно городским справочникам и переписным данным, молодой Стэнли жил не в их доме, а в ряде пансионатов. Кроме того, торговец Стэнли поссорился со своим работником настолько сильно, что между ними произошёл окончательный разрыв, после чего он попросил, чтобы имя молодого человека больше никогда не упоминали в его присутствии.

Идеализированное описание юности Стэнли явно обязано кое-чем его современнику Чарльзу Диккенсу, который столь же любил сцены на смертном одре, святых женщин и богатых благодетелей. Оно также многим обязано убеждению Стэнли в том, что его настоящая жизнь была настолько пропитана позором, что ему

пришлось выдумать тот образ, который он хотел представить миру. Он не только выдумывал события в своей автобиографии, но и создавал дневниковые записи о драматическом кораблекрушении и других приключениях, которых никогда не было. Иногда эпизод из его африканских путешествий появлялся в поразительно разной форме в его дневнике, письмах, газетных статьях, которые он отправлял домой, и в книгах, написанных после каждой поездки. Психоиистики устроили настоящий пир.

Один из самых откровенных эпизодов, которые Стэнли описывает — или выдумывает, — произошёл вскоре после его прибытия в Новый Орлеан, когда он делил постель в пансионе с Диком Хитоном, другим молодым человеком, приехавшим из Ливерпуля матросом. «Он был настолько скромн, что не ложился спать при свете свечи, и, когда ложился, держался на краю кровати, подальше от меня. Когда я вставал утром, я обнаруживал, что он вовсе не раздевался». Однажды Стэнли проснулся и, взглянув на спящего рядом Дика Хитона, был «поражён, увидев то, что принял за две опухоли на его груди. Я сел и воскликнул: “Я знаю! Я знаю! Дик, ты — девушка”». В тот же вечер Дик, который к тому времени признался, что он на самом деле Алиса, исчез. «Я больше никогда её не видел и не слышал о ней; но с тех пор я надеюсь, что Судьба была к ней столь же благосклонна, как я считаю мудрым её решение разлучить двух молодых и наивных существ, которых чрезмерная чувствительность могла бы привести к глупости».

Как и его диккенсовская сцена на смертном одре, этот эпизод отзывается эхом легенды — о девушке, которая маскируется под юношу, чтобы поступить в солдаты или сбежать в море. Реален он или вымышлен, эмоциональное послание остаётся тем же: ужас Стэнли перед самой мыслью оказаться так близко к женщине.

Когда началась Гражданская война в США, Стэнли вступил в армию Конфедерации, и в апреле 1862 года участвовал в бою при Шайло в штате Теннесси в составе полка добровольцев из Арканзаса. На второй день сражения он оказался окружён полудюжиной солдат Союза и вскоре после этого попал в переполненный, охваченный тифом лагерь для военнопленных недалеко от Чикаго. Единственным способом выбраться из этого ужасного места, как он выяснил, было записаться в армию Союза, что он немедленно и сделал, но вскоре тяжело заболел дизентерией и был демобилизован по медицинским показаниям. После того как он работал моряком, совершая рейсы через Атлантику туда и обратно, в 1864 году он поступил на службу в военно-морской флот Союза. Его красивый почерк обеспечил ему должность клерка на фрегате Minnesota. Когда корабль обстреливал конфедератский форт в Северной Каролине, Стэнли стал одним из немногих людей, кому довелось участвовать в боях на обеих сторонах Гражданской войны.

Фрегат Minnesota вернулся в порт в начале 1865 года, и неугомонный Стэнли дезертировал. Теперь темп его перемещений ускоряется. Казалось, у него больше не осталось терпения к замкнутым, регламентированным учреждениям вроде приюта, торгового судна или армии. Сначала он отправился в Сент-Луис, где устроился внештатным корреспондентом в местную газету и начал слать пышные по стилю репортажи всё дальше на запад: из Денвера, Солт-Лейк-Сити, Сан-Франциско. Он писал с осуждением о «разврате и пороке» и «водовороте греха» городков западной границы.

После поездки в Турцию в поисках приключений Стэнли вернулся на американский Запад, и его карьера журналиста

пошла в гору. Большую часть 1867 года он освещал Индейские войны, отправляя корреспонденции не только в Сент-Луис, но и в газеты Восточного побережья. Не имело значения, что долгий и безнадёжный бой южных индейцев равнин против захватчиков их земель уже почти подошёл к концу, что экспедиция, в которой участвовал Стэнли, видела мало сражений или что большую часть года занимали мирные переговоры; редакторы Стэнли хотели военных репортажей о драматических битвах, и он их им давал: «Индейская война наконец была по-настоящему начата... индейцы, верные своим обещаниям, верные своим кровавым инстинктам, своей дикарской ненависти к белой расе, урокам, привитым им их предками, вышли на тропу войны».

Эти корреспонденции привлекли внимание Джеймса Гордона Беннета-младшего, яркого и энергичного издателя New York Herald. Он нанял Стэнли для освещения небольшой, но экзотической войны, которая обещала хорошо продавать газеты: карательной экспедиции, организованной британским правительством против императора Абиссинии. В Суэце, по пути на войну, Стэнли подкупил главного телеграфного клерка, чтобы тот гарантировал, что, когда отчёты корреспондентов придут с фронта, его сообщения будут переданы первыми. Его предусмотрительность окупилась: восторженный рассказ о том, как британцы выиграли единственное значимое сражение войны, стал первым, который облетел мир. Вдобавок, невероятная удача — средиземноморский телеграфный кабель порвался сразу после того, как истории Стэнли были отправлены. Донесения его раздражённых соперников, а также даже официальные отчёты британской армии, пришлось доставлять в Европу частично морским путём. В каирском отеле, в июне 1868 года, Стэнли наслаждался своей сенсацией и новостью о

том, что его назначили постоянным странствующим иностранным корреспондентом Herald. Ему было двадцать семь лет.

Теперь, обосновавшись в Лондоне, Стэнли слышал вокруг первые раскаты того, что вскоре станет известно как «борьба за Африку». В Европе, уверенно входившей в индустриальную эпоху и переполненной ощущением силы, дарованной железной дорогой и океанским пароходом, появился новый тип героя — африканский исследователь. Для тех, кто жил в Африке тысячелетиями, разумеется, «открывать было нечего — мы всё время были здесь», как позже выразился один африканский государственный деятель. Но для европейцев XIX века прославление исследователя за «открытие» нового уголка Африки было, в психологическом смысле, прелюдией к ощущению, что континент можно просто взять.

В Европе, всё теснее связанной телеграфом, лекторными турами и широко распространяемыми ежедневными газетами, африканские исследователи стали одними из первых международных знаменитостей, чья слава пересекала национальные границы, подобно славе сегодняшних чемпионов спорта и кинозвёзд. С восточного побережья Африки англичане Ричард Бёртон и Джон Спик совершили смелое путешествие вглубь континента, чтобы найти озеро Танганьика — самое длинное пресноводное озеро в мире — и озеро Виктория, самый большой водоём континента, и завершили своё приключение зрелищем, которое публика всегда обожает у знаменитостей, — громкой ссорой. С западного побережья Африки француз Поль Беллони дю Шайю привёз шкуры и скелеты горилл и рассказывал

замерзшими аудиториям, как эти огромные волосатые звери похищали женщин и уносили в свои лесные логова ради целей, слишком мерзких, чтобы о них говорить.

Основой значительной части европейского воодушевления была надежда, что Африка станет источником сырья для подпитки промышленной революции — так же, как поиск сырья — рабов — для колониальной плантационной экономики определял большую часть ранних контактов Европы с Африкой. Ожидания заметно возросли после того, как старатели обнаружили алмазы в Южной Африке в 1867 году, а спустя примерно два десятилетия — золото. Но европейцам нравилось думать, что их движут более высокие мотивы. Британцы, в частности, горячо верили в необходимость нести «цивилизацию» и христианство туземцам; их занимал вопрос о том, что находится в неизвестных внутренних районах континента, и они были полны праведного рвения в борьбе с рабством.

Великобритания, разумеется, имела лишь сомнительное право занимать высокоморальную позицию в вопросе рабства. Британские корабли долгое время доминировали в работорговле, и лишь в 1838 году рабство было официально упразднено в Британской империи. Но британцы быстро забыли всё это, так же как забыли, что конец рабству был ускорен крупными восстаниями рабов в Британских Вест-Индиях, которые британские войска подавляли всё более жестоко и с растущими трудностями. По их мнению, рабство прекратилось почти во всём мире только по одной причине — благодаря британской добродетели. Когда в Лондоне в 1872 году был возведён мемориал Альберта, одна из его статуй изображала молодого чёрного африканца, обнажённого, за исключением нескольких листьев, прикрывающих пах. В

посвящённом открытию памятника справочнике объяснялось, что он является «представителем нецивилизованных рас», слушающих наставления европейской женщины, а «разорванные цепи у его ног символизируют роль, сыгранную Великобританией в освобождении рабов».

Примечательно, что в 1860-е годы основная британская и французская борьба против рабства была направлена не против Испании и Португалии, которые допускали рабство в своих колониях, и не против Бразилии с её миллионами рабов. Вместо этого праведные осуждения обрушивались на далёкую, слабую и, что было безопасно, небелую цель — так называемых арабских работорговцев, нападавших на Африку с востока. На рынках рабов в Занзибаре торговцы продавали свою «добычу» арабским владельцам плантаций на самом острове, а также другим покупателям в Персии, на Мадагаскаре и в различных султанатах и княжествах Аравийского полуострова. Для европейцев это была идеальная мишень для осуждения: одна «нецивилизованная» раса порабощала другую.

«Араб» — это было неверное определение; более точным было бы «афро-араб». Хотя их пленники часто оказывались в арабском мире, работорговцы на африканском материке в основном были говорящими на суахили африканцами с территорий, которые сегодня являются Кенией и Танзанией. Многие из них переняли арабскую одежду и ислам, но лишь некоторые имели хотя бы частично арабское происхождение. Тем не менее, от Эдинбурга до Рима гневные книги, речи и проповеди обличали жестоких «арабских» работорговцев — и вместе с ними, по сути, саму идею о том, что какая-либо часть Африки может быть колонизирована кем-то, кроме европейцев.

Все эти европейские устремления в Африку — рвение к борьбе с рабством, поиск сырья, христианское миссионерство и чистое любопытство — воплотились в одном человеке, Давиде Ливингстоне. Врач, старатель, миссионер, исследователь и, в какой-то момент, даже британский консул — он странствовал по Африке три десятилетия, начиная с начала 1840-х годов. Он искал исток Нила, осуждал рабство, открыл водопад Виктория, искал полезные ископаемые и проповедовал Евангелие. Как первый белый человек, пересёкший континент с побережья до побережья, он стал национальным героем в Англии.

В 1866 году Ливингстон отправился в очередную длительную экспедицию, разыскивая работорговцев, возможных новообращённых в христианство, исток Нила или что бы то ни было ещё, что стоило открыть. Прошли годы, а он так и не вернулся. Когда люди начали задумываться о его судьбе, издатель New York Herald Джеймс Гордон Беннетт увидел в этом отличную возможность. В 1869 году — или, по крайней мере, так рассказывал Стэнли, — он получил срочную телеграмму от своего начальника Беннета: ПРИЕЗЖАЙ В ПАРИЖ ПО ВАЖНОМУ ДЕЛУ. Журналист, писал Стэнли с той долей важности, что уже стала частью его публичного образа, «подобен гладиатору на арене. Любое малодушие — и он погиб. Гладиатор встречает меч, заточенный для его груди, — а странствующий корреспондент — приказ, который может послать его на верную смерть». Он поспешил в Париж, чтобы встретиться с издателем в «Гранд-отеле». Там драматичный разговор о Ливингстоне завершился словами Беннета: «Я хочу, чтобы вы поехали и нашли его, где бы вы ни слышали, что он находится, и раздобыли любые сведения о нём. А возможно, старику что-то понадобится — возьмите с собой достаточно, чтобы помочь ему,

если потребуется. Делайте, что сочтёте нужным — **НО НАЙДИТЕ ЛИВИНГСТОНА!**»

Эта сцена стала великолепным вступлением к первой книге Стэнли — Как я нашёл Ливингстона — и сделала Беннета, которому был посвящён том, выглядящим дальновидным инициатором великого приключения. Но, похоже, ничего подобного этому разговору на самом деле не происходило. Страницы журнала Стэнли за даты, близкие к предполагаемой встрече с Беннетом, были вырваны, и на самом деле Стэнли даже не начинал поиски Ливингстона до более чем года спустя.

Как бы ни была она приукрашена, история Стэнли о драматичном вызове в Париж продала немало книг, и для самого Стэнли это имело значение. Он стремился не только к славе исследователя; его мелодраматический стиль сделал его, как заметил один историк, «родоначальником всех последующих профессиональных писателей-путешественников». Его статьи, книги и лекционные туры принесли ему больше богатства, чем любому другому писателю-путешественнику его времени, и, вероятно, следующего столетия. С каждым шагом в Африке Стэнли обдумывал, как расскажет об этом по возвращении домой. В духе XX века он постоянно выстраивал детали собственной знаменитости.

Чтобы не оставить возможным конкурентам ни малейших следов в поисках Ливингстона, Стэнли осторожно распространял слухи, отправляясь в Африку, что собирается исследовать реку Руфиджи. Сначала он направился в Занзибар, чтобы нанять носильщиков для перевозки своих припасов, и оттуда писал целую серию писем Кэти Гоф-Робертс - молодой женщине из его родного города Денби. Их роман был коротким, скованным и нервным, прерываемым многочисленными отъездами Стэнли по

журналистским заданиям, но в своих письмах он изливал ей душу, признаваясь в болезненной тайне своего незаконного рождения. Стэнли планировал жениться на ней по возвращении из поисков Ливингстона.

Наконец, весной 1871 года, в сопровождении собаки по кличке Омар, носильщиков, вооружённой охраны, переводчика, поваров, проводника с американским флагом и двух британских матросов — всего около 190 человек, что стало крупнейшей африканской экспедицией на тот момент, — Стэнли двинулся вглубь от восточного побережья на поиски Ливингстона, которого к тому времени не видел ни один европеец уже пять лет. «Где бы он ни был, — заявил Стэнли читателям своей нью-йоркской газеты, — будьте уверены, я не откажусь от поисков. Если жив — вы услышите, что он скажет; если мёртв — я найду и привезу его кости вам».

Стэнли пришлось идти более восьми месяцев, прежде чем он нашёл исследователя и смог произнести — или, по крайней мере, как он утверждал, — свою знаменитую фразу: «Доктор Ливингстон, я полагаю?». Долгие поиски были превращены в легенду благодаря его серии репортажей и осознанию Беннетом того, что его газета получила один из величайших репортажей с человеческим интересом века. Поскольку Стэнли был единственным источником информации о поисках (его два белых спутника умерли во время экспедиции, а никто так и не удосужился опросить выживших носильщиков), легенда сохранила героический оттенок. Были месяцы изнурительных маршей, ужасные болота, злые «арабские» работорговцы, загадочные смертельные болезни, опасные нападения крокодилов и, наконец, триумфальное открытие Стэнли кроткого доктора Ливингстона.

В прозе Стэнли Ливингстон был окружён ореолом, ведь он был благородным отцовским образом, которого молодой человек долго искал и, в какой-то мере, действительно нашёл. По словам Стэнли, опытный мудрец и смелый молодой герой быстро подружились, исследуя вместе в течение нескольких месяцев. (Они плавали вокруг северной оконечности озера Танганьика, надеясь найти исток Нила, вытекающий из него, но, к своему разочарованию, обнаружили лишь другую реку, впадающую в озеро.) Старший передал свою мудрость младшему, после чего они с грустью простились навсегда. Ливингстон остался в Африке и вскоре умер, прежде чем смог вернуться домой, чтобы разделить славу или рассказать историю иначе, что было очень удобно для Стэнли. Он хитро приправил свой рассказ красочными образами вождей, экзотических султанов и верных слуг, начав его с широких обобщений, позволявших читателям чувствовать себя как дома в незнакомом мире: «Араб никогда не меняется»; «Банья — прирождённый торговец»; «К метисам я питаю глубокое презрение».

В отличие от неконфликтного и патерналистского Ливингстона, который путешествовал без огромного отряда тяжеловооружённых спутников, Стэнли был суровым и жестоким начальником. «Чёрные доставляют массу хлопот; они слишком неблагодарны, чтобы нравиться мне», — писал он во время путешествия. Хотя его записи смягчены последовательными редакциями, они показывают, что он был склонен к вспышкам ярости. Он гнал своих людей в горы и через болота без передышки. «Когда грязь и сырость подтачивали физическую энергию ленивых, собачий кнут касался их спин, возвращая их к нормальной — а порой и чрезмерной — активности». Всего за полдюжины лет до этого Стэнли дезертировал из военно-морского флота США, но теперь

с удовлетворением отмечал, как «неисправимых дезертиров... хорошо выпороли и заковали в цепи». Жители деревень, через которые проходила экспедиция, вполне могли принять её за ещё один караван рабов.

Как и многие белые, которые последуют за ним, Стэнли видел Африку как, по существу, пустую. «Незаселённая страна», — называл он её. «Какое поселение можно было бы устроить в этой долине! Смотрите, она достаточно широка, чтобы прокормить большое население. Представьте шпиль церкви, возвышающийся там, где этот тамаринд поднимает свою тёмную крону листвы, и подумайте, как хорошо смотрелись бы здесь десятка два красивых коттеджей вместо этих колючих зарослей и камедных деревьев!» И ещё: «Среди англосаксонской расы ещё немало пилигримов-отцов, и когда Америка будет заселена их потомками, кто скажет, что Африка не станет их следующим пристанищем?»

Для него самого и для его публики будущее Стэнли теперь было прочно связано с Африкой. По возвращении в Европу французская пресса сравнила его нахождение Ливингстона с переходом Альп Ганнибалом и Наполеоном. И ещё более уместно, учитывая хвастовство Стэнли о том, что он застрелит любого, кто встанет у него на пути, генерал Уильям Текумсе Шерман встретился с исследователем за завтраком в Париже и сравнил его путешествие с собственным разорительным маршем к морю.

Британцы были настроены гораздо враждебнее. Королевское географическое общество с опозданием отправило экспедицию на поиски Ливингстона, и его члены были потрясены, встретив Стэнли в Африке как раз в тот момент, когда он триумфально садился на корабль, чтобы вернуться домой. Между строк напыщенных заявлений чиновников общества читалось их

раздражение от того, что их соотечественника нашёл человек, который не был ни настоящим исследователем, ни настоящим англичанином, а всего лишь «публицистом за гроши», писавшим для американской жёлтой прессы. Более того, некоторые в Англии замечали, что американский акцент Стэнли имел склонность переходить в валлийский всякий раз, когда он волновался. Слухи о его валлийском происхождении и незаконнорождённости глубоко беспокоили Стэнли, ведь, работая на шовинистическую и антинемецкую нью-йоркскую газету, он энергично утверждал, что родился и вырос в Америке. (Иногда он намекал, что родом из Нью-Йорка; иногда — что из Сент-Луиса. Марк Твен прислал поздравления своему «соотечественнику из Миссури» за нахождение Ливингстона.)

Стэнли, легко чувствовавший себя отверженным, особенно со стороны аристократических англичан, теперь оказался отвергнут и своей невестой. Во время своих путешествий он узнал, что Кэти Гофф-Робертс вышла замуж за архитектора по имени Брэдшо. Стэнли отчаянно хотел вернуть письма, которые он ей отправлял, особенно то, в котором рассказал о своём происхождении. Но когда он написал с просьбой вернуть их, она отказалась, согласившись сделать это только лично. На одной из его лекций в Манчестере она и её муж присутствовали в зале. После лекции она пришла в дом, где он остановился, и попросила дворецкого передать, что у неё при себе то самое письмо. Стэнли послал дворецкого к двери, чтобы забрать его, но она снова отказалась передать его кому-либо, кроме самого Стэнли. Он не вышел к двери, и она ушла, унося письмо с собой. Его уязвлённая гордость осталась как незаживающая рана. Вскоре он снова будет искать утешения в Африке.

ЛИС ПЕРЕХОДИТ ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ

Когда весть о том, что Стэнли нашёл Ливингстона, промчалась по телеграфным проводам весной 1872 года, одним из тех, кто с жадным интересом следил за такими новостями, был высокий, величавый тридцатисемилетний мужчина с бородой в форме лопаты, живший в просторном замке Лакен на низком холме на окраине Брюсселя.

Семью годами ранее, после смерти отца, Леопольд II унаследовал особый титул, под которым были известны монархи его страны, — Король Бельгийцев. Сама Бельгия была лишь немного старше своего молодого монарха. После периодов испанского, австрийского, французского и нидерландского правления она обрела независимость только в 1830 году, в результате восстания против Голландии. Любая уважающая себя страна, разумеется, нуждалась в короле, и новорождённая нация отправилась на поиски, в итоге остановившись на кандидатуре немецкого принца, связанного родственными узами с британской королевской семьёй, который занял бельгийский трон как Леопольд I.

Маленькая страна представляла собой непрочный сплав франкоговорящих и фламандогворящих жителей, причём нидерландский язык, на котором говорили в северной части Бельгии, тогда называли фламандским. При дворе своего отца будущий Леопольд II с детства говорил по-французски и по-немецки, а вскоре свободно овладел и английским. Однако, хотя он время от времени вставлял в свои речи несколько фраз на нём, учить фламандский, на котором говорили более половины его

подданных, он так и не удосужился. В этом высокомерии Леопольд был не одинок, ведь в то время языковое разделение страны по признаку региона совпадало и с классовым. Даже на севере бизнесмены и представители профессий предпочитали говорить по-французски и свысока смотрели на бедных фламандогворящих сельскохозяйственных и фабричных рабочих.

Брак родителей Леопольда был без любви и заключён по политическим соображениям. Их старший сын был долговязым ребенком, который, казалось, чувствовал себя неуютно в этом мире, и его родители явно предпочитали его младших брата и сестру. Когда ему было четырнадцать, мать Леопольда написала ему: «Меня очень расстроило, увиденное в отчёте полковника: вы снова были так ленивы, а ваши упражнения были настолько плохими и небрежными. Это не то, что вы мне обещали, и я надеюсь, что вы приложите усилия, чтобы выполнять домашнюю работу лучше. Вашего отца это расстроило не меньше, чем меня». Юный наследник проявлял мало интереса к учёбе, за исключением географии. С десяти лет он проходил военную подготовку; к пятнадцати годам он имел звание лейтенанта бельгийской армии, к шестнадцати — капитана, к восемнадцати — майора, к девятнадцати — полковника, а к двадцати стал генерал-майором. Парадный портрет, написанный в конце его подросткового возраста, изображает его с мечом, алым кушаком и медалями. Тело нескладного юного Леопольда тонкое, как карандаш; золотые эполеты кажутся слишком большими для его плеч, а голова — слишком большой для туловища.

Если Леопольд хотел увидеться с отцом, он должен был просить аудиенции. Когда отец хотел что-то сообщить сыну, он передавал это через одного из своих секретарей. Именно в этой холодной

атмосфере, будучи подростком при дворе отца, Леопольд впервые научился собирать вокруг себя сеть людей, надеявшихся снискать его расположение. Дворцовые чиновники охотно стремились подружиться с будущим монархом, показывали ему документы, объясняли, как работает государство, удовлетворяли его страсть к картам и к информации о далёких уголках мира.

Хотя между отцом и сыном было мало привязанности, старый король был проницательным наблюдателем. «Леопольд — тонкий и хитрый», — сказал он одному из своих министров. «Он никогда не рискует. На днях я наблюдал за лисой, которая хотела незаметно перейти ручей: сначала она осторожно опустила лапу, чтобы проверить глубину, а затем, с тысячью предосторожностей, очень медленно перебралась на другой берег. Вот так действует Леопольд!» Леопольд был не всегда осторожен; временами он переоценивал свои силы или раскрывал слишком много о добыче, за которой охотился. Но в манере этого конституционного монарха маленькой, всё более демократической страны, ставшего тоталитарным правителем огромной империи на другом континенте, действительно было что-то лисье. Хитрость и умение скрывать намерения были его верными средствами, так же как лиса полагается на эти качества, чтобы выжить в мире охотников и более крупных зверей.

В 1853 году, когда Леопольду исполнилось восемнадцать, его отец отвёз его в Вену и, стремясь к укреплению связей с Австро-Венгерской империей, обручил его с достойной молодой представительницей династии Габсбургов, эрцгерцогиней Марией Генриеттой.

Ни один брак не мог быть более катастрофичным. Шестнадцатилетняя невеста была известна своей страстью к лошадям и крайне неприличным для королевской особы громким смехом. Леопольд же имел явную склонность падать с лошадей и не обладал видимым чувством юмора. Это был нескладный, высокомерный молодой человек, которого его двоюродная сестра, королева Виктория Английская, считала «очень странным» и имеющим привычку «говорить людям неприятные вещи». Известный в то время, как герцог Брабантский, Леопольд был педантично помешан на вопросах торговли, что ставило всех в тупик. В Вене одна дама заметила, что эта загадочная помолвка произошла «между мальчиком-конюхом и монахиней, а под монахиней я подразумеваю герцога Брабантского».

Леопольд и Мария Генриетта возненавидели друг друга с первого взгляда, и эти чувства, по-видимому, никогда не менялись. На свадьбе всё, что могло, пошло не так. У Леопольда началась скарлатина. Поезд, везший королевскую свиту на тщательно рассчитанную пышную церемонию встречи Марии Генриетты на бельгийской границе, опоздал на полчаса, потому что юный железнодорожный телеграфист покинул свой пост, чтобы послушать концерт духового оркестра в честь праздника. Деревенский смех Марии Генриетты ошарашивал публику на приёмах в ратушах по всей Бельгии. Во время медового месяца в Венеции она плакала на людях, когда Леопольд не позволил ей прокатиться на гондоле, для которой уже были наняты лодочники и музыканты. Леопольд мог не разговаривать с ней по несколько дней подряд. «Если Бог услышит мои молитвы, - писала она подруге через месяц после свадьбы, - я недолго проживу».

Как и многие молодые пары того времени, новобрачные,

по-видимому, считали секс пугающей загадкой. В отличие от большинства других, однако, их просветила женщина, чьим именем назван целый исторический период. Когда они навестили кузину Викторию в Англии, королева тактично выразила в письме отцу Леопольда сомнение в том, был ли брак консуммирован. Отведя Марию Генриетту в сторону, она объяснила, что от неё ожидается, а её муж, принц Альберт, сделал то же самое с восемнадцатилетним будущим королём. Возможно, это был первый случай, когда кто-либо удосужился сделать это, потому что, когда несколько лет спустя Мария Генриетта забеременела, Леопольд написал Альберту: «Мудрый и практический совет, который вы мне дали... теперь принёс плоды». Но брак так и остался несчастливым. Мария Генриетта сбегала из королевского замка Лакен, чтобы проводить большую часть дня в верховой езде. Леопольд же искал облегчения своим разочарованиям на более широкой арене.

Когда он думал о троне, который должен был достаться ему, он открыто выказывал раздражение. «*Petit pays, petits gens*» («маленькая страна, маленький народ»), — однажды сказал он о Бельгии. Эта страна, площадь которой была меньше половины Западной Виргинии, находилась между куда более великой Францией Наполеона III и быстро поднимавшейся империей Германии. Юный наследник вёл себя раздражённо и нетерпеливо. Страна, которую он должен был унаследовать, казалась ему слишком маленькой, чтобы удержать его.

Его взгляд обратился за границу. Ещё до того, как ему исполнилось двадцать, Леопольд, вооружённый пером и блокнотом, посетил Балканы, Константинополь, Эгейское море и Египет, путешествуя с комфортом на британских и турецких

военных кораблях, а вернувшись домой, произносил скучные речи о потенциальной роли Бельгии в мировой торговле. Куда бы он ни ехал, он искал имперские возможности. Он добился от хедива Египта обещания создать совместную пароходную компанию, соединяющую Александрию с Антверпеном. Он пытался купить озёра в дельте Нила, чтобы осушить их и объявить эту землю колонией. Он писал: «Можно купить небольшое королевство в Абиссинии за 30 000 франков. Если бы вместо того, чтобы так много говорить о нейтралитете, парламент заботился о нашей торговле, Бельгия стала бы одной из богатейших стран в мире».

В XIX веке, как и сегодня, Севилья представляла собой великолепное сочетание фонтанов и обнесённых стенами садов, крыш с красной черепицей и белых штукатурных стен с окнами, закрытыми коваными решётками, а также апельсиновых, лимонных и пальмовых деревьев. Узкие мощёные улочки испанского города были заполнены посетителями, пришедшими взглянуть на один из крупнейших готических соборов Европы.

Когда двадцатилетний Леопольд прибыл в Севилью в марте 1862 года, его целью было не увидеть собор или знаменитые мозаики и дворы ярко украшенного плиткой дворца Алькасар. Вместо этого он провёл целый месяц в Каса-Лонха, или Старой бирже — массивном квадратном здании напротив собора.

На протяжении двух столетий Севилья была портом, через который в Испанию возвращались колониальное золото, серебро и прочие богатства; примерно за восемьдесят лет до визита Леопольда король Карлос III распорядился собрать в этом здании, со всей страны, все указы, государственные и

судебные архивы, переписку, карты и архитектурные чертежи, связанные с испанским завоеванием Америки. Собранные под одной крышей восемьдесят шесть миллионов рукописных страниц, среди которых находился и список провизии одного из кораблей Колумба, сделали Генеральный архив Индий одним из величайших хранилищ мира. Безразличный к школьным занятиям в детстве, не проявлявший никакого интереса к искусству, музыке или литературе, Леопольд, тем не менее, был прилежным исследователем, когда дело касалось одной темы — прибыли. В течение месяца, проведённого в Севилье, он писал другу домой: «Я здесь очень занят — просматриваю архивы Индий и подсчитываю прибыль, которую Испания получала тогда и получает сейчас от своих колоний». Человек, чья будущая империя будет тесно связана с транснациональной корпорацией XX века, начал с изучения записей конкистадоров.

Исследование разожгло его аппетит и сделало его беспокойным. Он утверждал, что врачи прописали ему длительные путешествия в жарких климатах, и, спасаясь от своей несчастной домашней жизни, он направился ещё дальше. В 1864 году, будучи двадцатидевятилетним и более одержимым колониями, чем когда-либо, он отправился осмотреть британские владения — Цейлон, Индию и Бирму. Он также посетил острова Восточной Индии, принадлежавшие, к его раздражению, соседу Бельгии — Голландии, чей небольшой размер не помешал ей приобрести прибыльные колонии.

Интерес будущего короля к Нидерландской Ост-Индии был вызван любопытным двухтомным трактатом под названием Ява, или Как управлять колонией. Очарованный книгой, Леопольд начал переписку с её автором — английским юристом с говорящей

фамилией Дж. У. Б. Мани. Мани был впечатлён плантациями кофе, сахара, индиго и табака на Яве, прибыль от которых шла на строительство железных дорог и каналов в Голландии. Судя по последующим действиям Леопольда, можно догадаться, какие именно моменты книги привлекли его внимание. Так, Мани описывал монопольную торговую концессию, предоставленную частной компании, одним из крупнейших акционеров которой был нидерландский король. Для стимулирования производства владельцы плантаций на Яве выплачивали надзирателям премии в зависимости от величины собранного урожая. И наконец, Мани отмечал, что огромная прибыль Голландии от Явы держалась на принудительном труде. Леопольд соглашался с этим, заявляя, что принудительный труд — это «единственный способ цивилизовать и возвысить эти ленивые и развращённые народы Далёкого Востока».

Мало кто из бельгийцев разделял колониальные мечты Леопольда. Их останавливали практические соображения — например, отсутствие у страны торгового флота или военноморского флота, — которые казались ему мелочными. Вернувшись из одной из своих поездок, он преподнёс министру финансов, ярому противнику колониализма, подарок: кусок мрамора из руин Акрополя с медальоном, в котором находился портрет Леопольда, а вокруг была выгравирована надпись *Il faut à la Belgique une colonie* («У Бельгии должна быть колония»).

Где её найти? На протяжении двадцати с лишним лет он прочёсывал весь мир. Он писал одному из своих помощников:

«Меня особенно интересует аргентинская провинция Энтре-Риос и крошечный остров Мартин-Гарсия в месте слияния рек Уругвай и Парана. Кому принадлежит этот остров? Можно

ли его купить и основать там свободный порт под моральным покровительством короля бельгийцев? Нет ничего проще, чем стать владельцем земель в аргентинских штатах, которые в три-четыре раза больше Бельгии».

Он инвестировал в Компанию Суэцкого канала. Он попросил одного из помощников попытаться приобрести Фиджи, потому что «нельзя упустить такую прекрасную добычу». Он изучал возможность строительства железных дорог в Бразилии и аренды территории на острове Формоза (Тайвань).

Письма и служебные записки Леопольда, в которых он бесконечно донимал кого-то просьбами о приобретении колонии, звучат как голос человека, лишённого любви в детстве и теперь одержимого навязчивым желанием найти ей эмоциональную замену, подобно тому, как кто-то может быть вовлечён в бесконечную тяжбу с братом или сестрой по поводу наследства или с соседом из-за границы участка. Жажда большего может стать ненасытной, а её кажущееся удовлетворение лишь усиливает то раннее чувство лишённости и стимулирует необходимость приобретать всё больше.

В ходе европейской гонки XIX века за колониальные владения в Африке и Азии люди оправдывали колониализм по-разному, утверждая, что он обращает язычников в христианство, цивилизует дикие народы или приносит всем чудесные блага свободной торговли. Теперь, применительно к Африке, появилась новая рационализация: уничтожение «арабской» работорговли. Однако на этом раннем этапе своей карьеры будущий Леопольд II не пытался прикрывать свои амбиции подобной риторикой. Для него колонии существовали лишь с одной целью — сделать его самого и его страну богатыми. «Бельгия не эксплуатирует мир,

— жаловался он одному из своих советников. — Этому вкусу мы должны её научить».

Леопольду было безразлично, поступало ли желанное им колониальное богатство от драгоценных металлов, которые испанцы искали в Южной Америке, от сельского хозяйства или — как впоследствии оказалось — от сырья, потенциал которого тогда и представить было невозможно. Для него имел значение лишь размер прибыли. Его стремление к колониям, однако, было продиктовано не только жадой денег, но и жадой власти. Ведь в Западной Европе времена быстро менялись, и роль короля уже не была столь приятной, как прежде. Более всего его раздражало, что в Бельгии, как и в соседних странах, королевская власть постепенно уступала место власти избранного парламента. Как-то раз кто-то попытался польстить Леопольду, сказав, что из него вышел бы «превосходный президент республики». Презрительно повернувшись к своему верному придворному врачу Жюлю Тириару, он спросил: «Что бы вы сказали, доктор, если бы кто-то поприветствовал вас словами “великий ветеринар”?» Правителю колонии не пришлось бы беспокоиться о парламенте.

После восшествия на престол в 1865 году Леопольд стал ещё более беспокойным, чем прежде. Французский маршал, увидевший его на приёме в Париже в 1867 году, счёл его примечательным «из-за высокого роста, большого носа и густой бороды; с мечом, который бил по его ногам, он выглядел как чиновник, надевший мундир, не зная, как его носить». Все были поражены его носом. «Это такой нос, — писал Дизраэли, — какой бывает в сказке у молодого принца, которого заколдовала злобная фея».

Дома дела шли всё хуже. В 1869 году девятилетний сын короля упал в пруд, подхватил пневмонию и умер. На похоронах,

единственный раз в жизни, Леопольд не смог сдержаться на людях — он рухнул на колени рядом с гробом и безудержно рыдал. Однако он не потерял присутствия духа и попросил парламент принять закон, обязывающий государство оплатить расходы на королевские похороны.

Особенно тяжёлой потерю единственного сына делала твёрдая убеждённость короля в том, что престолы и королевская собственность предназначены исключительно для мужчин. Однако за время их брака королева Мария Генриетта родила трёх дочерей — Луизу, Стефанию и Клементину, — но больше сыновей не было. Когда родилась младшая дочь Клементина, по словам её сестры Луизы, «король пришёл в ярость и с тех пор отказался иметь какое-либо дело со своей достойной женой». С самого начала, писала она, «король мало обращал внимания на меня или на моих сестёр». Леопольд безуспешно пытался сделать себя исключением из бельгийского закона, требующего завещать имущество своим детям.

Мария Генриетта находила утешение со своими любимыми лошадьми, которых дрессировала сама. Принцесса Луиза однажды наблюдала, как по приказу королевы лошадь вошла в замок Лакен, поднялась по лестнице в покои королевы и затем спустилась обратно. Мария Генриетта подружилась с военным министром, и на учениях, к изумлению военных атташе, он иногда приглашал её возглавлять кавалерийские атаки.

По-прежнему не имея колонии, которой можно было бы править, Леопольд сосредоточился на строительных проектах в своей стране. Он питал вкус к памятникам, большим паркам, широким бульварам и величественным дворцам. Вскоре после восшествия на трон он начал то, что в итоге стало пожизненной программой

реконструкции Лакена. Путём покупок и экспроприаций он многократно расширил территорию королевского поместья. Когда один из местных жителей отказался переехать, Леопольд распорядился возвести земляной вал вокруг владения упрямого домовладельца. Среди новых построек в Лакене была обширная цепь оранжерей. Когда они наконец были закончены, человек мог пройти более километра по ним, замку и соединяющим коридорам, не выходя на улицу. В последующие годы, когда король показывал своему племяннику, принцу Альберту, часть работ, тот заметил: «Дядя, это превратится в маленький Версаль!», на что Леопольд ответил: «Маленький?»

Если бы Леопольд был персонажем художественного произведения, его создатель мог бы в этот момент ввести контрастную фигуру — второстепенного персонажа, чья судьба послужила бы зловещим предостережением о том, к чему могут привести мечты об империи. Но у Леопольда уже была такая фигура в жизни, более подходящая на эту роль, чем любая, которую мог бы придумать романист. Это была его сестра.

Королевская семья Бельгии, всегда стремившаяся к союзам с Габсбургами, выдала младшую сестру Леопольда - Шарлотту, замуж за эрцгерцога Максимилиана, брата императора Австро-Венгрии. В 1864 году Максимилиан и его жена, чьё имя было уместно изменено на Карлота, были возведены Наполеоном III Французским в титул императора и императрицы Мексики, где Наполеон стремился установить прорежим, ориентированный на Францию. Леопольд с энтузиазмом поддерживал имперские устремления своей сестры. Когда Максимилиан и Карлота

отправились в своё новое владение, европейская публика встречала красивую молодую пару восторженными овациями, изображая их как наследников конкистадоров. Большинство мексиканцев, разумеется, не желали видеть у себя таких правителей, навязанных извне, и подняли восстание. Зарождавшаяся империя рухнула, и в июне 1867 года повстанцы захватили и казнили Максимилиана. Его смерть была бесчестной, но не лишённой достоинства: он пожал руки членам расстрельной команды, раздал им золотые монеты, указал на своё сердце и сказал: «Мучачос, целитесь точно».

Годом ранее Карлота вернулась в Европу, чтобы просить поддержки для рушившегося режима своего мужа. Наполеон III не желал подкреплять свои амбиции в Мексике необходимой военной силой, и Карлота отправилась в Рим просить помощи у Папы. По пути она начала вести себя странно. Современная психиатрия, несомненно, дала бы более точный диагноз, но язык её эпохи звучит уместнее: Карлота сошла с ума. Она уверилась, что шарманщик на улице — это переодетый мексиканский полковник, а шпионы всех мастей пытаются её отравить. В качестве меры предосторожности она питалась только апельсинами и орехами, тщательно проверяя кожуру и скорлупу на признаки подмены. Она велела кучеру остановиться у римского фонтана Треви, чтобы наполнить хрустальный кувшин водой, в которой не могло быть яда. В своём гостиничном номере она держала маленькую угольную плиту и, привязанных к ножкам стола, нескольких кур, которых следовало забивать и готовить только у неё на глазах. К отчаянию преданных слуг, её комнаты постепенно наполнялись перьями и куриным помётом.

Покраснев и со слезами на глазах, Карлота ворвалась к Папе однажды утром, когда он заканчивал завтрак, окунула пальцы в

его горячий шоколад и жадно облизала их, воскликнув: «Хотя бы это не отравлено. Всё, что мне давали, накачано ядом, и я умираю с голоду, буквально умираю!» Кардинал и командир Папской гвардии вывели её из комнаты, после чего Карлота передала командиру гвардии список членов своей прислуги, которых следовало арестовать за измену.

Помощники Карлоты отправили в Брюссель срочную телеграмму Леопольду. Поскольку Леопольд не хотел, чтобы его сестра в таком состоянии разъезжала по Европе, он поселил её вместе с прислугой в чередё бельгийских замков, надёжно скрыв от посторонних глаз. Ей больше не суждено было появиться на публике. Опасаясь окончательно расстроить её, никто в течение нескольких месяцев не осмеливался сообщить о казни Максимилиана; когда же это наконец сделали, Карлота отказалась верить. Она продолжала отправлять ему письма и подарки, будучи уверенной, что вскоре он станет императором Франции, Испании и Португалии.

Крах, за столь короткое время постигший империю его сестры и зятя, не охладил энтузиазма Леопольда завести собственную. Повсюду он видел признаки наступления новой эры колониализма; это было то самое время, когда будущий южноафриканский политик и алмазный магнат Сесил Родс говорил: «Я бы аннексировал планеты, если бы мог». В 1875 году Леопольд попытался купить Филиппины у Испании, но вновь потерпел неудачу. «На данный момент ни испанцы, ни португальцы, ни голландцы не склонны продавать», — писал он одному из своих чиновников в том же году, а затем добавил: «Я намерен осторожно выяснить, можно ли что-либо предпринять в Африке».

В середине 1870-х годов Африка к югу от Сахары была логичным направлением для начинающего колонизатора. Британия и буры контролировали Южную Африку, а ослабевшая Португалия претендовала на большую часть территории, некогда принадлежавшей Королевству Конго, а также на Мозамбик на восточном побережье. Вдоль большого западного выступа Африки Португалия, Испания, Британия и Франция владели несколькими островами и небольшими участками земли. В остальном примерно 80 % всей территории континента всё ещё находилось под властью местных правителей. Эта земля созрела для завоевания — или, как теперь учился говорить Леопольд, для «защиты».

Леопольд тщательно изучал Proceedings (Труды) Королевского географического общества в поисках информации о континенте и внимательно следил за маршрутами белых исследователей. Он собрал обширный архив заметок, написанных почти неразборчивым почерком. Когда в 1875 году стало известно, что шотландский путешественник Верни Ловетт Кэмерон, которому предстояло стать первым европейцем, пересекшим Африку с востока на запад, оказался на грани нехватки средств, Леопольд быстро предложил пожертвование в размере 100 000 франков. В итоге деньги не понадобились, но сам этот жест заявил о короле как о покровителе африканских исследований.

В это время Генри Мортон Стэнли находился в разгаре очередной экспедиции в Африке. Он и его привычно огромный караван из охранников и носильщиков отправились в 1874 году с восточного побережья вглубь континента, держа путь к самой большой пустой области на карте — экваториальному сердцу континента, куда ещё не ступала нога европейца. По

пути он намеревался нанести на карту несколько крупных восточноафриканских озёр, а затем продвинуться к большой реке, лежащей к западу от них, которая могла оказаться истоком Нила или Конго. Пока он находился недалеко от побережья, посланники доставляли газетные корреспонденции Стэнли; затем от него больше не приходило никаких известий.

Леопольд заметил, что Ливингстон, Стэнли и другие исследователи сумели взволновать европейцев своими описаниями «арабских» работорговцев, ведущих жалкие караваны прикованных цепями пленников к восточному побережью Африки. Как король небольшой страны, не проявлявшей общественного интереса к колониям, он понимал, что собственная колониальная инициатива потребует прочной гуманитарной оболочки. Борьба с работорговлей, нравственное возвышение и продвижение науки — вот цели, о которых он будет говорить публично, а не о прибыли. В 1876 году он начал готовить шаг, призванный закрепить за ним репутацию филантропа и продвинуть его африканские амбиции: он намеревался созвать конференцию исследователей и географов.

Он отправил надёжного помощника в Берлин, чтобы привлечь немецких участников, а сам незаметно перебрался через Ла-Манш в Лондон, устроившись в апартаментах отеля «Кларидж». К этому времени он уже был далёк от того неловкого и наивного юнца, который более двадцати лет назад приезжал в гости к королеве Виктории во время своего медового месяца. Теперь, наблюдая за ним в Лондоне, мы впервые видим его утончённым и космополитичным, спокойным и уверенным в себе. Он возвращается в основном в мужском обществе, но при этом помнит имена жён и детей собеседников и всегда тепло о них расспрашивает. Своё раздражение он скрывает, а необузданную жажду колоний

сдерживает знанием того, что ему придётся полагаться на хитрость и лесть. Он навещает дорогую кузину Викторину в шотландском замке Балморал, дважды ужинает с её сыном, принцем Уэльским, и встречается с видными географами и военными. Проявив проницательность, он также идёт на обед с баронессой Анжелой Бурдетт-Кутс, известной покровительницей миссионеров. Самое важное — он встречается с путешественником Камероном, недавно вернувшимся после пересечения Африки, и подробно расспрашивает его о поездке. К своему удовольствию Леопольд узнаёт, что британцы проявляют мало интереса к огромной территории, которую исследовал Камерон. Предполагается, что большая её часть является бассейном реки Конго, хотя сам Камерон путешествовал далеко к югу от реки и, как и все в Европе, до сих пор не имеет чёткого представления о её течении. Именно эта земля теперь становится объектом вожделений короля.

В сентябре 1876 года Географическая конференция Леопольда собралась в Брюсселе. В указаниях, которые он давал своим подчинённым, ни одна мелочь протокола, сколь бы незначительной она ни была, не ускользала от его внимания: «Имена должны быть написаны именно так, как я их указал. G.C.V. означает Кавалер Большого креста ордена Бани. F.R.G.S. означает Член Лондонского королевского географического общества. K.C.V. означает Рыцарь-командор ордена Бани. Эти буквы должны быть написаны после имён». Он отправил бельгийский корабль через Ла-Манш в Дувр за британскими гостями и организовал специальный экспресс, чтобы довести их до места. Он распорядился, чтобы всех прибывающих на конференцию пропускали через бельгийскую границу без таможенных формальностей. Представителей, приехавших из всех крупных европейских стран, Леопольд приветствовал

соответственно — на английском, французском или немецком языках.

Среди тринадцати бельгийцев и двадцати четырёх иностранных гостей были знаменитые путешественники, такие как французский маркиз де Компьень, поднявшийся вверх по реке Огове в Габоне, и немец Герхард Рольфс, который подверг себя обрезанию, чтобы сойти за мусульманина во время похода в отдалённые районы Сахары; географы, такие как барон Фердинанд фон Рихтхофен, президент Берлинского географического общества; гуманитарные деятели, такие как сэр Томас Фауэлл Бакстон, президент Британского антирабовладельческого общества, и сэр Джон Кеннауэй, президент Христианского миссионерского общества; бизнесмены, такие как Уильям Макиннон из компании British India Line; и военные, такие как контр-адмирал сэр Леопольд Хит из Англии, возглавлявший противорабовладельческий патруль Королевского флота в Индийском океане, и вице-адмирал барон де ла Ронсьер-ле-Нури, президент Парижского географического общества. Никогда в XIX веке в одном месте не собиралось столько выдающихся европейцев, связанных с исследованиями, и гости были рады познакомиться друг с другом в роскошной обстановке Королевского дворца. Почти единственным известным европейцем, связанным с Африкой, который отсутствовал, был Стэнли, чью работу конференция отметила официальной резолюцией. Все надеялись, что он всё ещё жив где-то в центре континента. Уже несколько месяцев о нём не поступало никаких известий.

Леопольд знал, что даже богатые и знатные люди будут рады пожить во дворце. Единственная сложность заключалась в том, что Королевский дворец в центре Брюсселя на самом деле служил

кабинетом короля; домом королевской семьи был загородный замок Лакен. Поэтому служебные помещения и канцелярии Королевского дворца в спешке переоборудовали в гостевые спальни. Чтобы разместить посетителей, некоторым слугам пришлось спать в бельевых шкафах, а столы, книги и картотеки перенесли в подвал или конюшни. В день открытия, ослеплённые роскошностью дворца участники конференции поднимались по новой барочной парадной лестнице из белого мрамора, чтобы быть принятыми Леопольдом в тронном зале, освещённом семью тысячами свечей. Король вручил Крест Леопольда всем приглашённым. «У меня в распоряжении великолепные апартаменты — весь интерьер из алого дамаска и золота, — писал в первую же ночь своей жене генерал-майор сэр Генри Роулинсон из Королевского географического общества. — Всё красное, даже чернила и боеприпасы [туалетная бумага]!»

Приветственная речь Леопольда была настоящим шедевром. Она облекла всё предприятие в благородную риторику, обозначила его собственную роль в предстоящих событиях и обеспечила его планам одобрение со стороны собранной им группы людей.

«Открыть цивилизации ту единственную часть нашего земного шара, куда она ещё не проникла, рассеять тьму, которая окутывает целые народы, — это, смею сказать, крестовый поход, достойный нашего века прогресса. Мне показалось, что Бельгия, страна, расположенная в центре Европы и сохраняющая нейтралитет, станет подходящим местом для такой встречи. Нужно ли говорить, что, приглашая вас в Брюссель, я руководствовался вовсе не эгоизмом? Нет, господа, Бельгия, быть может, мала, но она счастлива и довольна своей судьбой; я не питаю иной амбиции, кроме как служить ей наилучшим образом.»

Он закончил, назвав конкретные задачи, которые, как он надеялся, конференция сможет выполнить. Среди них — определение «местоположения маршрутов, которые будут постепенно открываться вглубь континента, а также создание гостеприимных, научных и умиротворяющих баз, призванных способствовать уничтожению работорговли, установлению мира между вождами и обеспечению им справедливого и беспристрастного арбитража».

Между роскошными банкетами участники конференции разворачивали карты и ставили отметки в пустых пространствах Центральной Африки, определяя места для таких «гостеприимных, научных и умиротворяющих баз». Каждую из них, как решили высоконравственные гости, должны были обслуживать полдюжины безоружных европейцев — учёные, лингвисты и ремесленники, обучающие туземцев практическим навыкам. В каждом пункте предполагалось создать лаборатории для изучения местных почв, климата, животного и растительного мира, а также запастись всё необходимое для исследователей: карты, товары для обмена, запасную одежду, инструменты для ремонта научных приборов и лазарет, оснащённый всеми новейшими лекарствами.

Председателем конференции — сам Леопольд скромно оставался в тени — был русский географ Пётр Семёнов. В честь смелого исследования Семёновым гор Тянь-Шаня в Центральной Азии царь даровал ему право добавить к своей фамилии приставку «Тянь-Шанский». Однако Семёнов почти ничего не знал об Африке — что идеально подходило Леопольду. Король без труда смог направить Семёнова так, чтобы цепочка баз, одобренная конференцией, протянулась через незанятые территории бассейна реки Конго, которые более всего интересовали Леопольда.

Британские участники хотели, чтобы часть этих постов находилась ближе к британским владениям.

Прежде чем гости разъехались по своим странам, они проголосовали за создание Международной африканской ассоциации. Леопольд великодушно предложил помещение в Брюсселе для штаб-квартиры организации. Предполагалось создать национальные комитеты ассоциации во всех участвующих странах, а также международный комитет. Леопольда единодушно избрали первым председателем международного комитета. Скромно (или делая вид, что скромен), он заявил, что будет занимать этот пост лишь один год, чтобы председательство могло переходить к представителям разных стран. Он подарил каждому гостю портрет себя в парадном мундире в позолоченной раме, и поражённые торжественностью события сановники и исследователи разъехались по домам.

Новая организация была с энтузиазмом встречена по всей Европе. Видные деятели — от Ротшильдов до виконта Фердинанда де Лессепса, строителя Суэцкого канала, — поспешили внести пожертвования. Национальные комитеты, звучавшие впечатляюще, должны были возглавляться великими герцогами, принцами и другими особами королевской крови, но большинство из них так и не было создано. Международный комитет собрался лишь однажды в следующем году, переизбрал Леопольда председателем, несмотря на его прежнее обещание больше не занимать этот пост, и затем фактически перестал существовать.

Тем не менее, Леопольд, действуя хитро, как лиса, сделал ещё один шаг вперёд. Он понял из многочисленных попыток купить колонию, что ни одна из них не продаётся; её придётся

завоевать. Однако сделать это открыто означало наверняка вызвать недовольство как бельгийского народа, так и великих держав Европы. Если он хотел захватить что-либо в Африке, то мог сделать это только в том случае, если убедит всех, что его интерес носит исключительно альтруистический характер. В этой цели, благодаря Международной африканской ассоциации, он преуспел блестяще. Виконт де Лессепс, в частности, назвал планы Леопольда «величайшей гуманитарной работой нашего времени».

Если мы сделаем шаг назад и посмотрим на Леопольда в этот момент, то можем представить его политическим эквивалентом амбициозного театрального продюсера. У него есть организационный талант и расположение общественности, что доказала его успешная Географическая конференция. У него есть особый вид капитала — огромная пиар-сила самого трона. У него есть сценарий: мечта о колонии, которая жила в его голове с юности. Но у него пока нет ни сцены, ни актёрского состава. Однако однажды, в сентябре 1877 года, когда король-продюсер планировал свой следующий шаг, в *London Daily Telegraph* вышел бюллетень из небольшого городка на западном побережье Африки, сообщавший поразительные новости. Это было именно то начало, которого Леопольд ждал. Сцена и звезда появились — и спектакль мог начаться.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПИРОГ

Город Бома находился на северном берегу реки Конго, примерно в пятидесяти милях от Атлантического океана. Помимо африканских жителей, там жило шестнадцать белых, большинство из них португальцы — суровые, закалённые люди, привыкшие обращаться с кнутом и ружьём, — которые управляли несколькими небольшими торговыми постами. Подобно европейцам на протяжении нескольких предыдущих столетий, эти торговцы никогда не отправлялись вглубь страны, сквозь устрашающее нагромождение скал, обрамлявших великую реку на протяжении бурных 220 миль прерывистых порогов, несущих её к уровню моря.

5 августа 1877 года, через час после заката, из чащи у Бомы вышли четверо измождённых чёрнокожих мужчин. Они пришли из деревни, находившейся примерно в двухдневном пути вглубь страны, и несли письмо, адресованное «Любому господину, говорящему по-английски, в Эмбомме».

Уважаемый господин,

Я прибыл сюда из Занзибара с 115 душами — мужчинами, женщинами и детьми. Мы сейчас находимся в состоянии неминуемого голода... но если ваши припасы придут вовремя, я смогу достичь Эмбоммы в течение четырёх дней... лучше всего было бы прислать десять или пятнадцать нош на человека риса или зерна... Припасы должны прибыть в течение двух дней, иначе мне предстоит пережить ужасные мгновения среди умирающих...

Искренне ваш,

Г. М. Стэнли, командующий англо-американской экспедицией по исследованию Африки.

На рассвете следующего дня торговцы отправили к Стэнли носильщиков с картофелем, рыбой, рисом и консервами. Они мгновенно поняли, что означало письмо: Стэнли пересёк весь африканский континент с востока на запад. Но в отличие от Верни Ловетта Кэмерона, единственного европейца, сделавшего это до него, он вышел к устью Конго. Следовательно, он должен был следовать по самой реке, став первым белым человеком, который нанёс её на карту и разгадал тайну её истока.

Получив припасы как раз вовремя, Стэнли и измождённые уцелевшие участники его экспедиции медленно прошли оставшийся путь до Бомы. С тех пор как они покинули Занзибар, расположенный у восточного побережья, они преодолели зигзагообразный маршрут протяжённостью более семи тысяч миль и находились в пути более двух с половиной лет.

Валлиец, выдававший себя за уроженца Соединённых Штатов, Стэнли был и «англичанином», и «американцем» своей англо-американской экспедиции. Однако название подчёркивало, что это путешествие, куда более дорогостоящее и амбициозное, чем его поиски Ливингстона, финансировалось как Джеймсом Гордоном Беннетом из New York Herald, так и Эдвардом Леви-Лоусоном из London Daily Telegraph. Донесения Стэнли публиковались в обеих газетах, а сам он увековечил имена их владельцев на своём пути через Африку: гора Гордон-Беннет, река Гордон-Беннет, холмы Леви, гора Лоусон. Своё собственное имя он оставил на водопаде Стэнли в центре континента и в месте примерно в тысяче миль вниз по течению, у начала порогов, где река Конго расширялась в озеро. Он утверждал, что последнее название было идеей его

заместителя Фрэнка Поко́ка, который «воскликнул: „Почему... этот величественный простор мы назовём Стэнли-Пулом!“». Поко́к не смог это подтвердить: вскоре после того, как он нарёк или не нарёк этот участок реки, он утонул.

Накануне своего грандиозного трансафриканского путешествия Стэнли снова влюбился — на этот раз в Элис Пайк, семнадцатилетнюю американскую наследницу. Влюбиться в легкомысленную девушку вдвое моложе себя, да ещё прямо перед трёхлетним отъездом, — был не самый надёжный путь к супружескому счастью, и, возможно, именно это и привлекало Стэнли, который всё ещё испытывал страх перед женщинами. Он и Элис договорились пожениться после его возвращения, подписали брачный договор и назначили дату свадьбы.

В честь своей новой возлюбленной Стэнли назвал главный транспорт экспедиции. Леди Элис представляла собой лодку из испанского кедра длиной сорок футов, разделённую на пять секций. Когда секции соединялись, лодку можно было спускать на африканские озёра и реки; когда их разъединяли и подвешивали к шестам, лодку могли переносить на себе отряды носильщиков на сотни миль по суше.

Стэнли всегда чувствовал себя неуютно рядом с теми, чьи таланты могли затмить его собственные. Из тысячи двухсот человек, подавших заявки на участие в экспедиции, среди которых были весьма опытные путешественники, он выбрал трёх неподходящих спутников: пару моряков-рыбаков, братьев Фрэнка и Эдварда Поко́ков, и молодого служащего гостиницы по имени Фредерик Баркер. Основным умением Эдварда Поко́ка, по-видимому, была игра на горне. Никто из троих не имел опыта в исследовательских путешествиях.

Когда четверо белых мужчин двинулись на запад, вглубь континента, во главе англо-американской экспедиции, они повели за собой отряд почти вдвое больший по численности, чем экспедиция Стэнли на поиски Ливингстона — всего 356 человек. Сорок шесть из них были женщинами и детьми, поскольку некоторым из старших африканцев было предоставлено право взять с собой семьи. Эта миниатюрная армия несла более шестнадцати тысяч фунтов оружия, снаряжения и товаров, которые можно было обменять по пути на еду. Во время марша колонна растягивалась почти на полмили — настолько далеко, что остановки приходилось сигнализировать горном Эдварда Покока.

Звуки горна были уместны; для Стэнли постоянные сражения всегда были частью исследования. Он никогда не утруждал себя подсчётом убитых, которых экспедиция оставляла после себя, но их число, должно быть, исчислялось сотнями. Отряд Стэнли был вооружён новейшими винтовками и ружьём для охоты на слонов с разрывными пулями; несчастные люди, с которыми они сражались, имели лишь копья, луки и стрелы или, в лучшем случае, древние мушкеты, купленные у работоторговцев. «Мы атаковали и разрушили 28 крупных городов и три или четыре десятка деревень», — записал он в своём дневнике. Большая часть боёв происходила на озёрах и реках, где исследователь и его люди шли под британским и американским флагами, открывая огонь с Леди Элис и выдолбленных каноэ. Обидчивый Стэнли был поразительно откровенен в признании своей склонности воспринимать любой намёк на враждебность как смертельное оскорбление. Казалось, что именно жажда мести вела его через весь континент. Так, когда он направлял Леди Элис к одному месту на озере Танганьика, «берег был переполнен разъярёнными людьми

и насмешниками... мы заметили, что за нами следуют несколько каноэ, в некоторых из которых мы увидели потрясённые в нашу сторону копья... Я открыл по ним огонь из винтовки Винчестера с повторной перезарядкой. Шести выстрелов и четырёх смертей хватило, чтобы унять насмешки».

В первые месяцы путешествия Стэнли мог описывать такие столкновения в газетных репортажах, которые посыльные доставляли на восточное побережье Африки, откуда их морем и телеграфом пересылали в Англию. Там они вызвали бурю возмущения у гуманитарных организаций, таких как Общество защиты аборигенов и Антирабовладельческое общество. «Стэнли стреляет в негров так, словно это обезьяны», — заметил исследователь и писатель Ричард Бёртон. Однако британского министра иностранных дел куда больше возмутило то, что этот дерзкий журналист популярной прессы, утверждавший, что он американец, поднимал британский флаг. Он направил Стэнли надменное послание, заявив, что такая демонстрация не была разрешена.

Для яростно антибритански настроенного издателя New York Herald Джеймса Гордона Беннета-младшего этот скандал оказался сплошным удовольствием. Он с энтузиазмом обрушился на критиков Стэнли, назвав их «воющими дервишами цивилизации... сидящими в безопасности в Лондоне... филантропами... [чьи] непрактичные взгляды заключаются в том, что лидер... должен позволить своим людям быть перебитыми туземцами и самому быть убитым, и чтобы открытия пошли прахом, но при этом никогда не должен нажать на курок против этого вида человеческой мерзости».

Среди достижений этого первого этапа своих путешествий

Стэнли утверждал, что рассказал императору Уганды о Десяти заповедях и обратил его в христианство. Однако французский офицер, который случайно находился в Уганде в это время, позже заявил, что Стэнли убедил императора лишь тем, что сказал ему: у христиан есть одиннадцать заповедей. Одиннадцатая гласила: «Почитай и уважай царей, ибо они — посланники Бога».

После месяцев ношения тяжёлых грузов многие носильщики экспедиции взбунтовались, похитили припасы и бежали. Снова и снова Стэнли назначал суровые наказания: «Убийца Мембе, — писал он в своём дневнике, — был приговорён к 200 ударам плетью... два пьяницы — к 100 ударам каждый и к шести месяцам содержания в цепях». Позднее он писал о своих носильщиках: «Они вероломные, лживые, вороватые, ленивые мерзавцы, которые лишь учат человека презирать самого себя за его глупость — пытаться совершить великое дело с такими жалкими рабами».

Со своей невестой, Элис Пайк, он использовал иной тон, написав в своё первое Рождество в экспедиции: «Как бы твоё доброе женское сердце пожалело меня и моих... Лагерь находится в крайнем отчаянии, и люди выглядят так, будто они решили покончить с собой или сидеть неподвижно, пока смерть не освободит их». Всегда нося с собой её фотографию, аккуратно завернутую в промасленную ткань, Стэнли отметил на своей карте остров Элис и пороги Леди Элис.

«Я так люблю танцевать. . . .» — писала ему Элис. «Я бы лучше пошла в оперу . . . чем на вечеринку. . . . Почти каждый вечер заходят какие-то молодые люди — я ужасно устаю от них. . . . У меня самый противный большой палец, весь в волдырях от игры на арфе. Я продвигаюсь довольно хорошо, только никогда не занимаюсь.» Она, по-видимому, имела слабое представление

о том, где находился Стэнли, или что письма от него, если их вообще можно было доставить, должны были нести через джунгли месяцами. «Ты больше мне не пишешь, — жаловалась она, — и я просто хочу знать, почему??? Я очень сердита на Центральную Африку.»

В книге, которую он позднее написал об этой экспедиции — Через тёмный континент (Through the Dark Continent), — Стэнли следовал нескольким правилам, которых придерживался и в дальнейшем: растянуть рассказ на два тома (в данном случае всего 960 страниц); использовать слово «тёмный» в заголовке (вслед за этим появились В самой тёмной Африке и Мои тёмные спутники и их странные истории); и задействовать все возможные средства для повествования. В книге были фотографии автора «до» и «после», показывающие, что его волосы побелели во время путешествия; «отрывки из моего дневника» (при сравнении с настоящим журналом Стэнли оказывается, что это вовсе не они); развёрнутая карта с обозначением маршрута экспедиции; более сотни рисунков — сражений, драматических встреч, пироги, затягиваемой в водоворот; планы африканских домов; планы улиц деревень; списки припасов. Настоящий рог изобилия диаграмм показывал всё — от родословных африканских королей до форм различных вёсел для каноэ. Стэнли тонко чувствовал, что невежество его читателей об Африке сделает их ещё более увлечёнными бесконечными бытовыми деталями, например, таблицей цен, из которой следовало, что курица в Абадди стоила ожерелье из бус, а шесть кур в Угого — двенадцать ярдов ткани. Читатели получали то, за что заплатили. Несмотря на то, что

это было задолго до появления электронных технологий, книги Стэнли представляли собой настоящие мультимедийные проекты.

Читая Стэнли сегодня, понимаешь, что его путешествия были актом присвоения. Он бесконечно измерял и подсчитывал всё: температуру, пройденные мили, глубину озёр, широту, долготу и высоту над уровнем моря (которую он определял по температуре кипения воды). Особо доверенные носильщики несли хрупкие грузы — термометры, барометры, часы, компасы и шагомеры. Казалось, он скорее землемер, составляющий карту континента для его будущих хозяев.

Именно вторая половина путешествия Стэнли превратила его в поистине эпическое исследовательское деяние. Из района озера Танганьика, где несколькими годами ранее он нашёл Ливингстона, он и его поредевший отряд носильщиков — включая и некоторых мятежников, начавших поход в кандалах — отправились на запад, вглубь континента. Несколько недель они двигались, пока не достигли большой реки, местное название которой было Луалаба. Ни один европейский исследователь никогда не спускался вниз по реке от этой точки, и никто не знал, куда ведёт Луалаба. Ливингстон полагал, что это и есть долгожданный исток Нила, поскольку здесь Луалаба течёт на север — прямо в направлении Египта.

Однако Стэнли был уверен, что Луалаба слишком велика, чтобы быть началом Нила; какое-то время он думал, что это может быть Нигер, у которого, как и у Нила, устье находится далеко на севере. Затем, спускаясь по реке, он всё больше убеждался, что это Конго. Но полной уверенности у него не было, поскольку эстуарий, где Конго впадает в Атлантический океан, находился на полконтинента южнее точки, где его астрономические наблюдения показывали его местоположение — на берегу текущей на север

Луалабы. На европейских картах всё пространство между этими точками оставалось пустым.

По словам Стэнли, он встал на берегу таинственной реки и обратился к своим собравшимся спутникам:

«В какое бы море ни впадала эта великая река, туда мы и последуем. . . . От ваших жизней зависит моя собственная; если я рискую вашими, значит, рискую и своей. Как отец заботится о своих детях, так и я буду заботиться о вас. . . . Поэтому, дети мои, решите так же, как решил я: раз уж мы находимся в самом центре этого континента, и возвращаться так же тяжело, как и идти вперёд, мы продолжим наше путешествие, будем трудиться снова и снова, следуя только этой рекой и никакой другой — до солёного моря».

Фрэнк Покок, верный помощник, спросил: — «Прежде чем мы окончательно отправимся, сэр, верите ли вы, в глубине вашей души, что мы преуспеем?»

На что Стэнли ответил: — «Верю? Да, я действительно верю, что мы все когда-нибудь снова выйдем к свету. Правда, наши перспективы мрачны, как эта ночь... Я верю, что [эта река] окажется Конго; если это Конго, то на ней должно быть много водопадов... будь то Конго, Нигер или Нил — я готов... Верю? Я вижу нас, скользящих вниз мимо башен и городов, и мой разум не допускает даже тени сомнения. Спокойной ночи, мой мальчик! Спокойной ночи! Пусть же счастливые сны о море, кораблях, удовольствии, уюте и успехе сопутствуют тебе во сне!»

Произнес ли Стэнли на самом деле на берегу реки хотя бы отдалённо похожие слова? Мы никогда этого не узнаем, потому что никто из трёх других белых участников экспедиции не выжил. Задолго до того как Фрэнк Покок утонул, Фред Баркер умер от «малярийных припадков» такой силы, что «его кровь, казалось,

застыла в жилах», пока «сгустившаяся кровь не перестала течь, и... бедный юноша был мёртв». Эдвард Покок впал в бред. «Я подбежал к нему, — утверждает Стэнли, — но лишь успел увидеть, как он сделал последний вздох».

Если Луалаба должна была оказаться Конго, Стэнли знал: река где-то обязана совершить разворот на 180 градусов. Когда он со своей экспедицией плыл по ней или, поначалу, временами шёл вдоль неё, он часто измерял широту и долготу. На протяжении нескольких сотен миль река загадочным образом продолжала течь на север. Но наконец она начала описывать широкий дугообразный изгиб против часовой стрелки на запад и в конце концов потекла на юго-запад — к своим страшным порогам и Атлантике.

Путешествие Стэнли решило ещё одну географическую загадку. Конго начинается и заканчивается южнее экватора, но верхняя часть её огромной дуги лежит севернее экватора. В Центральной Африке экватор служит приблизительной границей между сухим и дождливым сезонами: когда к северу от линии — один сезон, к югу от неё — другой. Поэтому, в любое время года, часть течения Конго проходит через земли, залитые дождями, а часть — через сухие области. Это объясняло, почему в течение года уровень воды в Конго колеблется гораздо меньше, чем у других тропических рек.

Огромная, всё более широкая река, как обнаружил Стэнли, была богатым источником пищи для живших по её берегам народов. С тех пор учёные насчитали в реке более пятисот видов рыб. Они питаются множеством насекомых, друг другом, а также плодами и листьями, падающими в воду, особенно в сезоны разливов, когда река выходит из берегов и потоки воды заливают прибрежные леса и саванны.

Разочаровывает то, что единственные африканские голоса, которые мы слышим, — это те, что были записаны самим Стэнли. Время от времени он действительно отмечает или воображает такой голос, словно останавливается, чтобы бросить быстрый, полувиноватый взгляд в зеркало. Вот один из таких взглядов, из его дневника от 12 сентября 1876 года, что совпало с днём, когда сановники в вечерних костюмах поднимались по мраморной лестнице Королевского дворца на открытие Географической конференции короля Леопольда II в Брюсселе.

Мнение народа Вагуха о белом человеке:

«Как он может быть хорошим человеком, если приходит не ради торговли, если его ног никогда не видно, если он всегда покрыт одеждой, в отличие от всех остальных? Нет, в нём есть что-то очень загадочное, возможно — злое, возможно, он колдун. В любом случае лучше оставить его в покое и не тревожить.»

Кровавый путь Стэнли вниз по реке стал частью местной устной истории, иногда приобретая элементы легенды, ибо дальнобойность и точность его ружей казались сверхъестественными тем, кто никогда не видел такого оружия. Спустя несколько лет один путешественник услышал такой рассказ:

«Вождь чужеземцев был покрыт одеждой, и лицо его было белым, и сияло, как солнечный свет на реке... У чужеземного вождя был только один глаз... Он находился посреди лба... Когда басоко вышли на реку в своих военных каноэ, чтобы сразиться с чужеземцами и пленить их, они кричали: “Мясо! мясо!”, ибо собирались съесть их тела. Но пленить их не удалось, и они убили многих басоко палками, которые извергали гром и молнию. Они говорили слова на странном языке... Они спустились дальше вниз по реке и проплыли мимо могучих басоко с насмешками.»

Этот образ Стэнли как одноглазого, созданный басоко, мог быть воспоминанием, многократно искажённым пересказами, о том, как он шурился, глядя в телескоп или прицел ружья. Он также странным образом отсылает к образу одноглазых существ, которых некоторые средневековые европейские географы воображали обитателями Африки. Мы знаем из более позднего фрагмента устной литературы, что европейцев нередко считали существами с копытами: никогда прежде не видел обуви, некоторые африканцы вдоль реки полагали, что она является частью белой анатомии.

В нескольких сотнях миль ниже по течению от отправной точки Стэнли пришлось нести лодки в обход порогов, которые он назвал Стэнли-Фолс. После этого больше не было естественных препятствий на протяжении тысячи миль — до Стэнли-Пула. Путь был открыт для Леди Алисы и флота примерно из двух десятков каноэ, которые экспедиция либо купила, либо украла у жителей вдоль берегов реки.

Стэнли и его занзибарские носильщики и солдаты с благоговением наблюдали, как река всё ширилась, становясь местами настолько просторной, что противоположного берега почти не было видно. В её русле разбросано около четырёх тысяч островов, многие из которых были населены. На языках, распространённых вдоль её берегов, реку называли не Конго, а, благодаря множеству притоков, Нзади или Нзере, что означает «река, которая поглощает все реки». Стэнли не решался подниматься по этим притокам, но, проходя мимо одного за другим — шириной в сотни ярдов каждый, — поражался их величию. И было чему: только один из притоков Конго, река Касаи, несёт столько же воды, сколько Волга, и при этом в полтора раза длиннее Рейна. Другая, Убанги, ещё длиннее. Стэнли сразу

понял, что по этой сети пароходы смогут ходить на огромные расстояния. Казалось, будто он нашёл эквивалент тысяч миль уже проложенной железной дороги. «Держава, обладающая Конго, — писал он, — поглотила бы всю торговлю с огромного бассейна, лежащего за ней. Эта река есть и будет великой торговой магистралью Центральной Африки».

Последний отрезок необыкновенного путешествия Стэнли оказался самым трудным. В начале финального 220-мильного отрезка порогов, там, где река расширялась, образуя Стэнли-Пул, лёгкое плавание исследователя закончилось. Он был готов перетаскивать лодки в обход порогов и водопадов, но не представлял, что значительная часть стремительного потока реки к морю пролегла через скальные ущелья, сжимавшие воду в быстрые, непроходимые стремнины белой пены.

Он становился всё более удручённым. По его оценке, сделанной по времени, за которое мимо проплывали бревна, течение в некоторых местах достигало тридцати миль в час.

Представьте себе участок моря, вздыбленного ураганом, — и вы получите довольно точное представление о его вздымающихся волнах. Сначала происходил стремительный бросок вниз, на дно огромной впадины, а затем, благодаря своей колоссальной силе, водная масса круто поднималась вверх, собиралась в гребень и внезапно взметалась на двадцать или тридцать футов прямо в воздух, прежде чем обрушиться в следующую впадину. У самого основания обоих берегов, сложенных из длинной линии нагромождённых гигантских валунов, всё было погребено в бурных пенистых водах. Грохот стоял невыносимый и оглушительный; я могу сравнить его лишь с раскатами экспресса, несущегося через скальный тоннель.

Надеясь — обычно тщетно — найти спокойные участки реки между такими порогами, исследователь игнорировал советы местных африканцев и слишком долго, почти со смертельным риском, не оставлял Леди Элис и свои выдолбленные каноэ. Перетаскивать каноэ по суше было особенно мучительно, ведь их нельзя было разобрать и переносить по частям, как Леди Элис. Самое большое каноэ имело длину пятьдесят четыре фута и весило три тонны. Людям приходилось расчищать и устилать ветками грубую тропу, а затем тащить каноэ вперёд. Иногда они сооружали настилы из брёвен и использовали другие брёвна поперёк, как катки. Чтобы пройти один участок в тридцать четыре мили, потребовалось тридцать семь дней. Раз за разом зазубренные Кристальные горы вставали непреодолимой преградой; в одном месте измученным и истощённым людям пришлось тащить лодки вверх на двенадцать сотен футов, затем вдоль трёх миль относительно ровной земли, а после снова спускать вниз. Наступил сезон дождей, с ливнями, которые длились по пять-шесть часов в день.

Непрерывный гул порогов становился всё более гнетущим. Люди падали в обморок от голода. Последняя пара ботинок Стэнли рассыпалась. Один из его лучших людей лишился рассудка и убежал в джунгли, унося с собой лишь попугая. Наконец, после месяцев бесплодных усилий по перетаскиванию, ставших бесполезными лодок, экспедиция полностью их оставила. В дневнике Стэнли, где он в отчаянии отмечал одну смерть за другой, массовые побегии или мятежи, его изящный почерк становился почти неразборчивым, а проза — бессвязной. В общей сложности ему и его голодной, изнурённой болезнями группе понадобилось четыре с половиной месяца, чтобы проделать по суше 250 миль от Стэнли-Пула до морского порта Бома.

Исследователь был неопределённым и противоречивым в своих подсчётах, но число погибших среди членов экспедиции было ужасающим. Многие умерли от гнойных ран, дизентерии, оспы или тифа, усугублённых периодами почти полного голода. Стэнли не позволял носильщикам, заболевшим оспой, оставаться позади и выздоравливать или даже уйти в лес умирать; он заставлял их нести ношу, пока они не падали. И он гнал себя почти так же беспощадно, как и своих людей; во время путешествия он потерял более шестидесяти фунтов веса. Несколько раз экспедиция оказывалась на грани обезвоживания; она переносила нападения змей и гиппопотамов, колючую траву, червей, прогрызающих стопы носильщиков, и тропы, пролежавшие по острым как нож скалам. К тому времени, когда выжившие добрались до Бомы, они были онемевшими от усталости и страдали от того, что сегодня мы назвали бы посттравматическим стрессовым синдромом. Несколько человек вскоре умерли без видимой причины, ожидая отплытия домой.

«Какими средствами могу я передать тебе тяжесть любви моего сердца, — писал Стэнли Алисе Пайк из центра континента, — кроме этого письма, которому предстоит пройти через тысячу миль дикарей, подвергаясь всем опасностям наводнений, огня и битв, пока оно не достигнет моря? ... Поверь же тогда, что моя любовь к тебе остаётся неизменной, что ты — в моих снах, моя опора, моя надежда и мой маяк, и будь уверена, что я буду хранить тебя в этом свете до самой нашей встречи».

Когда он привёз оставшихся носильщиков и солдат морем обратно в их отправную точку — Занзибар, Стэнли испытал потрясение. Среди двухлетней почты, ожидавшей его, оказалась газетная вырезка полуторогодичной давности, сообщавшая, что

Алиса Пайк вышла замуж за наследника железнодорожного состояния из Огайо по имени Альберт Барни. Стэнли впал в глубокую депрессию и больше никогда её не видел.

В публичных заявлениях после своего путешествия Стэнли привычно обрушивался с осуждениями на «арабскую» работоторговлю, призывал миссионеров ехать в Африку, негодовал по поводу того, что африканцы ходят в «общей непристойности своей наготы», и провозглашал, что целью его экспедиции было «пронести факел света через западную половину Тёмного континента». Но мысли о деле никогда не были от него далеки. Покидая один из районов, где его терзали дезертирство и наводнение, он записал в дневнике: «Прощай... пока какой-нибудь щедрый и состоятельный филантроп не позволит мне или кому-то другому возглавить отряд для подавления этого препятствия на пути торговли с Центральной Африкой».

Щедрый и состоятельный филантроп уже ждал.

На самом деле филантроп был в восторге. За несколько месяцев до того, как Стэнли появился в Боме, Леопольд ежедневно с жадным интересом просматривал Times of London в поисках новостей о его судьбе. В какой-то момент он написал помощнику: «Первым пунктом в повестке дня... мне кажется, нужно снова проверить, достиг ли Стэнли Луалабы». Как только Стэнли вновь объявился, король отправил ему телеграмму с поздравлениями.

Теперь Леопольд мог читать длинные статьи в Daily Telegraph, которые писал Стэнли о своём путешествии, а также многочисленные газетные репортажи о почестях и банкетах, устроенных исследователю в Кейптауне, Каире и других

местах на его пути обратно в Англию. Совместная резолюция с поздравлениями поступила от обеих палат Конгресса США, а коллеги-исследователи назвали его спуск по Конго величайшим подвигом исследования века. Леопольд теперь был уверен, что эта обширная территория в центре Африки, чудесным образом всё ещё не занятая ни одной европейской державой, могла стать колонией, о которой он мечтал. Наконец его давняя постановка могла выйти на сцену, и Стэнли должен был стать её звездой.

Король поручил своему министру в Лондоне держать его в курсе новостей о Стэнли. Под элегантной дымовой завесой своей Международной африканской ассоциации Леопольд действовал с большой тонкостью. «Будьте осторожны», — сказал он посланнику. — «Я уверен, что если я совершенно открыто возложу на Стэнли задачу занять от моего имени какую-то часть Африки, англичане остановят меня. Если я попрошу у них совета, они всё равно остановят меня. Поэтому я думаю, что просто дам Стэнли какое-нибудь задание по исследованию, которое никого не обидит, и которое даст нам базы и штабы, которые мы сможем позже захватить». И прежде всего, сказал Леопольд своему человеку в Лондоне: «Я не хочу рисковать... потерять прекрасную возможность обеспечить для нас кусок этого великолепного африканского пирога».

Отправляя одну за другой телеграммы, Леопольд разработал план перехватить Стэнли на его пути домой и заманить его в Брюссель. В Александрии, где исследователь задержался на несколько дней, король устроил так, чтобы кто-то подсказал Стэнли эту идею во время ужина, на котором он был почётным гостем на борту яхты, принадлежавшей бывшему президенту США Улиссу С. Гранту. Затем, для следующего шага в своём

«ухаживании», Леопольд обратился за помощью к своему американскому другу в Брюсселе, генералу Генри Шелтону Сэнфорду. Это был блестящий выбор: ведь Стэнли так рьяно выдавал себя за американца — кто мог лучше всего повлиять на него, как не знатный соотечественник?

Генерал Сэнфорд с готовностью взялся за эту блестящую миссию для Леопольда. Родившись в богатой семье из Коннектикута, он был назначен Авраамом Линкольном американским посланником в Бельгии и остался там после завершения своего восьмилетнего срока. Он и его жена, известная красавица, значительно моложе его, устраивали пышные приёмы в своём загородном трёхэтажном доме с башенками неподалёку от Брюсселя. Со своим цилиндром, тростью с золотым набалдашником, пенсне и красивыми каштановыми усами и бородой, Сэнфорд был хорошо узнаваемой фигурой в высших кругах города. Однако он никогда не был солдатом; звание «генерала», как и шпагу и синеголдовую форму, которую он носил несколько лет, он получил в награду за то, что подарил батарею пушек одному пехотному полку во время Гражданской войны.

Сэнфорд вложил средства в американские железные дороги и недвижимость на Западе, а также в огромные цитрусовые плантации и другие предприятия во Флориде, дав городу, выросшему для размещения их рабочих, имя Сэнфорд. Но, как и в случае с его воинским званием, финансовая хватка Сэнфорда была далеко не такой, какой казалась. Он обладал утончённостью человека, выросшего с состоянием, но не обладал прозорливостью, необходимой для того, чтобы его приумножить, и терял деньги во всём, за что бы ни брался. Он так и не вернул крупные суммы, вложенные в ряд странных патентов — на ткацкий станок

для шерсти, новый тип вискикурни и небольшую коробку, предназначенную для смазывания осей железнодорожных вагонов водой вместо масла. Серебряная шахта в Неваде и цинковая шахта в Арканзасе оказались провальными. Железная дорога в Миннесоте обанкротилась. Его хлопковый урожай на плантации в Южной Каролине был уничтожен гусеницами.

Когда Сэнфорд видел, как его унаследованное состояние тает, всё большее значение для него приобретали связи при бельгийском дворе. Он даже назвал одного из своих сыновей Леопольдом. Король, всегда тонко разбиравшийся в людях, прекрасно понимал, что королевское покровительство будет значить для Сэнфорда, и без конца его льстил, зная, что однажды сможет им воспользоваться. Когда Сэнфорд потерпел неудачу в одной из многих безрезультатных попыток получить ещё один американский дипломатический пост, помощник Леопольда, барон Жюль Грейндль, написал ему: «Король рад, что вы продолжите жить среди нас, где все вас любят и ценят». Как и многие американцы, Сэнфорд питал слабость к монархии, и он считал, что Леопольд ценил его так, как его собственная страна не ценила.

В январе 1878 года Леопольд тайно отправил Сэнфорда и Грейндля перехватить Стэнли во Франции, где исследователь, всё ещё направлявшийся в Лондон, должен был получить очередные медали и участвовать в банкетах. На железнодорожной станции в Марселе посланники догнали Стэнли, который был худ, болен и изнурён, и проследовали за ним в Париж, где официально предложили ему работу в Международной африканской ассоциации. Он отклонил их приглашение, но явно был польщён. Всегда тревожившийся о своём приёме в высших слоях общества,

Стэнли никогда не забывал, что приближённые короля бельгийцев — барон и генерал, ни больше ни меньше — специально разыскали его после возвращения в Европу.

Из Франции Стэнли наконец направился домой, в Лондон, где его ждал триумфальный приём. Несмотря на то, что он утверждал, будто является американцем, его сердце по-прежнему принадлежало Англии. Именно Юнион Джек, говорил он на одном банкете или на другом торжественном приёме в смокинге, должен был развеяться над территорией, пересечённой великой рекой. Надежды Стэнли на британский интерес к бассейну Конго возросли, когда принц Уэльский пришёл послушать его выступление, но всё, что он сказал исследователю после, свелось к замечанию, что Стэнли носил свои медали в неправильном порядке. Карта мира уже во многом была заполнена британскими владениями, колониями и протекторатами самого разного рода; в условиях экономического спада внутри страны и многочисленных колониальных кризисов и восстаний за рубежом, немногие англичане проявляли интерес к новой территории, основной путь сообщения которой был перекрыт печально известными порогами.

«Я совершенно не понимаю англичан, — писал Стэнли. — Либо они подозревают меня в корыстных целях, либо просто не верят мне. ... За спасение Ливингстона меня называли самозванцем; за пересечение Африки — пиратом». И в Соединённых Штатах энтузиазма по поводу колонизации Конго тоже не было. Джеймс Гордон Беннетт-младший, в Нью-Йорке, теперь хотел отправить Стэнли на поиски Северного полюса.

Леопольд продолжал настойчиво добиваться своего. Он поручил своему министру в Лондоне пригласить Стэнли на обед. Он отправил Сэнфорда через Ла-Манш, чтобы тот снова

поговорил с исследователем. И позаботился о том, чтобы Стэнли слышал несколько намёков на то, что король якобы может заключить сделку с другим путешественником. Леопольд знал, с кем имеет дело. Через пять месяцев после возвращения в Европу Стэнли принял приглашение посетить Бельгию.

«ДОГОВОРЫ ДОЛЖНЫ ДАРОВАТЬ НАМ ВСЁ»

10 июня 1878 года пароход перевёз Генри Мортон Стэнли через Ла-Манш на его первую встречу с королём бельгийцев. Мы не знаем, чем занимался Леопольд, когда ждал исследователя в своём кабинете в Королевском дворце, а его долгие месяцы ухаживания должны были вот-вот принести плоды. Но нетрудно представить, что этот король-географ снова разглядывал свои карты.

Такой взгляд подтвердил бы, что лишь в Африке Леопольд мог надеяться осуществить свою мечту о захвате колонии, причём колонии, несоизмеримо большей, чем Бельгия. В Америке больше не оставалось незанятых территорий, а катастрофическое предприятие Максимилиана и Карлотты в Мексике служило напоминанием о том, что может случиться, если попытаться установить контроль над независимой страной там. И в Азии не осталось пустых мест: Российская империя простиралась до самого Тихого океана, французам принадлежал Индокитай, голландцам — Ост-Индия, а почти вся остальная Южная Азия, от Адена до Сингапура, была окрашена в розовый цвет Британской империи. Оставалась только Африка.

Стэнли прошёл по реке Конго около полутора тысяч миль. Однако он, очевидно, видел её не всю, потому что, когда впервые достиг её верховьев, она уже была почти в милю шириной. Полное исследование заняло бы много лет, но, с жадностью поглощая газетные статьи Стэнли, Леопольд получил общее представление о том, что обнаружил исследователь.

В конечном счёте статистика стала известна. Река Конго дренирует территорию более чем в 1,3 миллиона квадратных миль — площадь, превышающую Индию. Она обладает примерно одной шестой частью мирового гидроэнергетического потенциала. Но самое главное для имперского строителя XIX века заключалось в том, что река и её веерообразная сеть притоков образуют более семи тысяч миль взаимосвязанных водных путей — встроенную транспортную систему, с которой могли соперничать лишь немногие места на земле. Как только разобранные на части пароходы можно было бы перенести вокруг великих порогов и спустить на эту сеть, они нашли бы топливо прямо у пристаней: большинство судоходных рек протекало через быстрорастирующий тропический лес, покрывавший половину бассейна.

О людях, живших в бассейне Конго, европейцы по-прежнему знали немного. Когда он не прицеливался в них через мушку своего ружья, Стэнли видел в них главным образом источник припасов — людей, у которых можно было выменять еду на безделушки или ткань. Но он сделал два важных открытия о жителях этого региона. Первое заключалось в том, что они не представляли военной угрозы: его почти три десятка сражений показали, что их копья, стрелы и ветхие мушкеты не могли соперничать с его новыми казнозарядными ружьями системы Снайдера. Второе открытие состояло в том, что вдоль главной транспортной артерии — реки Конго — не существовало единого могущественного государства, которое пришлось бы подчинять. Дальнейшие исследования по притокам реки выявили несколько крупных королевств, но столетия набегов работорговцев как с восточного, так и с западного побережья Африки сильно их ослабили. Многие народы бассейна Конго были немногочисленны. Как вскоре показал следующий

этап исследований, здесь существовало более двухсот различных этнических групп, говорящих на более чем четырёхстах языках и диалектах. При таком раздробленном противостоянии завоевание оказалось бы относительно лёгким.

В тот день 1878 года, когда он сел за долгожданную встречу со Стэнли, Леопольду было сорок три. С педантичной неловкостью юности покончено, он научился великолепно играть королевскую роль. Хотя тридцатисемилетний Стэнли был на голову ниже короля и неловко себя чувствовал из-за своего примитивного французского, он тоже состоялся. Неудачливый морской дезертир каких-то тринадцатью годами ранее теперь был автором бестселлеров, признанным одним из величайших живых исследователей. Его суровое, усатое лицо появлялось повсюду в журналах под «шапкой Стэнли», его собственным изобретением. Она имела высокую тулью с вентиляционными отверстиями, козырёк над глазами и наметку (havelock) — кусок ткани, защищавший уши и шею от солнца. Для нас эта шапка выглядит как нечто среднее между головным убором иностранного легионера и швейцара — что, в каком-то смысле, и отражало личность Стэнли: с одной стороны, титан суровой силы и вселяющей уверенности, с другой — уязвимый незаконнорождённый сын рабочего класса, тревожно ищущий одобрения сильных мира. На фотографиях видны обе стороны: в глазах исследователя читается и яростная решимость, и ранимость.

На этой первой встрече Леопольд сразу расположил Стэнли к себе, заговорив на беглом английском. Люди, встретившиеся в тот июньский день в Королевском дворце, представляли собой социальные типы, которые вскоре станут привычными. Командиры наземных отрядов в великой африканской гонке

за землями — белые, которые вели солдат в дебри, направляли ружейный и пулемётный огонь и держали в руках инструменты землемеров, которые бросали вызов малярии, дизентерии и тифу — часто происходили, как и Стэнли, из низших или нижних слоёв среднего класса в своих странах. Для них Африка была шансом подняться вверх — к богатству и славе. Но те, кто извлёк наибольшие состояния из «гонки за Африку», подобно Леопольду, чаще всего уже обладали богатством с самого начала.

Хотя Леопольд и прожил жизнь, окружённую роскошью яхт и дворцов, он был из них двоих более опытным в житейских делах. Он сумел оценить честолюбие Стэнли, его огромную способность к тяжёлому труду, его жажду постоянных похвал и потребность в покровителе. Стэнли, всё ещё уязвлённый отсутствием британского интереса к Конго, был в восторге от встречи с монархом, который восхищался его достижениями и хотел, чтобы он сделал ещё больше.

После этой встречи Стэнли провёл оставшуюся часть 1878 года, путешествуя по Европе: продвигал свою книгу «Сквозь тёмный континент», встречался с членами нового «Клуба Стэнли» в Париже и повсюду принимал почести. Леопольд посылал за ним послания и эмиссаров, чтобы держать своего человека «на крючке». До конца года они вдвоём договорились об условиях возвращения Стэнли в Конго — на этот раз уже на службе у короля. Контракт Стэнли заключался на пять лет: он должен был получать 25 000 франков в год за время, проведённое в Европе, и 50 000 франков (примерно 250 000 долларов в нынешних ценах) за время, проведённое в Африке. И, разумеется, Леопольд финансировал экспедиционный корпус, который должен был сопровождать его.

Они договорились, что сначала Стэнли создаст базу у устья

реки, а затем построит дорогу в обход порогов, через суровые Кристальные горы — предвестницу будущей железной дороги. По этой дороге носильщики должны были переносить несколько пароходов, разобранных на мелкие части, которые Стэнли позднее собрал бы и использовал для плавания вверх по течению, создавая цепь торговых постов вдоль тысячемильного судоходного участка реки Конго. После этого он мог бы написать книгу о своём опыте — но право редактирования оставалось за Леопольдом.

Из всех богатств, которые Леопольд надеялся найти в Конго, ярче всего в его воображении сияла слоновая кость. Европейские и американские торговцы уже охотно скупали африканскую слоновую кость на рынках Занзибара. Благодаря своей лёгкой обработке, в XIX веке слоновая кость была более редким и дорогим аналогом того, чем сегодня является пластик, с добавленным ореолом экзотического происхождения — ореолом, усиливавшимся по мере публичного обожествления африканских исследователей. Кость из бивней слонов превращалась в рукоятки ножей, бильярдные шары, гребни, веера, кольца для салфеток, клавиши пианино и органов, шахматные фигуры, распятия, табакерки, броши и статуэтки. В слабом отголоске её первоначального назначения для слона её использовали для изготовления вставных зубов. Несмотря на то, что слоновую кость приходилось перевозить на большие расстояния от мест обитания слонов глубоко внутри континента, она оставалась привлекательной для торговцев по всей цепочке, поскольку, подобно наркотикам или драгоценным металлам, обладала высокой стоимостью при малом объёме. Сто фунтов слоновой кости из средней пары африканских бивней могли превратиться в сотни клавиш для пианино или тысячи вставных зубов. Торговцы

слоновой костью предпочитали африканские бивни индийским, а у слонов экваториальной Африки, включая бассейн Конго, бивни обычно были самыми крупными. Стэнли находил слоновую кость настолько распространённой, что её использовали в качестве дверных косяков в африканских жилищах.

Пока что подобные богатства оставались для Леопольда делом как минимум нескольких лет будущего, поскольку сначала Стэнли должен был построить дорогу. В подробном бюджете, подготовленном для короля, он не упустил ни одной детали: малые лодки, деревянные здания в разобранном виде, верёвки, инструменты, африканских носильщиков и европейских надзирателей. Среди последних были двое молодых англичан, которые, в духе беспомощных подчинённых Стэнли, никогда прежде не покидали свою страну. Наняв новичков, он позднее мог обрушиваться на их неопытность: «У меня не было ни одного друга ни в одной экспедиции, ни одного, кто мог бы быть моим спутником на равных, кроме времени, проведённого с Ливингстоном. ... Как может тот, кто был свидетелем многих войн, надеяться на понимание со стороны того, для кого самым ужасным зрелищем была носовая кровь?»

Стэнли был достаточно хитёр, чтобы потребовать деньги у Леопольда авансом, поскольку, несмотря на множество контрактов, оставалось неясным, на кого именно он работает: на самого короля, на Международную африканскую ассоциацию короля, которая, казалось, угасала, или на новый и в какой-то мере тайный орган под названием «Комитет по изучению Верхнего Конго»? Официально акционерами комитета числилась небольшая группа голландских и британских бизнесменов и бельгийский банкир — который на деле тайно держал крупный пакет акций в качестве

доверенного лица Леопольда. Надёжный ставленник короля, полковник Максимильен Штро, был президентом комитета.

Как бы ни были амбициозны планы Леопольда и Стэнли, король стремился к тому, чтобы их рассматривали не иначе как филантропию. Контракты, которые Стэнли заставил подписать своих европейских сотрудников, запрещали им разглашать истинную цель их работы. «Предполагаются только научные исследования», — уверял журналиста Леопольд. Тем, кто задавал дополнительные вопросы, он мог указать на пункт в уставе комитета, который прямо запрещал ему преследовать политические цели. Король хотел обезопасить себя от широко распространённого в Бельгии мнения, что для маленькой страны колония обернётся расточительной убыточностью. Он также не хотел делать ничего, что могло бы насторожить потенциальных соперников в борьбе за этот лакомый кусок африканского пирога, особенно Францию, начинавшую проявлять интерес.

В феврале 1879 года Стэнли, тайно поднявшись на пароход под именем мсье Анри, снова отправился в Африку. В Европе за его спиной разворачивалась другая история. Голландская компания, которая была ключевым акционером Комитета по изучению Верхнего Конго, обанкротилась, а её глава, по слухам, бежал в Нью-Йорк и устроился работать извозчиком. Леопольда это не смутило; он использовал шок от краха голландской компании, чтобы фактически предложить выкуп акций остальным акционерам комитета. Те с благодарностью согласились, и к концу года комитет юридически прекратил существование. Но как дымовая завеса он всё ещё оставался полезен, и король продолжал ссылаться на комитет так, будто тот функционировал и будто его бывшие акционеры, а не один лишь он сам, финансировали Стэнли

и принимали решения. Сам Стэнли узнал о гибели комитета более чем через год после этого.

Чтобы ещё больше запутать ситуацию и дать своим африканским операциям название, которое могло бы служить прикрытием для политического образования, мастер-интриган создал ещё одну новую фиктивную организацию — «Международную ассоциацию Конго». Название было рассчитано на то, чтобы звучать обманчиво похоже на дышавшую на ладан «филантропическую» Международную африканскую ассоциацию наследных принцев и исследователей. «Нужно позаботиться о том, чтобы не было очевидно, что Ассоциация Конго и Африканская ассоциация — это две разные вещи, — инструктировал Леопольд одного из своих помощников. — Публика этого не понимает». Добавляя ещё больше путаницы, новая Международная ассоциация Конго, как и упразднённый Комитет по изучению Верхнего Конго, использовала флаг Международной африканской ассоциации, который был принят торжественно на её первом и последнем заседании — золотая звезда на голубом фоне, символизирующая проблеск надежды в притчевой африканской тьме.

Ещё до заключения сделки со Стэнли Леопольд начал тянуться к своему «куску африканского пирога» с другой стороны стола, финансируя попытку проникнуть в бассейн Конго с восточного побережья Африки. За этим последовали ещё три подобные экспедиции, хорошо разрекламированные, но неумелые. В одной из них участвовали четыре индийских слона-вьючника с подходяще экзотическими именами Сундергрунд, Надербукс, Сосанкалли и Пулмалла. Как оказалось, для продвижения слонов требовалось пятьдесят рабочих с топорами и мачете, которые расчищали деревья и ветви, чтобы животные и их ноша могли

пройти. Но прежде, чем тяжело и преждевременно погибнуть от различных недугов, слоны стали настоящей находкой для журналистов. Европейские читатели, следившие за каждым этапом печального пути этих животных, не осознавали, что настоящая история происходила на другом побережье Африки, где Стэнли тихо работал над своей дорогой в обход порогов реки Конго.

Почти незаметно название «Конго» стало обозначать не только реку, но и целую территорию. Когда публика наконец начала обращать внимание на формирующуюся колонию, король достиг новых высот в искусстве иллюзий. Он сам или один из его помощников каждый раз открывал занавес на совершенно иной декорации — в зависимости от аудитории. Генри Шелтон Сэнфорд, член правления предприятия Леопольда в его версии как Международной африканской ассоциации, представлял его почти как «Службу помощи путешественникам». В Нью-Йорке, во время поездки 1879 года, связанной с его убыточными инвестициями, Сэнфорд произнёс речь, заявив, что цель короля — «основать цепь постов или приютов, одновременно гостеприимных и научных, которые должны служить средством информации и помощи путешественникам... и в конечном итоге, благодаря их гуманизирующему влиянию, обеспечить упразднение торговли рабами». Новую «Международную ассоциацию Конго», настаивал Леопольд в статье, которую он сам написал и сумел опубликовать под подписью «бельгийский корреспондент» в газете London Times, можно считать своего рода «Обществом Красного Креста; оно создано с благородной целью оказывать долговременные и бескорыстные услуги делу прогресса». Разговаривая же с более воинственными немцами, Леопольд ловко менял декорации и

сравнивал своих людей в Конго с рыцарями крестовых походов. Почти все были обмануты. Баронесса Бёрдетт-Куттс, британская покровительница миссионеров, пожертвовала ему 50 000 франков на его гуманитарные начинания. В Соединённых Штатах один писатель провозгласил великое дело Леопольда «достаточным, чтобы американец навсегда поверил в королей».

Тем временем Леопольд передал указание, что Стэнли должен заложить в Конго основы для «конфедерации свободных негритянских республик», чьи вожди будут избирать президента, живущего в Европе и правящего под руководством бельгийского короля. Эта иллюзия, перекликавшаяся с идеей союза штатов, была рассчитана на то, чтобы понравиться американской аудитории. Европейцам же король говорил о вольных городах. «Бремен, Любек, Гамбург долгое время были вольными городами, — писал один из его помощников. — Почему бы не появиться таким и в Конго?» Однако за кулисами знали, что в любом случае слово свободные было лишь декорацией, которую уберут сразу после закрытия занавеса. Как откровенно написал один из подчинённых Леопольда Стэнли: «Не может быть и речи о предоставлении неграм малейшей политической власти. Это было бы абсурдом. Белые, начальники станций, сохраняют всю полноту власти». Стэнли сначала протестовал, а затем подчинился планам короля.

В течение пяти лет Стэнли был человеком Леопольда в Конго. Его боевая энергия теперь направлялась главным образом против сурового ландшафта территории, а не против её жителей. Его рабочие прорубили грубую тропу — скорее путь, чем дорогу — в обход больших порогов, используя уже существующие тропы

в одних местах, а в других — расчищая заросли и лес, засыпая овраги и перекидывая бревенчатые мосты через ущелья. Затем они перевезли по этой тропе более пятидесяти тонн припасов и оборудования. Вьючные животные, такие как лошади и быки, не могли выжить в климате и при болезнях Конго, поэтому припасы в основном переносились на головах носильщиков.

После двух лет прокладки тропы, волоков и перевозок два небольших парохода были снова собраны на вершине порогов и зафыркали вверх по реке к отрядам, которые основывали новые базы на её берегах. Названия не оставляли сомнений в том, чья это будет колония. Станция, основанная на вершине больших порогов — в пределах слышимости их громового гула — и включавшая мощный укреплённый блокгауз и огород, получила название Леопольдвиль. Над ней возвышался Леопольд-холм. Вскоре на картах появились озеро Леопольда II и река Леопольда. Один из пароходов, прибывших позднее и недолго пилотируемый самым известным судовым офицером Конго, носил имя *Roi des Belges* («Король бельгийцев»).

Стэнли был суровым надсмотрщиком. «Лучшее наказание — это кандалы, — объяснял он в одном из писем в Брюссель, — потому что, не раня, не уродуя и не мучая тело, они причиняют стыд и неудобство». (Белых, разумеется, в кандалы не заковывали; только чёрных.) Болезни и другие опасности оказывались ещё более смертоносными, чем гнев Стэнли. Только в первый год под его командованием погибли шесть европейцев и двадцать два африканца, включая одного, которого съел крокодил.

Впервые мы наконец можем увидеть Стэнли в Африке чужими глазами. Инженер парохода по имени Поль Нев заболел и написал домой:

«Мистер Стэнли заботился обо мне в эти тяжёлые дни... но это была та забота, какую кузнец проявляет к починке орудия, крайне необходимого и сломанного от слишком грубого использования... со стиснутыми от ярости зубами он снова и снова ударяет по нему на наковальне, размышляя, придётся ли выбросить его или он всё же сможет использовать его, как прежде».

Нев скончался несколько недель спустя.

Сам Стэнли, возможно, не возражал бы против сравнения с кузнецом. «Каждого приветливого аборигена, которого я встречаю... — писал он, — я рассматриваю... примерно так же, как земледелец смотрит на своего сильнорукого сына: он — будущий рекрут в ряды солдат-рабочих». Именно в этот период, когда он гнал своих людей особенно нещадно, африканцы, работавшие на него, стали называть Стэнли Була Матади или Була Матари — «Крушитель камней». Сам Стэнли предпочитал более величавый перевод — «Разрушитель скал» — и утверждал, что прозвище ему дали тогда, когда он учил изумлённых африканцев пользоваться кувалдой и когда они увидели, как огромные валуны взрывались динамитом во время строительства им тропы через Хрустальные горы.

В рассказе Стэнли о своих трудах он насмешливо отзывался об африканцах, которые, по определению, ленивы, и о белых, которые «слабоумны». Он проповедовал «евангелие предприимчивости», заявляя, что «европейский посредник, чей дом находится в Европе, но чьё сердце — в Африке, — это именно тот человек, который нужен... Они — миссионеры торговли, и нигде они не пригодны так хорошо, как в бассейне Конго, где так много праздных рук». И нигде он не высказывался так страстно, как там, где его инстинкт наживы пересекался с викторианской чопорностью. Избавить «раздетых и чрезмерно татуированных» африканцев от их

«бесстыдной наготы» и облачить их в европейскую одежду было его постоянной навязчивой идеей:

«Я предвидел блестящее будущее Африки, если бы каким-либо чудом удачи я смог убедить тёмные миллионы внутренних областей сбросить свои ткани из травы и облачиться... во второсортные костюмы... Посмотрите, какой готовый рынок здесь открывается для старой одежды! Одежды, сброшенные военными героями Европы, клубными лакеями, ливрейными слугами современных фараонов, фраки юристов, торговцев или Ротшильда; или, возможно, строгий наряд моих издателей — всё это могло бы найти себе носителей среди людей ранга конголезского вождя».

Когда Стэнли ходил туда и обратно пешком по пересечённой, влажной местности, руководя строительством, он тщательно следил за своим внешним видом — ежедневно брился и наносил чёрный крем на усы. Во время этого пребывания, как и во всё своё время в Африке, его крепкое и компактное телосложение выдерживало болезни, которые сводили в могилу многих европейских посетителей. Несколько раз его одолевала горячка, и дважды он был близок к смерти. Один приступ малярии, как он писал, снизил его вес до ста фунтов, и он стал слишком слабым, чтобы говорить или поднимать руки. В течение двух недель он лежал в своей палатке, будучи уверенным, что конец близок, затем вызвал своих европейских офицеров в пробковых шлемах и африканских рабочих, чтобы дать им последние распоряжения, попрощаться и сделать — по его словам — одно последнее признание в верности: «Скажите королю... что мне жаль, что я не смог довести до конца миссию, которую он мне поручил».

Он выздоровел, но спустя несколько месяцев снова

заболел и, доставленный вниз по реке, был вынесен на берег в Леопольдвилле без сознания. В 1882 году, едва способный ходить, он отправился обратно в Европу для восстановления, плывя на медленном португальском пароходе. На этом судне, как он негодовал, «неотёсанным» пассажирам второго класса позволили выходить на палубу первого класса, где они «плевали, курили и разваливались в самых социалистических манерах». Ещё хуже оказалось нашествие пассажиров третьего класса — «дам и десятка полуголых белых детей».

Наконец он был избавлен от этих унижений с прибытием судна в Европу. Врачи предупредили Стэнли, что возвращение в Конго может оказаться для него смертельным, но Леопольд настаивал: ещё многое предстояло сделать. Король хотел не только обеспечить себе колонию; он также стремился на несколько лет убрать исследователя с дороги, потому что Стэнли, всегда непредсказуемый на публике, продолжал открыто говорить о своих надеждах на британское Конго. Леопольд включил своё королевское обаяние. «Неужели, мистер Стэнли, — сказал он, — вы можете думать о том, чтобы покинуть меня именно тогда, когда я нуждаюсь в вас больше всего?» Одновременно борясь с мучительным рецидивом болезни и рассылая приказы о новом оборудовании и припасах, Стэнли вернулся в Конго всего через два месяца.

Когда великая награда была уже почти в его руках, Леопольд хотел получить как можно больше земли в Конго — и хотел её немедленно. Его инструкции и письма Стэнли на протяжении всех этих лет пульсировали жадой территориальных захватов.

«Я пользуюсь безопасной возможностью, чтобы отправить вам несколько строк на моём плохом английском... Настоятельно необходимо, чтобы вы приобрели... столько земли, сколько

сможете получить, и чтобы вы как можно скорее, не теряя ни минуты, постепенно подчинили сюзеренитету всех вождей от устья Конго до водопадов Стэнли... Если вы дадите мне знать, что собираетесь немедленно исполнить эти инструкции, я пришлю вам больше людей и больше материалов. Возможно, китайских кули».

Хотя он благочестиво уверял британского министра в Брюсселе, что его предприятие в Африке «не имеет коммерческого характера; оно не занимается торговлей», Леопольд уже писал Стэнли: «Я желаю, чтобы вы закупили всю слоновую кость, какую можно найти на Конго, и сообщили полковнику Штраху, какие товары он должен выслать вам для её оплаты и когда. Я также рекомендую вам установить барьеры и сборы на тех участках дороги, которые вы открыли. Это справедливо и соответствует обычаю каждой страны».

Леопольд и Стэнли знали, что другие европейцы начинают рыскать по бассейну. Их главной заботой был французский исследователь и морской офицер граф Пьер Саворньян де Бразза, который высадился на побережье к северу от реки Конго и направился вглубь страны. Однажды, когда Стэнли всё ещё прокладывал свою тропу вокруг порогов, он был ошеломлён, увидев у своей палатки учтивого француза в белом шлеме и синем морском мундире. Ещё больший шок ждал его у Стэнли-Пула, где он обнаружил, что де Бразза подписал договор с вождём, уступавшим Франции участок северного побережья. Де Бразза оставил там сержанта командовать аванпостом, над которым развевался французский флаг.

Стэнли был человеком, не терпевшим соперников, и в последующие несколько лет он и де Бразза вели громкую вражду.

Стэнли утверждал, что договор французского исследователя был основан на обмане; его соперник называл Стэнли воином, который не был другом африканцев. Парижская пресса была в восторге. Пока Леопольд вместе со Стэнли строил планы, как перехитрить де Бразза, за спиной у Стэнли король пригласил француза в Брюссель, пожаловал ему Орден Леопольда и безуспешно пытался нанять его.

Передвижения Стэнли и де Браззы начали вызывать интерес и в других местах. Дряхлая Португалия возродила свои старые притязания на земли вокруг устья реки Конго. Британия, обеспокоенная французским интересом к Конго, поддержала португальцев. Леопольд чувствовал, что времени на промедление у него нет.

Стэнли, находясь под давлением, ещё сильнее загонял своих людей. Он взрывался на белых подчинённых, которые слишком много пили или позволяли сорнякам разрастаться вокруг их речных станций. «Эти люди доставили мне больше хлопот, чем все африканские племена вместе взятые. Они внушили мне такое отвращение, что я предпочёл бы быть сапожным чистильщиком всю свою жизнь, чем нянькой для существ, не имеющих... права называться мужчинами». Несмотря на собственную краткую и бесславную карьеру по разные стороны Американской гражданской войны, в душе Стэнли был военным человеком. Он любил порядок и дисциплину и был устрашающим, но эффективным командиром. К этому времени он собрал мощную частную армию, вооружённую тысячей скорострельных винтовок, дюжиной малых пушек Круппа и четырьмя пулемётами. Среди его занзибарских солдат бытовала поговорка на суахили: *Bunduki sultani ya bara bara* («Ружьё — султан внутренних земель»).

Тем временем Леопольд нанял оксфордского учёного сэра Треверса Твисса, чтобы тот подготовил авторитетное юридическое заключение, поддерживающее право частных компаний действовать так, словно они являются суверенными государствами, при заключении договоров с местными вождями. Короля возмутило, что Стэнли считал, будто африканские вожди должны сохранять суверенитет над своими землями, и он быстро положил конец этой кажущейся снисходительности. «Договоры должны быть как можно короче, — приказал Леопольд, — и в паре статей должны даровать нам всё».

Так и произошло. К тому времени, когда Стэнли и другие, работавшие на короля, закончили своё дело, голубой флаг с золотой звездой развевался над деревнями и территориями, как утверждал Стэнли, более чем 450 вождей бассейна Конго. Тексты договоров различались, но многие из них предоставляли королю полную торговую монополию, в то время как он успокаивал европейских и американских скептиков, настаивая, что открывает Африку для свободной торговли. Ещё важнее было то, что вожди передавали свои земли Леопольду, и делали это практически за бесценок. В Исангиле, рядом с большими порогами, Стэнли записал, что смог купить землю для станции, заплатив нескольким вождям «щедрым набором хорошей одежды, ливрейными мундирами и мишурно-шитыми униформами, богатым ассортиментом разных ходовых товаров... не забыв пару бутылок джина». Завоеватели Африки, подобно завоевателям американского Запада, обнаружили, что алкоголь столь же эффективен, как и пулёмёт.

Само слово «договор» является эвфемизмом, ведь многие вожди не имели ни малейшего представления о том, что они подписывали. Немногие когда-либо видели письменное

слово, и теперь их просили ставить крестики на документах на иностранном языке и в юридическом жаргоне. Идея договора о дружбе между двумя кланами или деревнями была им знакома; идея же передать свою землю кому-то по ту сторону океана была немыслима. Понимали ли, например, вожди Нгомби и Мафела, на что они согласились 1 апреля 1884 года? В обмен на «один кусок ткани в месяц каждому из нижеподписавшихся вождей, кроме подарка тканью сразу», они обещали «добровольно и по собственной воле, за себя, своих наследников и потомков навсегда... передать названной Ассоциации суверенитет и все суверенные и управляющие права на все свои территории... и помогать трудом или иным образом любым работам, улучшениям или экспедициям, которые названная Ассоциация в любое время сочтёт необходимым провести на любой части этих территорий... Все дороги и водные пути, проходящие через эту страну, право взимать пошлины на них, а также все охотничьи угодья, рыболовные, горнодобывающие и лесные права становятся абсолютной собственностью названной Ассоциации».

Трудом или иным образом. Лоскуты ткани Стэнли покупали не только землю, но и рабочую силу. Это была ещё более худшая сделка, чем та, которую индейцы заключили за Манхэттен.

Какие общества существовали на этой земле, которую, к удивлению большинства её жителей, Стэнли усердно размечал для короля бельгийцев? Однозначного ответа нет, ведь если бы будущие границы Конго наложить на карту Европы, они простирались бы от Цюриха до Москвы и до центральной Турции. По размеру это было как вся территория Соединённых Штатов к

востоку от Миссисипи. Хотя в основном это были тропические леса и саванна, сюда также входили вулканические холмы и горы, покрытые снегом и ледниками, некоторые вершины которых поднимались выше Альп.

Народы этой обширной территории были столь же разнообразны, как и сама земля. Здесь жили как граждане крупных, организационно развитых королевств, так и пигмеи Итурийского тропического леса, обитавшие небольшими группами без вождей и без какой-либо формальной структуры управления. Королевства с крупными городами в качестве столиц, как правило, находились в саванне, где дальние путешествия были проще. В тропических лесах, где тропы приходилось прокладывать сквозь густую, быстро разрастающуюся растительность, сообщества обычно были куда меньшими. Лесные жители порой были полукочевниками: если, например, группа пигмеев убивала слона, это место становилось временным поселением на одну-две недели пиров, так как проще было перенести деревню, чем мёртвого слона.

Хотя некоторые народы Конго, например пигмеи, были удивительно миролюбивы, было бы ошибкой рассматривать большинство из них как образцы первобытной невинности. Многие практиковали рабство, а некоторые — ритуальный каннибализм, и они были столь же склонны вести войны с другими кланами или этническими группами, как и люди в любой другой части мира. Традиционная война в этом регионе Африки, где отрезанная голова или рука иногда служила доказательством убитого врага, была столь же жестокой, как и любая другая. В далёком северном Конго некоторых женщин калечили, как это, увы, происходит и сегодня, посредством насильственной клитородэктомии — практики, не менее варварской от того, что она считалась обрядом посвящения.

Как и многие коренные народы, жители бассейна Конго научились жить в гармонии со своей окружающей средой. Некоторые группы практиковали, по сути, контроль рождаемости: например, пары должны были воздерживаться от секса перед тем, как мужчины уходили на охоту, или на протяжении всего периода грудного вскармливания ребёнка женщиной. Вещества, содержащиеся в определённых листьях и коре деревьев, могли вызывать выкидыши или обладали противозачаточными свойствами. Все эти способы контроля численности населения, кстати, поразительно напоминали те, что развились в другом великом тропическом лесу по ту сторону океана — в бассейне Амазонки.

Наиболее поразительной чертой традиционных обществ Конго было их удивительное искусство: корзины, циновки, керамика, изделия из меди и железа и, прежде всего, резьба по дереву. Европейцам потребовалось ещё два десятилетия, прежде чем они по-настоящему заметили это искусство. Его открытие оказало сильное влияние на Брака, Матисса и Пикассо, который впоследствии хранил африканские произведения искусства в своей мастерской до самой смерти. Кубизм был новым лишь для европейцев, ведь он частично был вдохновлён конкретными образцами африканского искусства, в том числе произведениями народов пенде и сонге, живущих в бассейне реки Касаи, одного из главных притоков Конго.

Легко понять ту неповторимую яркость, которая так поразила Пикассо и его коллег при их первой встрече с этим искусством на выставке в Париже в 1907 году. В этих центральноафриканских скульптурах одни части тела преувеличены, другие уменьшены; глаза выступают, щеки западают, рты исчезают, торсы становятся

удлинёнными; глазницы расширяются, покрывая почти всё лицо; человеческое лицо и фигура расчленяются и воссоздаются заново в новых формах и пропорциях, которые ранее были недоступны традиционному европейскому реализму.

Это искусство возникло из культур, которые, среди прочего, имели более свободное, чем ислам или христианство, понимание границ между нашим миром и потусторонним, а также между миром людей и миром животных. У народа болиа в Конго, например, короля избирал совет старейшин; предки, которые являлись ему во сне; и, наконец, дикие звери, выражавшие своё согласие рычанием в ночь, когда кандидата на трон оставляли в определённом месте тропического леса. Возможно, именно эта текучесть границ дарила художникам Центральной Африки ту свободу, которую в Европе ещё не открыли.

В июне 1884 года, завершив работу на Леопольда и увозя с собой кипу договоров, Стэнли отплыл домой в Европу. Он немного ворчал по поводу жадности своего работодателя; король, жаловался он, обладал «огромной прожорливостью — способен проглотить миллион квадратных миль, но горло у него не примет даже селёдки». Но именно Стэнли сделал возможным это огромное поглощение.

Когда Стэнли обосновался в Англии, чтобы написать свой привычный двухтомный отчёт объёмом в тысячу страниц о путешествиях, он обнаружил вокруг себя Европу, пробудившуюся к Африке. Началась «Гонка за Африку». Договор, который де Бразза заключил у Стэнли-Пул, вскоре приведёт к появлению французской колонии на северо-западном берегу реки Конго. В

Германии проницательный канцлер Отто фон Бисмарк отметил растущий по всей Европе интерес к колониям. Британцы, имевшие наиболее прочные позиции на континенте, начали тревожиться о конкурентах.

Леопольд был уверен, что ни одна из великих держав не захочет признать «колонию одного человека», которую для него закрепил Стэнли. Однако дипломатическое признание отчасти является вопросом прецедента. Как только одна крупная страна признаёт существование другой, остальные государства, как правило, следуют её примеру. Если ни одно из ведущих европейских государств не сделает этого решающего первого шага, решил Леопольд, он будет искать признания в другом месте. Незамеченный на своём континенте, король уже тихо начал устраивать ослепительный обходной манёвр, полностью минуя Европу.

ОТ ФЛОРИДЫ ДО БЕРЛИНА

Необычно поздний весенний снег покрыл густым слоем лужайку у Белого дома, когда президент Честер А. Артур, надев высокий шелковый цилиндр, сел в предоставленный ему Пенсильванской железной дорогой личный вагон и направился на юг в отпуск. Высокое давление и другие недуги утомили его, сказал он своему персоналу, и он хотел как следует отдохнуть во Флориде. Вместе с президентом в поездку из Вашингтона, 5 апреля 1883 года, отправились военно-морской министр, камердинер Артура, его личный секретарь и французский шеф-повар, которого журналист в поезде описал как «господина с хорошо развитой талией... очевидно, любителя хорошо поесть». В поезде также был друг президента, а позже к путешествию присоединились несколько кузенов его покойной жены, когда состав направился на юг. После Петербурга, штат Виргиния, когда личный вагон оказался на путях новой железной дороги, седобородый кондуктор вызвал всеобщее веселье, войдя в вагон, пересчитав пассажиров и попытавшись собрать 47,50 доллара за проезд. На следующей остановке его уже ждала телеграмма с распоряжением позволить президентскому кортежу ехать бесплатно.

В Джэксонвилле, штат Флорида, президента и его свиту встретили двадцатью одним пушечным салютом. Затем они сели на колесный пароход и отправились вверх по извилистой реке Сент-Джонс, берега которой были украшены кипарисами и населены стаями цапель и журавлей. По пути к общительному президенту присоединились новые друзья и родственники, а с

берегов взмывали в небо фейерверки. На следующий день пароход пришвартовался в месте примерно в тридцати пяти милях от современного Диснейуорлда, где участники поездки пересели в кареты, чтобы посетить изящный особняк апельсиновой плантации Белэр. Они попробовали разные сорта лучших апельсинов с этой плантации, а военно-морской министр даже залез на дерево, чтобы сорвать плоды, которые особенно привлекли его внимание. Вечером президентская свита смотрела музыкально-танцевальное представление с игрой на банджо в исполнении шестерых местных чернокожих мальчиков.

Честер А. Артур, один из самых забывчивых американских президентов, был дружелюбным человеком, всего несколькими годами ранее занимавшим свою самую высокую должность в качестве сборщика таможенных сборов в порту Нью-Йорка - должность, которую он был вынужден покинуть из-за обвинений в коррупции и бесхозяйственности. Вскоре после этого связи Артура с влиятельной республиканской партией штата Нью-Йорк позволили ему выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента. К почти всеобщему ужасу, он вошел в Белый дом, когда президент Джеймс А. Гарфилд погиб от пули наемного убийцы. Хороший рассказчик и светский человек, любитель виски, сигар и дорогой одежды, щеголеватый Артур с бакенбардами, пожалуй, больше всего запомнился словами: «Я могу быть президентом Соединённых Штатов, но моя личная жизнь никого, чёрт побери, не касается». Однако в этой поездке во Флориду его личная жизнь весьма удачно вписалась в дела другого человека. Владелец апельсиновой плантации Белэр был генерал Генри Шелтон Сэнфорд, тот самый человек, который помог Леопольду завербовать Стэнли.

Сэнфорд не счёл нужным покидать свой дом в Бельгии, чтобы встретить президента во Флориде. С самоуверенностью очень богатого человека он принимал гостей заочно. Он позаботился о том, чтобы президента и его свиту встретил его личный агент, и чтобы они получили лучшие номера в отеле «Сэнфорд Хаус», который стоял на берегу озера, окружённого пальмами, в городке Сэнфорд. Когда президент и его гости не ловили басса, форель или сомов, не охотились на аллигаторов или не исследовали окрестности на пароходe, они жили в «Сэнфорд Хаус», где провели большую часть недели. Нет никаких сведений о том, кто оплатил счёт за отель, но, скорее всего, как и в случае с железнодорожной поездкой на юг, это был не президент.

Ирония заключалась в том, что огромная апельсиновая плантация Сэнфорда, которой восхищались визитёры из Вашингтона, оказывалась столь же провальной затеей, как и другие его инвестиции. Несколько шведских контрактных рабочих сочли условия труда слишком тяжёлыми и попытались сбежать, спрятавшись на пароходe. Бойня, в которую вложился Сэнфорд, имела мощность в пятьдесят раз больше, чем мог потребить местный рынок, и разорилась. Пристань длиной 540 футов с амбаром на конце, которую он приказал построить, смыло наводнением. Управляющий одним из отелей в Сэнфорде скрылся, оставив ему долги. Надсмотрщики не поставили заборы, и бродивший скот объедал апельсиновые деревья. Но если во всём, к чему Сэнфорд прикасался как бизнесмен, он терпел крах, то в роли сообщника Леопольда он оказался по настоящему успешным деятелем.

Сэнфорд долгое время поддерживал Республиканскую партию президента Артура. В течение двух лет он переписывался с

Артуром и другими высокопоставленными чиновниками США о планах Леопольда в Конго. Теперь же, после поездки президента во Флориду и будучи уверенным, что Артур обратит внимание, он усилил свою настойчивость новыми письмами. Семью месяцами позже Леопольд отправил Сэнфорда через Атлантику, чтобы тот воспользовался своим удобным каналом к Белому дому. Человек, который когда-то был американским министром в Бельгии, теперь стал личным посланником бельгийского короля в Вашингтоне.

Сэнфорд привёз с собой в Вашингтон специальный код для телеграфирования новостей в Брюссель: «Констанс» означало «переговоры идут удовлетворительно; ожидается успех»; «Ахилл» относилось к Стэнли, «Евгения» — к Франции, «Алиса» — к Соединённым Штатам, «Жозеф» — к «суверенным правам», а «Эмиль» — к главной цели, президенту. «Бонёр» (счастье) означало «соглашение подписано сегодня». Соглашение, которое хотел Леопольд, должно было обеспечить полное дипломатическое признание Соединёнными Штатами его притязаний на Конго.

Сэнфорд также привёз президенту письмо от короля, которое он сам тщательно отредактировал и перевёл. «Целые территории, уступленные суверенными вождями, были нами преобразованы в независимые государства», — заявил Леопольд, что сильно удивило бы Стэнли, который в то время завершал свою работу на реке Конго. От Артура Леопольд просил лишь «официального заявления о том, что правительство Соединённых Штатов ... [будет] рассматривать как дружественный флаг ... голубое знамя с золотой звездой, которое ныне реет над 17 станциями, многими территориями, 7 пароходами, занятыми цивилизаторской миссией Ассоциации, и над населением в несколько миллионов человек».

29 ноября 1883 года, всего через два дня после того, как

его корабль прибыл в Нью-Йорк, и он сел на ночной поезд в Вашингтон, Сэнфорд был принят президентом Артуром в Белом доме. Он уверял президента и всех, кого встречал в Вашингтоне, что великое цивилизаторское дело Леопольда очень похоже на благородную работу, которую сами Соединённые Штаты проделали в Либерии, куда начиная с 1820 года переселялись освобождённые американские рабы, и где вскоре возникло независимое африканское государство. Это был хитроумный пример, поскольку переселением бывших рабов в Либерию занималось не правительство США, а частное общество — подобное Международной ассоциации Конго Леопольда.

Как и все актёры в высокопрофессиональной труппе Леопольда, Сэнфорд пользовался подходящими реквизитами. Он утверждал, например, что договоры Леопольда с вождями Конго были похожи на те, которые пуританский священник Роджер Уильямс, прославившийся своей защитой прав индейцев, заключал в Род-Айленде в XVII веке — и у Сэнфорда как раз оказались копии этих договоров с собой. Более того, в своём письме к президенту Артуру Леопольд обещал, что граждане США смогут свободно приобретать землю в Конго, а американские товары будут освобождены там от таможенных пошлин. В подтверждение этих обещаний Сэнфорд имел при себе образец одного из договоров Леопольда с вождём Конго. Однако этот образец был изменён в Брюсселе: из него убрали все упоминания о торговой монополии, переданной Леопольду. Эта правка ввела в заблуждение не только Артура, но и самого Сэнфорда, убеждённого сторонника свободной торговли, который хотел, чтобы Конго было открыто для американских бизнесменов вроде него самого.

В Вашингтоне Сэнфорд утверждал, что «цивилизаторское

влияние» Леопольда противостоит практике ужасных «арабских» работорговцев. А разве эти «независимые государства» под щедрым покровительством ассоциации не представляли собой некое подобие Соединённых Штатов Конго? К тому же, как писал Сэнфорд государственному секретарю Фредерику Фрелингхайзену (Стэнли по-прежнему настойчиво выдавал себя за уроженца Соединённых Штатов), Конго «было открыто американцем». Всего через неделю после приезда Сэнфорда в Вашингтон президент с радостью включил в своё ежегодное послание Конгрессу — лишь слегка переписанный — текст, который Сэнфорд подготовил для него о «возвышенной миссии» Леопольда в Конго.

«Богатая и густонаселённая долина Конго открывается благодаря деятельности общества, называемого Международной африканской ассоциацией, президентом которой является король Бельгии. Обширные участки территории были уступлены ассоциации местными вождями, проложены дороги, на реке появились пароходы, а зародыши государств были основаны под одним флагом, который гарантирует свободу торговли и запрещает работорговлю. Цели общества носят филантропический характер. Оно не стремится к постоянному политическому контролю, но ищет нейтралитета для этой долины».

Леопольд был в восторге, услышав собственную пропаганду так легко исходящей из уст президента. Его помощник, полковник Максимилиан Штро, отправил Сэнфорду телеграмму: «В ВОСТОРГЕ ОТ ЭМИЛЯ».

Затем Сэнфорд взялся за Конгресс. Он снял дом на Джи-стрит, 1925, всего в нескольких кварталах от Белого дома, телеграфировал жене и повару с просьбой приехать из Бельгии и начал угощать

сенаторов, конгрессменов и членов кабинета обедами и винами. Это был его звёздный час: приветливый характер, который делал его одновременно обаятельным весельчаком и плохим бизнесменом, оказался идеальным для лоббиста. У него был превосходный винный погреб, и его называли «гастрономическим дипломатом», ведущим «гастрономическую кампанию». «Какой восхитительный ужин был у вас дома и в такой королевской обстановке!» — написал ему один из гостей. Государственный секретарь Фрелингхайзен был частым посетителем; президент Артур, члены Конгресса и Кабинета получали от него ящики флоридских апельсинов.

Пока Сэнфорд заручался поддержкой Конгресса в пользу претензий Леопольда на Конго, он обнаружил неожиданного союзника. Сенатор Джон Тайлер Морган из Алабамы, бывший бригадный генерал армии Конфедерации, занимал пост председателя Комитета Сената по международным делам. Подобно большинству южных белых политиков той эпохи, он был напуган призраком миллионов освобождённых рабов и их потомков, которые, по его мнению, лелеяли угрожающие мечты о равенстве. Этот суровый на вид сенатор с густыми усами, невысокого роста, но громогласный и напыщенный, мрачно гремел о «навязанном правлении негров», когда чернокожие якобы «внедрялись в белые семьи», где могли бы навлечь «судьбу хуже смерти на невинную женщину». В течение многих лет Морган тревожился о «проблеме» растущего чернокожего населения. Его решение, одобренное многими, было простым: отправить их обратно в Африку!

Всегда настаивая на «массовом исходе» южных чернокожих, Морган в разные периоды своей долгой карьеры также предлагал

отправлять их на Гавайи, на Кубу и на Филиппины — которые, возможно из-за того, что эти острова находились так далеко, он объявлял «родным домом негров». Но Африка всегда оставалась его первым выбором. Для Моргана новое государство Леопольда казалось посланным свыше. Разве этой территории не понадобится рабочая сила для освоения? И разве конголезцы не будут рады торговать с Соединёнными Штатами, если встреченные ими американцы будут того же цвета кожи? И разве Конго не сможет стать рынком для излишков хлопка Юга? Африка, как он позднее сказал на заседании Сената, «была приготовлена для негра столь же несомненно, как райский сад был приготовлен для Адама и Евы. . . . В бассейне Конго мы находим лучший тип негритянской расы, и американский негр . . . может найти здесь поле для приложения своих усилий».

Сэнфорд был совершенно согласен. Хотя он родился в Коннектикуте, после того как вложился на Юге, он быстро воспринял распространённые среди белых бизнесменов там настроения «отправить их обратно в Африку». Конго, как он говорил, могло бы служить «выходом... для инициативы и амбиций наших цветных людей в более подходящих сферах, чем политика». До конца своей жизни он продвигал эту новую «Ханаанскую землю для наших современных израильтян», которая могла бы стать «почвой, способной отвести собирающееся электричество той чёрной тучи, что нависает над южными штатами». Сэнфорд и Морган прекрасно сошлись, и Морган также начал получать ящики флоридских апельсинов.

В начале 1884 года Морган внёс в Сенат резолюцию в поддержку претензий Леопольда на Конго, предварительно отправив черновик Сэнфорду. Как и любой лоббист, получивший

возможность, Сэнфорд решил расширить документ. К упоминанию Морганом земель, «осушаемых рекой Конго», он добавил слова «её притоками и прилегающими реками» — формулировку, которую можно было трактовать как охватывающую всю Центральную Африку. Сенат смягчил этот пункт и вскоре принял изменённую версию резолюции Моргана. Также было выпущено тысяча копий объёмного доклада о Конго под именем Моргана, написанного главным образом Сэнфордом. «Можно с уверенностью утверждать, — говорилось в докладе, — что ни один варварский народ никогда столь охотно не принял заботу благотворного предприятия, как племена Конго, и никогда не предпринималось более честной и практической попытки... обеспечить их благополучие.»

Зная, насколько внимательно республиканцы президента Артура прислушивались к бизнесу, Сэнфорд добился того, чтобы Нью-Йоркская торговая палата приняла резолюцию в поддержку признания США ассоциации Леопольда. В крупных американских газетах начали появляться благожелательные публикации о филантропической деятельности короля, вызванные, по обычаю того времени, тайными выплатами со стороны Сэнфорда. Его многоуровневая кампания, вероятно, стала самой изощрённой лоббистской акцией в Вашингтоне в пользу иностранного правителя в XIX веке, и 22 апреля 1884 года она принесла плоды. Государственный секретарь объявил, что Соединённые Штаты Америки признают притязания короля Леопольда II на Конго. США стали первой страной, сделавшей это.

Леопольд знал, что обязан этим крупным успехом Сэнфорду, и понимал также, что для «Генерала» важнее денег были королевские похвалы. Он пригласил на завтрак жену Сэнфорда, Гертруду, которая вернулась в Бельгию. «Я не могу даже начать

описывать тебе, — писала она затем мужу, — сколько лестных слов сказал о тебе король... Дорогой мой, ничего более лестного для тебя и более трогательного для меня, чем то, какими были король и королева, не могло быть».

Во время своей искусной лоббистской кампании в Вашингтоне Сэнфорд распространял документы, в которых полностью путались названия Международной ассоциации Конго, полностью контролируемой Леопольдом, и Международной африканской ассоциации, к тому времени уже прекратившей существование, но всё ещё смутно воспринимавшейся как филантропическое общество знаменитых исследователей, кронпринцев и великих герцогов. Все оставались приятно озадаченными. В своём официальном заявлении о признании государственный секретарь Фрелингдайзен умудрился употребить оба названия в одном и том же предложении.

«Правительство Соединённых Штатов заявляет о своей симпатии и поддержке гуманным и благотворительным целям Международной ассоциации Конго, которая управляет делами созданных там Свободных государств, и распорядится, чтобы офицеры Соединённых Штатов — как на суше, так и на море — признавали флаг Международной африканской ассоциации флагом дружественного правительства».

Как и большинство подобных официальных документов, этот вскоре затерялся в бюрократических архивах. Но позднее он был преобразован весьма любопытным образом, который, похоже, никто не заметил. Когда это самое заявление было перепечатано год спустя в ставшей бестселлером книге Стэнли Конго и основание его Свободного государства: рассказ о труде и исследованиях, переведённой на многие языки и прочитанной по

всему миру, его формулировка уже отличалась. Главное изменение заключалось в том, что оно упоминало исключительно полностью принадлежащую Леопольду Международную ассоциацию Конго. Редактором, внесшим эту правку, скорее всего, был сам король, который тщательно правил рукопись Стэнли, главу за главой. Задолго до Сталина, также редактировавшего чужие тексты собственноручно, Леопольд прекрасно понимал пользу переписывания истории.

“Признание Соединенных Штатов положило начало новой жизни Ассоциации”, - писал Стэнли, и он был прав. Тем временем, когда Сэнфорд готовился с триумфом вернуться в Бельгию, Леопольд заключил аналогичную сделку во Франции. Как и в Вашингтоне, у короля был свой человек в Париже, торговец произведениями искусства с хорошими связями по имени Артур Стивенс. Он вел переговоры непосредственно с премьер-министром Жюлем Ферри, в то время как Леопольд выплачивал крупное ежемесячное вознаграждение журналисту влиятельной газеты *Le Temps*, чтобы обеспечить поток сочувственных статей о его деятельности в Конго.

Французы не чувствовали угрозы ни от крошечной Бельгии, ни от огромных притязаний Леопольда. Их главным страхом было то, что когда у короля закончатся деньги — в чём они не сомневались — на его дорогостоящий план строительства железной дороги в обход порогов, он может продать всю территорию их основному колониальному сопернику, Британии. В конце концов, разве Стэнли не настаивал на Британском Конго?

Леопольд рассчитал, что импульсивные англофильские

выпады Стэнли теперь могли фактически ему помогать. «По моему суждению, — доверительно сказал король полковнику Штраху несколькими месяцами ранее, после одного такого залпа со стороны Стэнли, — нам не следует пытаться что-либо исправлять. Нет вреда в том, если Париж будет опасаться, что в Конго может быть установлен британский протекторат». Чтобы развеять французские опасения, Леопольд предложил средство: если Франция признает его притязания, он предоставит стране *droit de préférence* на Конго — то, что современные юристы по недвижимости называют правом первоочередного выкупа. Французы, ободрённые, быстро согласились. Уверенные, что задуманная Леопольдом железная дорога разорит его и что затем ему придётся продать им эту землю, они сочли, что заключают отличную сделку.

Американцы были настолько очарованы обходительностью Сэнфорда, что даже не удосужились уточнить точные границы далёкой территории, которую они фактически признавали владением Леопольда. Франция же, напротив, была готова обозначить эти границы на карте, и они охватывали большую часть бассейна реки Конго.

Леопольд использовал выражение «независимые государства» в письме к президенту Артуру. Но в своих заявлениях в последующие месяцы оно превратилось в «государство». Что касается ассоциации, то она, как писал бельгийский журналист в 1884 году, «была чисто временным органом и исчезнет, когда её работа будет завершена», объясняя тем самым ход мыслей короля. Благодаря такой ловкости рук сущность, которую в течение следующего года признавало всё большее число стран, постепенно изменилась из федерации государств под

благожелательной защитой благотворительного общества в одну колонию, управляемую одним человеком.

Леопольд обнаружил, что самым твердым орешком для него был канцлер Германии Бисмарк. С самого начала жадность короля сыграла с ним злую шутку. Помимо бассейна Конго он написал Бисмарку, что претендует на неопределённые территории, «оставленные Египтом, где продолжает процветать работоторговля. Позволить этим [провинциям] войти в состав нового государства и управлять ими было бы лучшим способом докопаться до сути проблемы и искоренить ее». Бисмарк, не будучи дураком, нацарапал комментарий на полях рядом с этим отрывком: «Мошенничество». Рядом с абзацем о конфедерации свободных государств он написал «Фантазии». Когда Леопольд написал, что точные границы нового государства или государств будут определены позже, Бисмарк сказал своему помощнику, «Его величество демонстрирует претенциозность и наивный эгоизм итальянца, который считает, что его обаяние и приятная внешность позволят ему выйти сухим из воды».

В конце концов Леопольд перехитрил даже «Железного канцлера», снова действуя через идеального посредника. Герсон Блейхрёдер, банкир Бисмарка, финансист Сен-Готардского тоннеля под Альпами и многих других проектов, имел значительное закулисное влияние в Берлине. Король встретил его несколькими годами ранее на модном бельгийском курорте в Остенде и понял, что сможет использовать этого человека. Блейхрёдер тихо купил благосклонность для Леопольда, передав королевский взнос в 40 000 франков в Африканское общество Берлина. Он регулярно сообщал в Брюссель о последних придворных событиях и в итоге склонил своего друга канцлера к признанию притязаний Леопольда

на Конго. В обмен Блейхрёдер получил часть банковских дел от советников Леопольда и возможность инвестировать в Конго лично. Женщина-пианистка, которую считали его романтическим увлечением, была приглашена дать концерт при бельгийском дворе, где Леопольд вручил ей медаль.

Переговоры короля с Бисмарком достигли кульминации вскоре после того, как Стэнли вернулся в Европу летом 1884 года. В течение пяти дней путешественник был гостем Леопольда, отдыхавшего тогда в Королевском шале в Остенде — обширной прибрежной вилле, украшенной крепостными башнями. Король пригласил специального повара, чтобы каждое утро готовить для Стэнли традиционный английский завтрак, и оба мужчины беседовали допоздна. Когда Стэнли уже собирался уезжать, пришло сообщение от Бисмарка с вопросами о границах нового конголезского государства, и Стэнли остался ещё на несколько часов, чтобы нанести их на большую карту на стене в кабинете короля. Бисмарк позволил убедить себя в том, что лучше, если Конго достанется королю слабенькой Бельгии и будет открыто для немецких торговцев, чем перейдёт к протекционистской Франции или Португалии либо к могущественной Британии. В обмен на гарантии свободы торговли в Конго (как и все остальные, Бисмарк не знал полного текста договоров Леопольда с вождями), он согласился признать новое государство.

В Европе жажда африканских земель стала почти осязаемой. Существовали некоторые противоречивые претензии, которые предстояло урегулировать, и явно требовались определённые правила для дальнейшего раздела африканского пирога. Бисмарк

предложил провести в Берлине дипломатическую конференцию для обсуждения этих вопросов. Для Леопольда же конференция стала ещё одной возможностью укрепить свою хватку над Конго.

15 ноября 1884 года представители европейских держав собрались за большим столом в форме подковы, выходящим окнами в сад официальной резиденции Бисмарка из жёлтого кирпича на Вильгельмштрассе. Министры и уполномоченные в парадных нарядах, занявшие места под сводчатым потолком зала и сверкающей люстрой, включали в себя графов, баронов, полковников и визира Османской империи. Бисмарк, облачённый в алый придворный костюм, приветствовал их по-французски — дипломатической лингва-франка того времени, — и, усевшись перед большой картой Африки, делегаты приступили к работе.

Больше, чем кто-либо другой, именно Стэнли разжёл великую африканскую земельную лихорадку, но даже он чувствовал себя неловко из-за жадности, витавшей в воздухе. По его словам, это напомнило ему о том, как “мои чернокожие последователи во время наших путешествий бросались с блестящими ножами за добычей”. Берлинская конференция стала высшим проявлением эпохи, когда новообретенный энтузиазм в отношении демократии имел четкие границы, а забитая дичь не имела права голоса. Даже Джон Стюарт Милль, великий философ человеческой свободы, написал в книге “О свободе”: «Деспотизм — это законный способ правления в борьбе с варварами, при условии, что целью является их улучшение». За столом переговоров в Берлине не было ни одного африканца.

Своё зарождающееся государство Леопольд уже обеспечил признанием со стороны Соединённых Штатов и Германии, а также заключил выгодное соглашение о праве первого

отказа с Францией, что ставило его в сильное положение. Его Международная ассоциация Конго не являлась государством — на самом деле делегаты конференции, казалось, были в замешательстве относительно того, чем она была, — поэтому официального представительства в Берлине у неё не было. Но Леопольду ничто не мешало быть в курсе происходящего на конференции. Во-первых, внимательно следил за событиями в германской столице его друг Блейхрёдер, устроивший для делегатов изысканный ужин. Кроме того, король имел связи как минимум с тремя национальными делегациями.

Во-первых, бельгийскими представителями были его доверенные подчинённые; один из них был назначен секретарём заседания. Во-вторых, Леопольд был необычайно хорошо осведомлён о конфиденциальных делах британского Форин-офиса, поскольку личный помощник министра иностранных дел задолжал крупную сумму другу короля — предпринимателю, который был одним из его первых соинвесторов в экспедицию Стэнли в Конго. Кроме того, юридическим советником британской делегации был сэр Трэверс Твисс, недавно консультировавший Леопольда по поводу его договоров с конголезскими вождями. Наконец, кто был назначен одним из двух американских делегатов на конференцию? Никто иной, как Генри Шелтон Сэнфорд, ежедневно посылавший Леопольду информативные донесения. А кто стал «техническим советником» американской делегации, оставаясь при этом на жалованье Леопольда? Генри Мортон Стэнли. Между заседаниями конференции Леопольд отправлял Сэнфорда в Париж, а Стэнли — в Лондон с дипломатическими миссиями по лоббированию.

Хотя на Берлинской конференции его роль сводилась в

основном к символическому представительству амбиций Леопольда в Конго, Стэнли был окружён всеобщим восхищением и прекрасно провёл время. «Этим вечером я имел честь обедать с принцем Бисмарком и его семьёй, — записал он в своём дневнике. — Принц — великий человек, добрый отец и исключительно прост в семейном кругу. ... Принц задал много вопросов об Африке и доказал мне, что в целом он очень хорошо понимает положение на этом континенте». Бисмарк, приобретавший за Германию основы обширной африканской империи, был рад воспользоваться славой знаменитого путешественника, чтобы подогреть немецкий интерес к Африке. Он устроил для Стэнли череду банкетов и лекций в Кёльне, Франкфурте и Висбадене.

В заснеженном Берлине почти никто из участников конференции, кроме Стэнли, не видел Африку иначе как на рисунках пейзажей, украшавших меню банкетов у Бисмарка. Поэтому, когда возникали сомнения в том, чем объясняется грандиозность притязаний Леопольда, Стэнли мог говорить с авторитетом человека, который только что провёл пять лет в Конго ради короля. В начале конференции, как сообщил один дипломат, Стэнли подошёл к большой карте Африки «и сразу же завладел вниманием всех делегатов живым описанием особенностей бассейна Конго, а затем и [соседних] земель, которые необходимо было включить под тот же режим, чтобы обеспечить наибольшую свободу сообщения».

Телеграммы сновали туда и обратно между Берлином и Брюсселем, где Леопольд внимательно следил за каждым шагом. Вопреки распространённому мифу, Берлинская конференция не разделила Африку; добыча была слишком велика, и для её дележа потребовалось ещё множество договоров. Однако, урегулировав

ряд противоречивых притязаний, конференция (а также отдельный пакт, который король заключил с Францией) помогла Леопольду в одном важном отношении: король, Франция и Португалия получили земли у устья реки Конго, но Леопольд добился того, чего желал больше всего — порта Матади на нижнем участке реки и земли, необходимой для строительства железной дороги оттуда в обход порогов до Стэнли-Пула.

Для Леопольда ещё более важным была сеть двусторонних соглашений, которые он заключил с другими странами во время и после конференции, признававших его создаваемую колонию и определявших её границы. Разговаривая, например, с британцами, он намекал, что если не получит всю землю, на которую рассчитывал, то полностью покинет Африку — а это означало бы, согласно его соглашению о праве первоочередной покупки, что он продаст Конго Франции. Блеф сработал, и Британия уступила.

Европейцы всё ещё привыкли мыслить о богатстве Африки главным образом в терминах её побережья, и поэтому почти не возникало конфликтов при передаче Леопольду обширных территорий в глубине континента. Основной причиной того, что он смог заполучить столь много, было то, что другие страны считали: они лишь дают согласие на нечто вроде международной колонии — под эгидой короля бельгийцев, разумеется, но открытой для торговцев со всей Европы. Помимо формальных заявлений в пользу свободы навигации, урегулирования споров, христианских миссий и тому подобного, главным соглашением, вынесенным из Берлина, стало признание огромной полосы Центральной Африки, включая владения Леопольда в бассейне Конго, зоной свободной торговли.

Конференция завершилась в феврале 1885 года подписанием

соглашения и заключительным раундом речей. Никто не извлёк из неё больше выгоды, чем тот, кто там не присутствовал, — король Леопольд II. При упоминании его имени во время церемонии подписания аудитория встала и аплодировала. В своей заключительной речи перед делегатами канцлер Бисмарк сказал: «Новое государство Конго предназначено стать одним из важнейших исполнителей работы, которую мы намерены провести, и я выражаю свои наилучшие пожелания его скорому развитию и осуществлению благородных устремлений его славного создателя». Два месяца спустя, словно запоздавший восклицательный знак в конце речи Бисмарка, у устья реки Конго появился корабль ВМС США Lancaster и дал салют из двадцати одного орудия в честь голубого флага с золотой звездой.

Большинство бельгийцев уделяли мало внимания африканской дипломатической активности своего короля, но когда всё завершилось, они с удивлением поняли, что его новая колония больше Англии, Франции, Германии, Испании и Италии вместе взятых. Она занимала одну тринадцатую часть африканского континента и была более чем в семьдесят шесть раз больше самой Бельгии.

Чтобы подчеркнуть различие между двумя своими ролями, король бельгийцев сначала подумывал о том, чтобы называть себя «императором Конго»; он также подумывал о том, чтобы одеть верноподданных вождей в униформу по образцу знаменитых бифитеров в Лондонском Тауэре, одетых в красное. Затем он решил быть просто «королем-сувереном Конго». В последующие годы Леопольд несколько раз называл себя — более точно,

поскольку его главным интересом на территории было извлечение всех возможных богатств — «владельцем Конго». Его власть как короля-суверена колонии никоим образом не была разделена с бельгийским правительством, министры кабинета которого были удивлены не меньше других, когда, открыв газеты, обнаружили, что Конго приняло новый закон или подписало новый международный договор.

Хотя официально признанной Берлинской конференцией и различными правительствами структурой была Международная африканская ассоциация или Международная ассоциация Конго (или же, в случае растерянного Госдепартамента США, обе сразу), Леопольд решил ввести ещё одно изменение названия. Притворству о том, что в Конго действовала филантропическая «Ассоциация», было позволено исчезнуть. Единственным неизменным осталось голубое знамя с золотой звездой. Королевским указом 29 мая 1885 года король нарёк свою новую, находящуюся в частном управлении страну *État Indépendant du Congo* — Свободное государство Конго. Вскоре у него появился и национальный гимн — «К будущему». Наконец, в возрасте пятидесяти лет, Леопольд получил колонию, о которой так долго мечтал.

ПОД ФЛАГОМ ЯХТ-КЛУБА

В то время как его власть за рубежом росла, дома семейная жизнь Леопольда ухудшалась. Всё чаще он находил утешение в постелях различных любовниц, одну из которых бельгийцы быстро прозвали «Королевой Конго». В апреле 1885 года, всего через шесть недель после его дипломатического триумфа в Берлине, король оказался названным в британском суде среди клиентов фешенебельного «дома разврата», против которого велось дело по настоянию Лондонского комитета по пресечению континентальной торговли английскими девушками. По свидетельству бывшего слуги этого дома, Леопольд платил по 800 фунтов стерлингов в месяц за постоянный приток молодых женщин, некоторым, из которых было от десяти до пятнадцати лет, и которые гарантированно были девственницами. Парижская газета сообщала слухи, что Леопольд тайно пересек Ла-Манш на своей яхте и выплатил королевскую сумму хозяйке дома, чтобы его имя больше не упоминалось. Более вероятно, что столь быстрое закрытие дела объяснялось тем, что и принц Уэльский, как говорили, был одним из клиентов заведения. Министр внутренних дел Великобритании направил в суд специального наблюдателя — очевидно, это был завуалированный сигнал всем заинтересованным сторонам, что чем меньше сказано, тем лучше. Признав себя виновной, хозяйка дома отделалась удивительно лёгким штрафом.

Когда ей исполнилось семнадцать лет, Леопольд выдал свою старшую дочь Луизу замуж за гораздо более пожилого

австро-венгерского принца. После общегородских торжеств их брачная ночь в Лакене оказалась столь травматичной, что Луиза выбежала в сад замка в ночной рубашке, и её пришлось возвращать слуге, а мать прочла ей нотацию о супружеском долге. Спустя несколько лет она оказалась втянутой в клубок долгов и прелюбодейскую связь с кавалерийским офицером. После того как офицер сразился на дуэли с её мужем, австрийские власти посадили его в тюрьму и поставили Луизу перед выбором: вернуться к мужу или отправиться в психиатрическую лечебницу. Она выбрала лечебницу, и Леопольд больше никогда с ней не разговаривал. Опасаясь новых позоров, он настоял, чтобы за ней был установлен более строгий надзор. В конце концов кавалерийского офицера освободили из тюрьмы, и он эффектно вырвал Луизу из-под стражи, но вскоре умер. Остаток своей несчастной жизни Луиза покупала одежду с тем же навязчивым упорством, с каким её отец пытался «покупать страны», — это влечение поглощало её долю королевского состояния и даже больше. Наконец её доведённые до отчаяния кредиторы сумели арестовать и выставить на аукцион часть её гардероба: шестьдесят восемь вуалей, девяносто шляп, двадцать семь вечерних платьев, двадцать одну шёлковую или бархатную накидку и пятьдесят восемь зонтов и парасолей.

Леопольд не был лучшим отцом и для своей средней дочери Стефании. Когда ей было всего шестнадцать лет, он обручил её с чернобородым кронпринцем Рудольфом Австро-Венгрии, чтобы она однажды стала императрицей. Леопольд особенно завидовал Габсбургам, потому что они, в отличие от него, были мало связаны парламентами и конституциями. Однако, что стало зловещим предзнаменованием будущего, Рудольф, прибыв в Брюссель,

чтобы впервые встретиться со Стефанией, привёз с собой свою нынешнюю любовницу.

Главным утешением короля от домашних несчастий стала его новая колония. «Конго было единственной темой разговоров вокруг меня», — позднее вспоминала Луиза. И по сравнению с его домом дела в Конго у Леопольда шли гораздо более гладко. Так же как он сумел найти идеальный политический момент, чтобы приобрести свои новые владения, так и технологический момент оказался для него удачным, чтобы закрепить над ними власть. Готовясь развивать огромную колонию, он имел в своём распоряжении ряд инструментов, которых не было у строителей империй прежних времён. Эти инструменты оказались решающими, ведь вскоре они позволили нескольким тысячам белых людей, работавших на короля, подчинить себе около двадцати миллионов африканцев.

Прежде всего, было оружие. Примитивные дульнозарядные ружья, которые были наилучшим вооружением, доступным большинству конголезцев, мало чем превосходили мушкеты армии Джорджа Вашингтона. Начиная с конца 1860-х годов европейцы могли рассчитывать на нарезные казнозарядные винтовки, которые только что проявили свою смертоносную силу на полях сражений Гражданской войны в США. Эти винтовки стреляли гораздо дальше и точнее, и вместо рассыпного пороха, бесполезного под дождём, использовали быстро заряжаемые водонепроницаемые латунные патроны.

Затем последовал ещё более решающий шаг вперёд — магазинная винтовка, способная произвести дюжину и более выстрелов без перезарядки. Вскоре после этого появился пулемёт. Как написал поэт Илэр Беллок:

Что бы ни случилось, у нас есть пулемёт Максим,

А у них его нет.

Ещё одним инструментом, позволившим европейцам захватить практически всю тропическую Африку в два десятилетия после Берлинской конференции, стали медицинские знания. Исследователи середины XIX века объясняли малярию чем угодно — от «болотных испарений» до сна при лунном свете, — но как бы они её ни объясняли, они выяснили, что хинин является полезным средством защиты. На рубеже веков малярия и гематурия стали лучше изучены; исследователи также справились с жёлтой лихорадкой и другими болезнями, и ужасающая смертность европейцев в африканских тропиках начала снижаться.

Наконец, из-за необычной географии Конго один инструмент оказался для Леопольда ещё важнее, чем для других империалистов, — и мы уже видели его в действии: пароход. Африканцы Конго называли его «домом, который ходит по воде» или, по звуку, куту-куту. Пароход был орудием колонизации на протяжении всего XIX века: он служил и британцам на Ганге в Индии, и русским на Оби и Иртыше в Сибири. Конголезские пароходы включали как колёсные суда с боковыми колёсами, так и с кормовыми; все они имели тенты от тропического солнца. Обычно они были длинными и узкими, с малой осадкой, необходимой для прохождения бесчисленных песчаных отмелей на главной реке и её притоках. Иногда от тента свешивалась проволочная сетка, чтобы защитить капитана и рулевого от стрел.

К этому времени пар уже в значительной степени вытеснил паруса в открытом море, сделав длинное плавание из Европы вдоль побережья Африки куда более быстрым и близким к фиксированному расписанию. Эти пароходы доставили в Африку новую волну агентов Леопольда. К концу 1889 года в

Конго работало 430 белых: торговцы, солдаты, миссионеры и администраторы зарождающегося государства короля. Менее половины из них были бельгийцами, так как родина Леопольда по-прежнему проявляла мало интереса к новому владению своего короля. Показательно, что почти все агенты Леопольда в Конго были офицерами, находившимися в длительном отпуске из бельгийской или других европейских армий.

Имея персонал и инструменты, Леопольд принялся создавать инфраструктуру, необходимую для эксплуатации своей колонии. Первым пунктом в его планах стала элементарная транспортная система Конго: без неё богатства территории, какими бы они ни оказались, можно было доставить к морю только пешком. В 1887 году группа землемеров начала намечать маршрут железной дороги, чтобы обойти печально известные 220 миль порогов. Комары, жара, лихорадка и скалистый рельеф с глубокими оврагами нанесли серьёзный урон, и прошло три года, прежде чем рабочие смогли приступить к укладке рельсов.

Пока такая работа только начинала разворачиваться, бюрократия Конго-государства росла как в самой Бельгии, так и в колонии. Генри Шелтон Сэнфорд пытался получить должность высокопоставленного колониального чиновника в Брюсселе, с надеждой писав жене: «Это именно та работа, которую я хотел бы иметь: и репутацию, и деньги можно приобрести, и будет удовлетворение от принесённой пользы... Думаю, я предложу план действий и предложу свои услуги». Его надежды оказались тщетны: Леопольд знал, что способность Сэнфорда устраивать пышные ужины в Вашингтоне никак не сочеталась ни с талантом администратора, ни с безжалостностью, которой требовал король. Вместо этого Леопольд дал Сэнфорду разрешение собирать

в Конго слоновую кость и другие продукты, а также пообещал помощь (как оказалось, невыполненную) в виде носильщиков, зданий и пароходного транспорта. Но «Экспедиция Сэнфорда», как эвфемистически называли это предприятие, вскоре пошла по пути его других бизнесов. Как обычно, он пытался управлять всем из Бельгии, где растущие долги вынудили его продать часть своей коллекции произведений искусства и переехать в меньшее шато. Тем временем его человек, отвечавший за дела в Конго, спился, а паровые котлы ржавели у тропы.

Леопольд был куда более успешным предпринимателем, чем Сэнфорд, но и он вскоре оказался под финансовым давлением. Он унаследовал значительное состояние, однако к концу 1880-х годов исследователи, пароходы, наёмники, вооружение и прочие расходы, связанные с Конго, почти полностью его исчерпали. Причём все эти расходы должны были продолжаться — и даже расти, — если он надеялся извлечь прибыль из эксплуатации территории. Откуда же взять деньги? Получить их от бельгийского правительства было сложно, поскольку одна из статей конституции страны требовала одобрения парламента для того, чтобы Леопольд стал монархом другого государства. Чтобы получить это одобрение, ему пришлось пообещать, что Конго никогда не станет финансовым бременем для Бельгии. Он убедил скептически настроенных законодателей, что у него достаточно средств для развития территории, хотя это было неправдой.

С 1885 по 1890 год король тратил большую часть своего времени на поиски денег. Некоторое время ему удавалось занимать у банкиров, но со временем даже его главные кредиторы, Ротшильды, перестали давать ему займы. Сотни его писем этого периода свидетельствуют о навязчивой озабоченности деньгами.

Он похудел и плохо спал; его министры считали, что он выглядит осунувшимся и рассеянным. Он был известен своим огромным аппетитом (часто заказывал новое блюдо уже после того, как заканчивал большой обед, а однажды в парижском ресторане съел двух целых жареных фазанов), и, пытаясь вызвать сочувствие публики и получить деньги, он дал понять, что ради экономии стал есть на одно блюдо меньше за обедом каждый день. Однажды королева Мария Генриетта воскликнула: «Леопольд, ты разоришь нас своим Конго!»

Король собрал немного денег, продавая облигации, хотя значительно меньше, чем рассчитывал. Он писал Папе Римскому, призывая католическую церковь покупать конголезские облигации во имя распространения слова Христова. Для строительства железной дороги и нескольких других проектов ему удалось привлечь частных инвесторов, но на условиях, которые уменьшали его собственную долю в тех, что, как он был уверен, принесут огромную прибыль. Он решил, что единственным выходом из его финансового кризиса является крупный заём. Учитывая уже имеющееся у него тяжёлое долговое бремя, наиболее вероятным источником такого займа был бельгийский парламент. Со временем Леопольд надеялся, что законодатели забудут его прежние обещания, поэтому он выжидал, прежде чем обратиться к парламенту. И пока он ждал, он вновь работал над тем, чтобы приукрасить свою репутацию филантропа и гуманиста.

Люди в Европе продолжали испытывать негодование по поводу «арабских» работорговцев, базировавшихся на Занзибаре и восточном побережье Африки. Работорговцы действительно,

надо сказать, наводили ужас на значительные части Восточной и Центральной Африки, а захваченные ими рабы продолжали продаваться вдоль северо-восточного побережья Индийского океана и в Персидском заливе. Но праведное возмущение европейцев по этому поводу всё теснее переплеталось с растущим стремлением к африканским колониям. К тому же удобно было то, что работорговцы были в основном мусульманами, что позволяло европейцам чувствовать себя ещё более добродетельными в своих устремлениях. Леопольд снискал большую похвалу за своё покровительство христианским миссионерам в его новой колонии; он так впечатлил публику своими энергичными обличениями работорговли, что был избран почётным президентом Общества защиты аборигенов — старейшей британской правозащитной организации.

К великому удовлетворению короля, Брюссель был выбран местом проведения Антирабовладельческой конференции великих держав, заседавшей с перерывами в течение восьми месяцев, начиная с ноября 1889 года. «Гуманитарный» король с радостью принимал делегатов, в зале заседаний Министерство иностранных дел Бельгии, где для всеобщего обозрения выставили раздвоенное ярмо для рабов. «Это тяжёлая работа, — докладывал старший британский представитель в Министерство иностранных дел, — все эти ужины, приёмы и балы». По дипломатическим причинам Османская Турция должна была быть включена в Антирабовладельческую конференцию, хотя рабство там было законным. Её делегат расхохотался, когда докладчики осудили исламский гарем как стимул к работорговле.

Для дипломатов конференция превратилась в длинное празднество. Их зал заседаний выходил окнами на модную

улицу в центре города, и один чиновник вспоминал о графе фон Кевенхюллере, австро-венгерском представителе: «При появлении каждой дамской шляпки он вскакивал и бросался к окну, словно приведённый в действие пружиной. И каждый раз это было поводом для великой радости. Наконец, чтобы он не упустил случая заняться своим любимым развлечением, люди от одного конца стола, покрытого зелёным сукном, до другого окликали его, предупреждая о приближении новой хорошенькой женщины».

Антирабовладельческая конференция оказалась настоящим даром для Леопольда, ведь делегаты прервали своё любование прохожими ровно настолько, чтобы одобрить некоторые планы, предложенные королём для борьбы с работорговцами, — планы, которые, как оказалось, удивительно напоминали проекты дорогостоящей транспортной инфраструктуры, которую он надеялся построить в Конго. Король описал необходимость укреплённых постов, дорог, железных дорог и пароходов, которые должны были обеспечивать поддержку колоннам войск, преследующих работорговцев. Он торжественно предложил услуги нового конголезского государства ради этой благородной цели и попросил взамен лишь разрешить ему взимать ввозные пошлины для финансирования борьбы с рабством. Великие державы в итоге согласились, фактически изменив в пользу Леопольда Берлинское соглашение, которое гарантировало свободу торговли.

Генри Шелтон Сэнфорд, присутствовавший на Антирабовладельческой конференции в качестве американского делегата, был потрясён. Шестью годами ранее он добился признания Конго Леопольда со стороны Соединённых Штатов в обмен на собственную подпись под соглашением о свободной торговле; и

вот теперь Леопольд внезапно просил разрешения на введение таможенных пошлин. Его наивное восхищение рухнуло, и Сэнфорд почувствовал, что король предал его. Страдавший подагрой и бессонницей, с каштановой бородой, которая теперь уже седела, и лицом, на котором отражались возраст и финансовые заботы, Сэнфорд был уже совсем не тем блистательным послом в цилиндре, каким он был всего несколько лет назад. Он умер в год после окончания конференции, глубоко разочарованный в Леопольде и погружённый в долги. Его инвестиции в Конго обернулись ничем, и единственным напоминанием о нём там остался шеститонный пароход под названием «Женераль Сэнфорд».

Пока конференция ещё продолжалась, Леопольд пригласил Стэнли в Бельгию на неделю. Стэнли выступил перед делегатами, а Леопольд вручил ему Большой крест Конго, организовал банкет и торжественный оперный спектакль в его честь, а также разместил его в золотисто-алых покоях Королевского дворца, которые обычно предназначались для высоких гостей из числа монархов. В ответ Стэнли в своей речи похвалил хозяина перед бельгийцами:

«В чём состоит величие монарха? Если в протяжённости его владений — тогда император России величайший из всех. Если в блеске и мощи военной организации — тогда первое место принадлежит Вильгельму II [германскому]. Но если величие монарха заключается в мудрости и доброте государя, ведущего свой народ с заботой пастыря, присматривающего за своей паствой, тогда величайший государь — это ваш собственный».

Леопольд использовал Стэнли так же, как современный американский президент мог бы привлечь на предвыборное турне знаменитую кинозвезду. Визит Стэнли в Брюссель стал ключевой

частью тщательно спланированной пиар-кампании, приуроченной к двадцатипятилетию правления короля. Леопольд также устроил садовый приём для двух с половиной тысяч представителей бельгийской элиты в Лакене и открыл для восхищённых гостей огромные новые теплицы дворца с куполами из стекла, где находилась экзотическая коллекция растений и деревьев, составлявшая крупнейшее частное ботаническое собрание в мире. Даже Брюссельская фондовая биржа, члены которой долгое время не хотели вкладывать деньги в африканские проекты короля, теперь устроила большой приём в его честь, украсив биржевой зал африканскими копиями и одной из самых необычных цветочных композиций в истории — массой листвы, из которой «прорастали» четыреста слоновьих бивней.

Кампания Леопольда была направлена на одну цель: деньги. Когда его усилия приблизились к кульминации, он заключил сделку с важными членами кабинета, которые начинали понимать, что африканское владение короля однажды может оказаться весьма ценным. Леопольд заявил: если парламент даст ему желаемый заём, он завещает Конго Бельгии. И вот когда этот «великодушный» монарх, известный как борец с рабством, прославляемый знаменитым исследователем Стэнли и чествуемый своими верными подданными, наконец попросил парламент о займе в двадцать пять миллионов франков (около 125 миллионов долларов по сегодняшним меркам) для поддержки «филантропической» деятельности в Конго, он его получил. Беспроцентный.

Пожалуй, нигде высокомерие Леопольда не проявляется столь ярко, как в любопытном документе, где он беззаботно завещает одну из своих стран другой.

«Мы, Леопольд II, король бельгийцев, суверен Государства Конго (État Indépendant du Congo), желая обеспечить нашей возлюбленной отчизне плоды труда, который многие долгие годы Мы вели на африканском континенте... настоящим заявляем, что завещаем и передаём после нашей смерти Бельгии все наши суверенные права на Государство Конго (l'État Indépendant du Congo)».

Был ещё один штрих. Когда король обнарудовал своё завещание, оно было датировано задним числом, так что его дар выглядел актом щедрости, а не частью финансовой сделки.

Для Генри Мортон Стэнли пять лет, предшествовавшие его «красноковровому» визиту в Брюссель в 1890 году, были нелёгкими. С момента окончания Берлинской конференции в 1885 году Леопольд размышлял, что делать со Стэнли. Чтобы гарантировать, что исследователь не пойдёт на службу к британцам, он держал его на контракте в качестве консультанта. Однако теперь королю были нужны не исследователи, а землемеры, горные инженеры, строители железных дорог, капитаны пароходов, солдаты и администраторы. Годами ранее Леопольд обещал назначить Стэнли генеральным директором будущего государства Конго. Но затем, в обмен на признание его Конго французами (которые недолюбливали Стэнли за то, что он превзошёл их человека де Бразза и принижал его), он тихо пообещал им больше никогда не нанимать Стэнли в Конго. Во всём, кроме пиара, беспокойный Стэнли теперь был мало полезен королю. «Леопольд, — однажды заметил бельгийский премьер-министр, — обращается с людьми так же, как мы с лимонами: выжмет досуха и выбросит кожуру».

Стэнли догадался, что Леопольд заключил тайную сделку с французами, и, как часто, бывало, в его жизни, почувствовал себя обиженным. Его африканское снаряжение было упаковано и готово, но экспедиции не предвиделось. Он не нуждался в деньгах, которые получал от Леопольда в качестве жалованья; куда большие суммы приносили ему лекции и книги. Тем не менее он сохранял восторженную преданность королю, даже когда Леопольд продолжал отмахиваться, говоря, как жаловался Стэнли в письме 1886 года: «Мы ещё не знаем точно, когда вы нам понадобится, но мы сообщим вам, мой дорогой мистер Стэнли, с достаточным временем для подготовки».

Как всегда, собираясь в Африку, Стэнли думал о браке, хотя, как он с отчаянием признавался: «Правда в том, что я не умею разговаривать с женщинами». Более года он вёл ещё одно из своих застенчивых и неловких ухаживаний — на этот раз за лондонской художницей из высшего общества по имени Дороти Теннант. Она писала греческих нимф, лондонских уличных оборванцев и портрет самого Стэнли. Союз казался подходящим: она была столь же скованной и неуклюжей в общении с мужчинами, как Стэнли с женщинами. В тридцать четыре года она всё ещё делила спальню со своей матерью и обращалась в дневнике к давно умершему отцу. Стэнли доверился Теннант, рассказав печальную историю о том, как его оставила Элис Пайк, и сделал ей предложение. Но она отказала. Снова отвергнутый, он был убеждён, что Дороти Теннант отвергла его из-за его социального происхождения. «Эта женщина поймала меня на своих восторженных речах, — писал он другу, — на своих чрезмерных восхвалениях, на безделушках с надписью “Помни меня”, на своих душистых записках».

Пока Стэнли переживал этот опыт, амбиции Леопольда росли.

В нем разгорелось стремление к колониям, и теперь он мечтал о долине Нила. “Мой дорогой министр, - сказал он однажды премьер-министру Бельгии, который пытался отговорить его от этой фантазии, - неужели вы считаете, что слава фараона ничего не стоит?” По сравнению с этим, утверждал он, Конго было «прозаичным». Но, говоря о Ниле, он воскликнул: «Это мой знак отличия, и я никогда от него не откажусь!» В 1886 году появилась возможность, которая сулила Леопольду одним махом и продвижение его нильских мечтаний, и возвращение Стэнли к работе, и укрепление его власти над Конго.

Судан, через который протекали верхние притоки Нила, находился под совместным англо-египетским управлением. Но расстояния были огромны, а контроль слабым. Члены мусульманского фундаменталистского движения махдистов подняли восстание в середине 1880-х годов, убили британского генерал-губернатора и отразили британские войска, посланные против них. Британия была потрясена, но страна вела слишком много колониальных войн в других местах и решила на данный момент не вступать в эту. Повстанцы двинулись на юг, где им противостоял губернатор самой южной провинции Судана. И что особенно удобно для Леопольда — она граничила с Конго.

Губернатор Эмин-паша попросил помощи из Европы; одно из его писем было опубликовано в газете The Times, и возникло движение за организацию частной экспедиции в его поддержку. The Times писала, что это будет «миссия милосердия и опасности — спасти Эмина-пашу... который окружён дикими и враждебными племенами и отрезан от досягаемости и ресурсов цивилизации». Подогреваемый антиисламским рвением, этот план получил широкую поддержку. Британцев ещё больше возмутило то, что

лидер махдистов потребовал, чтобы королева Виктория прибыла в Судан, подчинилась его власти и обратилась в ислам.

Теперь у британцев были не только «мусульманские злодеи», но и белый герой — Эмин. Ведь несмотря на свой титул (*emín* означает «верный»), осаждённый паша был невысоким и худощавым немецким евреем по имени Эдуард Шнитцер. На фотографиях лицо Эмина, безошибочно европейское, с толстыми очками и увенчанное красным фесом, выглядит как у близорукого делегата на съезде «Шрайнеров». По профессии врач, паша был блестящим лингвистом и чудаком; помимо попыток управлять своей провинцией, лечить больных и сопротивляться махдистам, он скрупулёзно собирал образцы растений и животных и формировал коллекцию чучел птиц для Британского музея.

Планы спасательной экспедиции оформились, и жертвоприношения хлынули рекой. Торговый дом Fortnum & Mason предоставил ящики с деликатесами; изобретатель Хайрем Максим прислал самую последнюю модель своего пулемёта; для Эмина также предназначалась новая парадная форма. А кто мог быть более подходящей кандидатурой на руководство Спасательной экспедицией к Эмину-паше, чем Генри Мортон Стэнли? Исследователь с готовностью принял приглашение. Его особенно восхитил пулемёт Максима, который он опробовал у самого изобретателя, убедившись, что он действительно способен стрелять заявленными шестьюстами выстрелами в минуту. «Это новое оружие, — сказал Стэнли, — окажет ценную услугу в помощи цивилизации преодолеть варварство».

Когда Стэнли попросил Леопольда освободить его от консультативного контракта, чтобы возглавить экспедицию, король согласился — при двух условиях. Во-первых, вместо

того чтобы направиться к Эмину более коротким и лёгким маршрутом с восточного побережья Африки через германские и британские горные территории, экспедиция должна была пройти через владения Леопольда в Конго, что требовало пересечения неисследованного Итурийского дождевого леса. Во-вторых, как только Стэнли найдёт Эмина-пашу, он должен был попросить его остаться губернатором своей провинции — но уже как провинции государства Конго.

Таким образом, Леопольд получал не только исследованный и, возможно, расширенный неизвестный уголок своей территории; всё это должно было быть сделано за чужой счёт. Финансирование предприятия поступало из разных источников — от Королевского географического общества до британских торговцев, заинтересованных в предполагаемом тайном запасе Эмина слоновой кости на сумму 60 000 фунтов стерлингов, и газетных магнатов, знавших, что новая экспедиция Стэнли обеспечит продажи газет. Отправляясь в путь в начале 1887 года, исследователь искусно лавировал между требованиями своих многочисленных спонсоров. Один удивлённый свидетель, встретивший позднее Стэнли и его огромный отряд, идущих в обход нижних порогов реки Конго, заметил, что знаменосец во главе колонны нёс — по просьбе издателя New York Herald Джеймса Гордона Беннетта-младшего — флаг Нью-Йоркского яхт-клуба.

Обычный для Стэнли двухтомный бестселлер на тысячу страниц оказался лишь одной из множества книг, впоследствии написанных об Экспедиции по спасению Эмина-паши. (Нанимая офицеров, Стэнли заставлял каждого подписывать контракт, обязывающий не выпускать собственную книгу ранее чем через

шесть месяцев после выхода «официального» отчёта Стэнли.) Но, помимо выгоды для прессы и издательской индустрии, экспедиция оказалась катастрофой почти для всех её участников — разве что, пожалуй, для Нью-Йоркского яхт-клуба, чей флаг, по крайней мере, пронесли через целый континент.

Стэнли устраивал свои привычные вспышки гнева. Четыре раза он увольнял своего личного слугу и четыре раза возвращал его обратно. Он устраивал истерические ссоры со своими белыми офицерами — несколько из которых впоследствии нарисовали крайне неприглядный портрет Стэнли. «Малейшая мелочь, — писал один из них, — способна свергнуть его в неистовую ярость». Он усугубил проблемы рушившегося конголезского бизнес-предприятия Генри Сэнфорда, реквизируя его недостроенный пароход и используя его в качестве баржи для своих войск, а через несколько месяцев вернул его в сильно повреждённом виде. Но важнее всего было то, что он совершил стратегическую ошибку, разделив свои восемьсот солдат, носильщиков и сопровождающих на две колонны, чтобы самому, с меньшими и более подвижными силами, быстрее достичь Эмина-паши и осуществить драматичное, броское для газет спасение.

Как всегда, Стэнли сделал неудачный выбор подчинённых. Офицер, которого он оставил командовать тыловой колонной, майор Эдмунд Барттелот, вскоре лишился рассудка. Он отправил личный багаж Стэнли вниз по реке. Он послал другого офицера в странное трёхтысячечильное трёхмесячное путешествие к ближайшей телеграфной станции, чтобы отправить бессмысленную телеграмму в Англию. Затем он решил, что его отравляют, и начал видеть предателей повсюду. Одному из них он велел дать триста ударов плетью (оказавшихся смертельными).

Он колот африканцев стальной тростью с наконечником, приказал заковать в цепи несколько десятков человек и укусил деревенскую женщину. Один африканец застрелил Барттелота, прежде чем тот успел натворить ещё больше.

Тем временем Стэнли пробирался сквозь тропический лес во главе авангардной колонны, приговаривая дезертиров к повешению и к многочисленным поркам, некоторые из которых выполнял лично. Из-за сбоев в снабжении его носильщики и солдаты большую часть времени находились на грани голода. Для тех несчастных, кто жил на их пути, экспедиция напоминала армию захватчиков, так как она порой брала женщин и детей в заложники, пока местные вожди не доставляли продовольствие. Один из офицеров Стэнли писал в дневнике: «Сегодня мы доели последний банан... туземцы не торгуют и даже не предлагают. В качестве последнего средства нам придётся снова ловить их женщин». Другой вспоминал, когда казалось, что на них могут напасть: «Стэнли отдал приказ сжечь все окрестные деревни». А ещё один описывал резню так же небрежно, как если бы речь шла об охоте:

«Было очень интересно лежать в кустах и наблюдать, как туземцы спокойно занимаются повседневными заботами. Некоторые женщины... готовили банановую муку, толча сушёные бананы. Мы видели мужчин, строивших хижины и занимавшихся другими делами, мальчиков и девочек, бегавших и распевавших песни... Я начал игру с того, что выстрелил одному парню в грудь. Он упал, как подкошенный... Сразу же по деревне был произведен залп».

Один из участников экспедиции упаковал отрубленную голову африканца в коробку с солью и отправил ее в Лондон, чтобы

таксидермист с Пикадилли сделал из нее чучело и установил его на стену.

Из 389 человек авангарда Стэнли более половины погибли, прорубаясь с помощью мачете сквозь Итурийский тропический лес, иногда продвигаясь всего на четыреста ярдов в день. Когда еда заканчивалась, они жарили муравьёв. Им приходилось перелезать через гигантские корни деревьев и разбивать лагерь на болотистой земле посреди тропических ливней, один из которых длился семнадцать часов без перерыва. Люди дезертировали, терялись в джунглях, тонули или умирали от столбняка, дизентерии и гангренозных язв. Другие погибали от стрел и ловушек с отравленными кольями, расставленных лесными жителями, напуганными этими вооружёнными и голодными чужаками, разорявшими их земли.

К моменту, когда они наконец достигли Эмина, Стэнли и его уцелевшие люди были голодны и изнурены. Поскольку большая часть припасов находилась в сотнях миль позади вместе с тыловой колонной и её обезумевшим командиром, исследователь мог предложить маленькому папе лишь немного боеприпасов, письма от поклонников, несколько бутылок шампанского и новую парадную форму — которая оказалась слишком велика. На самом деле именно Стэнли пришлось просить у Эмина припасы. Папа встретил их, как писал Стэнли, «в чистом костюме из ослепительно белого хлопкового дрилла, хорошо выглаженном и идеально сидящем», его лицо «не выдавало ни малейшего следа... ни болезни, ни тревоги; скорее оно свидетельствовало о хорошем физическом состоянии и душевном покое». Эмин, всё так же с удовольствием собирая образцы для Британского музея, вежливо отклонил предложение Леопольда присоединить его провинцию

к новому государству Конго. А самым неловким для измотанного авангарда Спасательной экспедиции к Эмину-паше было то, что угроза восстания к тому времени ослабла по сравнению с письмами Эмина несколькими годами ранее, и он вовсе не жаждал спасения.

Стэнли сильно боялся вернуться домой без Эмина. Паша писал в своём дневнике: «Для него всё зависит от того, сможет ли он увезти меня с собой, ведь только тогда... его экспедиция будет считаться полностью успешной... Он скорее погибнет, чем уедет без меня!» В конце концов Стэнли всё же сумел уговорить неохотного пашу отправиться с ним обратно в Европу — отчасти потому, что само появление многочисленного и склонного к стрельбе отряда Спасательной экспедиции вновь спровоцировало восстание махдистов. Так Стэнли и Эмин вместе со своими спутниками несколько месяцев пробирались к восточноафриканскому побережью и вышли к морю у небольшого немецкого поста на территории нынешней Танзании.

Немецкая батарея дала артиллерийский салют в их честь, а чиновники устроили для них банкет в местной офицерской столовой. Играла военно-морская музыка; выступили с речами Стэнли, Эмин и один немецкий майор. «Вина были отборные, хорошо подобранные и охлаждённые», — писал Стэнли. Затем близорукий Эмин, который ходил вдоль банкетного стола, беседуя с гостями и распивая шампанское, шагнул в окно второго этажа, думая, по-видимому, что оно выходит на веранду. Но это было не так. Он упал на улицу и потерял сознание. Ему пришлось провести два месяца в местном немецком госпитале, и Стэнли не смог триумфально привезти его в Европу. А самым неловким для Стэнли было то, что Эмин-паша, оправившись, пошёл служить не своим британским спасителям и не Леопольду, а немцам.

В течение нескольких месяцев после возвращения Стэнли в 1890 году в Англии кипели споры из-за потери более половины участников экспедиции и из-за зверств, совершённых под его командованием. Один еженедельник высмеял его:

«А когда жара африканского солнца
Становилась уж слишком изнуряющей,
Немного кровопролития с пулемётом Максима
Было чрезвычайно возбуждающим!»

Экспедиция по спасению Эмина-паши действительно была жестокой. Но те, кто её осуждал, не знали, что по сравнению с кровопролитием, начинавшимся в то время в Центральной Африке, она была лишь второстепенным эпизодом.

ПЕРВЫЙ ЕРЕТИК

Завещание Леопольда рассматривало Конго так, словно это был всего лишь участок незаселённой недвижимости, которым распоряжается его владелец. В этом король ничем не отличался от других европейцев своей эпохи — исследователей, журналистов и строителей империй, — которые говорили об Африке так, будто там не было африканцев: как о пустом пространстве, ожидающем, чтобы его заполнили города и железные дороги, возводимые чудесами европейской промышленности.

Чтобы увидеть Африку как континент целостных обществ, каждое со своей культурой и историей, требовался прыжок эмпатии — прыжок, на который почти никто из ранних европейских или американских посетителей Конго не был способен. Это означало бы видеть режим Леопольда не как прогресс, не как цивилизацию, а как кражу земли и свободы. Однако впервые в Конго прибывает человек, который смотрит на колонию именно такими глазами. Давайте встретим его на станции на берегу реки Конго, в душный июльский день 1890 года, когда он впервые изложил свои чувства на бумаге.

Теперь на речной сети появилось несколько станций Леопольда, каждая из которых представляла собой одновременно военную базу и пункт сбора слоновой кости. Обычно это несколько построек с крышами из соломы и тенистыми верандами под пальмами, где располагались жилые помещения для белых чиновников. На шесте развевался синий флаг с золотой звездой. Часть пищи поступала от банановых деревьев, из огорода с маниокой и другими овощами,

а также из загонов с курами, козами или свиньями. Деревянный блокгауз с бойницами для ружей, сооружённый на небольшом искусственном холме, служил обороной; нередко имелся и частокол. Бивни слонов лежали в сарае или прямо под открытым небом, охраняемые вооружёнными часовыми и ожидавшие отправки на побережье. Африканские лодки-долблёнки стояли на берегу рядом с кучами древесины, нарубленной короткими поленьями для паровых котлов. Одна из важнейших станций находилась в тысяче миль вверх по течению от Леопольдвилля, у Стэнли-Фолс — верхнего предела судоходства на главном участке реки Конго.

На станции Стэнли-Фолс в этот июльский день сорокалетний мужчина садится, охваченный жгучим гневом. Грაციозной и энергичной рукой он начинает писать. Возможно, он сидит снаружи, прислонившись спиной к стволу пальмы; возможно, он занял стол клерка станции. Как видно по нескольким строгим парадным портретным фотографиям, сохранившимся у нас, его волосы коротко острижены, усы заостряются длинными концами; он носит бабочку и высокий белый накрахмаленный воротник. Может быть, в этот день на берегу реки для воротника и галстука слишком жарко, а может, и нет: некоторые приезжие в Конго всегда одевались формально.

Документ, который выйдет из-под пера этого человека в течение следующих одного-двух дней, станет важной вехой в литературе о правах человека и журналистских расследованиях. Он озаглавлен «Открытое письмо Его Светлости Величеству Леопольду II, королю Бельгии и суверену Независимого государства Конго», написанное полковником distinguished Джорджем В. Уильямсом из Соединенных Штатов Америки.

Джордж Вашингтон Уильямс действительно был американцем. Однако он не был полковником — это звание, приписанное себе, позже принесло ему проблемы. И он был чернокожим. Во многом именно поэтому его долгое время игнорировали. Среди множества рьяных визитёров, устремившихся в Конго, когда Леопольд начал его эксплуатировать, Уильямс стал первым крупным инакомыслящим. И, как многие путешественники, оказавшиеся в нравственном аду, он начинал свой путь в поисках чего-то, что, как он надеялся, будет больше похоже на рай.

Путь Уильямса в Конго был таким, словно он прошёл через несколько разных жизней. Родившийся в Пенсильвании в 1849 году, он получил лишь скудное образование, а в 1864 году записался — почти неграмотным, несовершеннолетним и под вымышленным именем — в 41-й цветной полк армии Союза. Он участвовал в нескольких сражениях во время наступления на Ричмонд и Петербург в последние месяцы войны и был ранен в бою.

Позднее, как и некоторые другие ветераны Гражданской войны, искавшие работу, он поступил на службу в армию Мексиканской республики, которая сражалась за свержение амбициозного, но неудачливого зятя Леопольда II — императора Максимилиана. Вернувшись домой, не имея никаких профессиональных навыков, кроме военных, Уильямс снова поступил в армию США и провёл большую часть года в кавалерийском полку, воевавшем с индейцами Великих равнин. Во второй половине 1867 года, когда они оба находились на разных армейских постах в Канзасе, путь Уильямса, возможно, пересёкся с путём молодого газетного корреспондента Генри Мортон Стэнли.

Уволившись из армии на следующий год, Уильямс некоторое время учился в Говардском университете, который, когда он упоминал об этом позже, иногда напоминал Гарвардский университет. Позже в своей жизни он также претендовал на докторскую степень, которую так и не получил. Однако он был блестящим студентом и, поступив в Ньютонский теологический институт, расположенный недалеко от Бостона, сумел сократить трехлетнюю программу обучения теологии для выпускников до двух лет. В письмах, которые он написал сразу после службы в армии, едва ли одно слово написано правильно, а предложения мучительно искажены. Но несколько лет спустя он уже мог свободно сочинять в ритме церковной кафедры девятнадцатого века. В речи, которую он произнес по окончании Ньютонского университета в 1874 году, прозвучала тема, которая шестнадцать лет спустя привела его в Конго:

«На протяжении почти трёх веков Африка была лишена своих смуглых сыновей... Негр этой страны может обратиться к своим саксонским братьям и сказать, как Иосиф сказал своим братьям, которые коварно продали его: "... мы, овладев вашими искусствами и науками, могли бы вернуться в Египет и освободить остальных наших братьев, которые всё ещё находятся в доме рабства". Этот день настанет!»

Уильямс уже начал писать и говорить о рабстве, гораздо более близком к дому — о положении американских чернокожих, переживавших долгий постгражданский откат, отмеченный линчеваниями, насилием Ку-клукс-клана и возвращением власти белых расистов на всём Юге. Как ветеран, он был особенно возмущён тем, что так мало надежд, связанных с войной, положившей конец рабству, было реализовано.

В год окончания семинарии Уильямс женился и стал пастором Двенадцатой баптистской церкви — главной чернокожей общины Бостона. На этом посту, как и на других, в дальнейшем он долго не задерживался. Его жизнь, по-видимому, была проникнута беспокойством, ибо, хотя он достигал заметных успехов в каждой новой профессии, которой занимался, редко оставался в ней надолго.

После всего лишь года служения священником он переехал в Вашингтон (округ Колумбия) и основал национальную чернокожую газету *The Commoner*. В первом номере были с гордостью опубликованы поздравительные письма от знаменитых аболиционистов Фредерика Дугласа и Уильяма Ллойда Гаррисона, но вскоре газета закрылась, и Уильямс вернулся к служению — на этот раз в Цинциннати. Он стал колумнистом в местной газете и вновь основал собственное издание. Затем, сделав ещё один резкий поворот, он оставил кафедру, занялся изучением права и поступил в ученики к адвокату. В 1879 году, в возрасте тридцати лет, он был избран первым чернокожим членом законодательного собрания штата Огайо, где вызвал раздражение, пытаясь добиться отмены закона, запрещающего межрасовые браки. Он покинул законодательное собрание всего после одного срока.

В своей следующей карьере Уильямс оставил куда более заметный след, и к моменту, когда он вновь сменил занятие, за ним осталось нечто весомое и долговечное. Это была огромная книга под названием *История негритянской расы в Америке с 1619 по 1880 год: негры как рабы, как солдаты и как граждане; вместе с предварительным рассмотрением единства человеческой семьи и историческим очерком Африки и с описанием негритянских правительств Сьерра-Леоне и Либереи*. Изданная в двух томах,

в 1882 и 1883 годах, книга проводила своих читателей от ранних африканских королевств до самой Гражданской войны и Реконструкции.

Уильямс был пионером среди американских историков в использовании нетрадиционных источников. Он почувствовал то, что большинство учёных начали признавать лишь почти сто лет спустя: что для написания истории угнетённых людей одного лишь обращения к традиционным печатным источникам явно недостаточно. Путешествуя по стране, Уильямс просматривал бесчисленные библиотеки, но сделал и гораздо больше. Он написал письмо в одну национальную чернокожую газету с просьбой к читателям присылать ему «протоколы любых цветных церковных организаций» и другие подобные документы. Он обратился к генералу Уильяму Текумсе Шерману, спросив его мнение о своих чернокожих войсках. Он беседовал с другими ветеранами Гражданской войны. И когда его 1092-страничная книга вышла в свет, она получила широкое и благожелательное признание. The New York Times написала тогда, снисходительно, но с уважением: «несколько десятилетий назад вряд ли кто-то поверил бы, что представитель этой расы мог быть автором труда, требующего столь больших природных способностей». Позднее У. Э. Б. Дюбуа назвал Уильямса «величайшим историком расы».

Уильямс начал ездить с лекциями, выступая перед ветеранскими объединениями, братскими организациями и церковными общинами — как чернокожими, так и белыми. Казалось, у него находилась речь для любого случая — от празднования Дня независимости до заседания Филоматийского литературного общества Вашингтона. Вскоре он заключил контракт с ведущим лекторским агентом того времени Джеймсом

Б. Пондом, одним из клиентов которого был Стэнли. Ему удалось познакомиться со всеми — от Генри Уодсворта Лонгфелло до президентов Гровера Кливленда и Ратерфорда Б. Хейса; и многие, кто встречался с ним, уходили с положительным впечатлением о серьёзном молодом человеке. Менее впечатлены были многие чернокожие американцы, считавшие, что Уильямс слишком быстро отворачивается от них в своём стремлении общаться с сильными мира сего.

Несмотря на успехи, деньги утекали сквозь пальцы Уильямса, и за ним оставался ряд разгневанных кредиторов. Он продолжал направлять свою огромную энергию в самые разные проекты. Он написал вторую книгу — об опыте чернокожих солдат в Гражданской войне. Он ездил в Нью-Мексико в поисках земли для возможного поселения чернокожих фермеров. Он писал статьи для газет. Работал юристом в компании *Cape Cod Canal Company*. Написал пьесу о работорговле. С головой погрузился в деятельность ветеранских организаций Союза, получив почётное звание полковника от самой важной из них — Великой армии Республики. Он выступал в Конгрессе в поддержку памятника чернокожим ветеранам Гражданской войны. Он был выдвинут на должность посланника в Гаити президентом Честером А. Артуром, за которого вёл кампанию. Но Артур покинул пост, а политические противники распространили слухи о долгах Уильямса, и назначение так и не вступило в силу.

Однажды, когда Уильямс встречался с Президентом Артуром в Белом доме, в это же время на приём к президенту пришёл и другой человек — Генри Шелтон Сэнфорд, в то время занимавшийся в Вашингтоне лоббированием признания Соединёнными Штатами Конго Леопольда. Президент представил своих двух посетителей

друг другу. В зарождающемся государстве Конго, которое описывал Сэнфорд, Уильямс увидел возможность воплотить мечту, о которой впервые говорил в своей выпускной речи в семинарии. Он написал одному из помощников Леопольда, предлагая набрать чернокожих американцев для работы в Конго. В Африке, несомненно, должна была появиться возможность первопроходчества и продвижения вперёд, в котором чернокожим было отказано в Соединённых Штатах. Он также подал заявление в Комитет Сената по международным отношениям, призывая признать Международную ассоциацию Конго, и добавил Конго в число тем своих лекций.

В 1889 году Уильямс получил задание написать серию статей из Европы для газетного синдиката. Он также пытался, но безуспешно, получить назначение американским делегатом на Антирабовладельческую конференцию в Брюсселе; тем не менее, находясь в Лондоне, он выдавал себя за делегата. Брюссель, как он обнаружил, был городом, где европейцы старались превзойти друг друга в осуждении рабства, и в этой атмосфере молодой американец — потомок рабов — произвёл хорошее впечатление. И всё же, несмотря на внушительный список достижений, Уильямс не смог удержаться от приукрашиваний:

«Полковник Уильямс, — сообщала газета *L'Indépendance Belge*, — получивший своё звание во время Гражданской войны... написал по меньшей мере пять или шесть трудов о неграх... Он был первым, кто предложил официальное признание государства Конго Соединёнными Штатами и получил возможность с этой целью выступить с большой речью в Комитете Сената по международным отношениям в Вашингтоне, что завершилось полным успехом».

Первым газетным материалом, который Уильямс отправил домой из Бельгии, было интервью с Леопольдом, которого

он описал как «приятного и занимательного собеседника. Его волосы и густая борода были аккуратно подстрижены и щедро посеребрены сединой. Его черты были сильными, чётко очерченными и выразительными; а глаза, живые и быстрые, сверкали умным интересом из-за очков».

Когда Уильямс спросил, чего король ожидает в ответ за все деньги, потраченные на развитие Конго, Леопольд ответил: «То, что я делаю там, совершается как христианский долг перед бедными африканцами; и я не желаю вернуть ни одного франка из всего, что истратил». На этой первой встрече Уильямс, как и многие другие, был ослеплён человеком, которого он назвал «одним из самых благородных монархов в мире; императором, чьё высшее стремление — служить делу христианской цивилизации и содействовать наилучшим интересам своих подданных, правя с мудростью, милосердием и справедливостью».

Леопольд прекрасно понимал, что лучший способ очаровать именно этого гостя — это выслушать его проекты, ведь в той же статье Уильямс писал, что король «оказался хорошим слушателем». Слушал он, по-видимому, давнюю мечту Уильямса — привлечь афроамериканцев к работе в Африке. Уильямс заключил соглашение с бельгийской компанией о наборе сорока квалифицированных ремесленников и их отправке в Конго, а также планировал написать книгу об этой территории. Однако, вернувшись в США и выступив с призывом о наборе студентов в одном из чернокожих колледжей Виргинии, он столкнулся со скептической аудиторией, задававшей множество вопросов о жизни в Африке, на которые он не смог ответить. Тогда он отложил план по набору и решил сначала отправиться в Конго, чтобы собрать материал для своей книги.

Это поставило перед ним задачу собрать деньги на билеты на пароход, еду, снаряжение и носильщиков для долгого пути в обход порогов. Главным покровителем, к которому он обратился, стал американский железнодорожный магнат Коллис П. Хантингтон, мелкий инвестор в планируемую конголезскую железную дорогу. Уильямс разыскал его и после визита осыпал его потоком лестных писем, что в конце концов принесло небольшую субсидию на его африканское путешествие.

В декабре 1889 года Уильямс встретился с президентом Бенджамином Харрисоном в Белом доме. Неясно, сделал ли Харрисон что-либо большее, чем просто пожелал ему хорошего путешествия в Африку, но, как это часто бывало в его жизни, Уильямс позже использовал эту встречу с влиятельным человеком, чтобы намекнуть, будто выполняет важное секретное поручение для него.

Когда Уильямс готовился к своей поездке, то и дело упоминал о своих связях с президентом и Хантингтоном, и Леопольд вместе со своими помощниками начал подозревать, что он может тайно действовать в интересах американских бизнесменов, намеревающихся проникнуть на эту территорию. Когда Уильямс проезжал через Брюссель по пути в Конго, он позднее сказал:

«Были приложены все возможные усилия, чтобы отклонить меня от моей миссии. Ко мне был направлен один из офицеров королевского двора с целью убедить меня не ездить в Конго. Он распространялся о смертельной природе климата в сезон дождей, о опасностях и тяготах путешествия в караванах и о больших расходах на поездку... После этого король велел позвать меня и сказал... что путешествовать по стране трудно, а ещё труднее добыть здоровую пищу для белых людей; что он надеется, я отложу

свою поездку в Конго хотя бы на пять лет; и что вся необходимая информация будет предоставлена мне в Брюсселе. В ответ я сказал Его Величеству, что еду в Конго сейчас и отправлюсь через несколько дней».

С января 1890 года и до начала следующего года Уильямс совершил плавание вокруг всего африканского континента, периодически посылая Хантингтону срочные просьбы о дополнительных деньгах. Ему удалось встретиться со всеми — от вице-президента бурской Трансваальской республики до султана Занзибара и хедива Египта, — а также получить почётное членство в Английском клубе Занзибара и прочитать лекцию в Хедивиальном географическом обществе Каира. Но его самым важным визитом стала поездка в Конго, где он провёл шесть месяцев, пройдя пешком мимо нижних порогов и поднявшись на пароходе по великой реке, делая многочисленные остановки вплоть до Стэнли-Фолс.

Путешествие по реке на пароходе в то время означало продвижение примерно на тридцать миль в день, а при движении вверх по течению иногда и меньше. Каждый день судно останавливалось поздним днём, иногда швартуясь у государственной станции или миссионерского поста, но чаще вставало на ночлег у берега. Капитан выставял часовых и отправлял команду чернокожих дровосеков валить деревья для топлива на следующий день пути. Один путешественник описал типичную сцену так:

С наступлением сумерек зажигались огромные костры, и в их свете люди распиливали брёвна на небольшие куски длиной по

три-четыре фута... Это было зрелище, сопровождаемое гулким стуком топоров, треском падающих деревьев, затем огненной картиной в отблесках костра и скрежетом пилы... Затем чурбаки перебрасывались из рук в руки, пока все они не были погружены на пароход.

Европейские или американские пассажиры спали в каютах на борту, обычно на верхней палубе; дровосеки же спали на берегу прямо на земле. На рассвете свисток собирал экипаж обратно на борт или в каноэ, или на баржу, которую тянул пароход, и кормовое колесо медленно толкало судно вверх по течению.

Продвигаясь вверх по реке этими медленными этапами, Уильямс имел достаточно времени, чтобы увидеть Африку, о которой давно мечтал. Будучи проникательным наблюдателем и опытным интервьюером, он обладал редким для журналистов, как и для историков, качеством — умением не поддаваться влиянию уже написанного другими. И в деревнях, на государственных постах и миссионерских станциях вдоль берегов реки он увидел не благостно управляемую колонию, описанную Стэнли и другими, а то, что он назвал «Сибирью Африканского континента». Его впечатления были изложены в поразительном документе, который он написал в Стэнли-Фолс, когда уже не мог сдерживать своего гнева.

В начале своего «Открытого письма» к королю Уильямс держится уважительно: «Добрый и великий друг, имею честь представить на рассмотрение Вашего Величества некоторые размышления относительно Независимого государства Конго, основанные на тщательном исследовании». Однако уже во втором абзаце он отсылает Леопольда к высшей власти — «Царю царей». И ясно, что Бог недоволен тем, что он видит, происходящим в Конго.

«Открытое письмо» — это труд человека, который кажется вдвойне потрясённым: сначала тем, что он увидел, а затем тем, «как глубоко я оказался разочарован, обескуражен и лишён надежды» после «всех хвалебных слов, которые я говорил и писал о стране Конго, государстве и суверене». Почти сразу Уильямс переходит к делу, принимая тон одной из своих многочисленных профессий — юриста:

«Каждое обвинение, которое я собираюсь выдвинуть против личного правительства Вашего Величества в Конго, было тщательно расследовано; список компетентных и правдивых свидетелей, документов, писем, официальных записей и данных был добросовестно подготовлен». Документы будут храниться «до тех пор, пока не будет создана Международная комиссия с полномочиями вызывать лиц и бумаги, приводить к присяге и подтверждать истинность или ложность этих обвинений». Легко представить ярость Леопольда, когда он обнаружил себя адресатом этого прокурорского тона — от иностранца, которого он сам пытался отговорить от поездки в Конго, и тем более от чернокожего.

Если бы «Открытое письмо» было напечатано так же, как эта книга, оно заняло бы всего около дюжины страниц. И всё же на этом небольшом пространстве Уильямс предвосхитил почти все основные обвинения, которые более чем десятилетие спустя будут выдвинуты международным движением протеста против Конго. Хотя к 1890 году в Европе уже публиковались отдельные критические замечания о конголезском государстве Леопольда, большинство из них касались дискриминации королём иностранных торговцев. Заботой Уильямса были права человека, и его труд стал первым всеобъемлющим и систематическим

обвинительным актом против колониального режима Леопольда, написанным кем-либо. Вот его главные обвинения:

- Стэнли и его белые помощники использовали разные хитрости, например заставляли африканцев верить, будто белые обладают сверхъестественными силами, чтобы вождь Конго склонить к подписанию передачи своих земель Леопольду. Например: «В Лондоне было закуплено несколько электрических батарей, и, когда их прикрепляли к руке под пиджаком, они соединялись с лентой, проходившей через ладонь белого брата; и когда он дружески жал руку чёрному брату, тот был сильно удивлён, обнаружив, что его белый брат настолько силен, что чуть не сбил его с ног... Когда туземец спрашивал о различии в силе между собой и белым братом, ему говорили, что белый человек может вырывать деревья и совершать самые поразительные подвиги силы». Другой трюк заключался в использовании увеличительного стекла для того, чтобы закурить сигару, после чего «белый человек объяснял свою близкую связь с солнцем и заявлял, что если он попросит его сжечь деревню чёрного брата, то это будет исполнено». В третьем обмане белый человек демонстративно заряжал ружьё, но незаметно прятал пулю в рукав. Затем он вручал оружие чёрному вождю, отходил на расстояние и предлагал ему выстрелить; белый человек оставался невредим, а потом наклонялся и доставал пулю из своего ботинка. «Таким образом... и за несколько ящиков джина целые деревни переходили под власть Вашего Величества». Земля, приобретённая таким способом, писал Уильямс, была «территорией, на которую у Вашего Величества не больше законных прав, чем у меня — на пост главнокомандующего бельгийской армией».

- Далеко не великим героем, а тираном был Стэнли. Его

«имя вызывает дрожь у этого простого народа, когда упоминается; они помнят его нарушенные обещания, его обильную брань, его вспыльчивость, его тяжёлые побои, [и] его суровые и жестокие меры, которыми их лишили земель». (Заметим предположение Уильямса, немыслимое для его белых современников: что у африканцев было право на африканскую землю.) Из сотен европейцев и американцев, путешествовавших в Конго в первые годы существования государства, Уильямс оказался единственным, кто, по имеющимся свидетельствам, спрашивал африканцев об их личном опыте общения со Стэнли.

- Создание Леопольдом военных баз вдоль реки вызвало волну смерти и разрушений, потому что африканские солдаты, размещённые там, должны были кормить себя сами. «Эти пиратские, разбойничьи посты вынуждают туземцев снабжать их рыбой, козами, курами и овощами под дулами мушкетов; и всякий раз, когда туземцы отказываются... белые офицеры приходят с экспедиционным отрядом и сжигают жилища местных жителей».

- «Правительство Вашего Величества проявляет чрезмерную жестокость к своим заключённым, приговаривая их за малейшие проступки к каторжным работам в цепях... Часто эти бычьи цепи врезаются в шеи узников и вызывают язвы, над которыми кружат мухи, усугубляя текущую рану».

- Заявление Леопольда о том, что его новое государство обеспечивает мудрое управление и общественные службы, было обманом. Не существовало школ и больниц, за исключением нескольких сараев, «непригодных даже для содержания лошади». Практически никто из чиновников колонии не знал африканских языков. «Суды правительства Вашего Величества являются бесплодными, несправедливыми, пристрастными и преступными».

(Здесь, как и в других местах, Уильямс приводил яркий пример: белый слуга генерал-губернатора остался безнаказанным за кражу вина, тогда как чернокожих слуг ложно обвинили и избили.)

- Белые торговцы и государственные чиновники похищали африканских женщин и использовали их в качестве наложниц.

- Белые офицеры расстреливали деревенских жителей — иногда, чтобы захватить их женщин, иногда, чтобы запугать выживших и заставить их работать в качестве подневольных рабочих, а иногда ради забавы. «Два офицера бельгийской армии увидели с палубы своего парохода туземца в каноэ на некотором расстоянии... Офицеры заключили пари на 5 фунтов стерлингов, что смогут попасть в туземца из своих ружей. Было сделано три выстрела, и туземец упал мёртвым, с простреленной головой».

- Вместо того чтобы быть благородным борцом с рабством, каким себя представлял Леопольд, «правительство Вашего Величества занимается работорговлей — оптом и в розницу. Оно покупает, продаёт и похищает рабов. Правительство Вашего Величества платит по 3 фунта стерлингов за каждого работоспособного раба для военной службы... Рабочая сила на станциях правительства Вашего Величества на Верхнем Конго состоит из рабов всех возрастов и обоих полов».

На этом Уильямс не остановился. Через три месяца после написания «Открытого письма» он подготовил «Доклад о Государстве и Стране Конго Президенту Республики Соединённых Штатов Америки». Президент Харрисон, вероятно, не более ожидал известий от него, чем Леопольд. Обращаясь к президенту, Уильямс повторил свои обвинения, добавив, что Соединённые Штаты несут особую ответственность за Конго, потому что они «ввели это африканское государство в содружество наций».

Как и в «Открытом письме», он подкрепил обвинения личными примерами. «В Стэнли-Фолс мне среди бела дня предлагали рабов; а ночью я обнаружил лодки, гружённые рабами, крепко связанными друг с другом». Уильямс призвал заменить это «угнетающее и жестокое правительство» новым режимом, который был бы «местным, а не европейским; международным, а не национальным; справедливым, а не жестоким».

Независимо от того, просил ли Уильямс о самоуправлении или о международном попечительстве, прошло бы ещё много лет, прежде чем кто-либо другой из Европы или Соединённых Штатов выступил бы с тем же самым. В письме, которое Уильямс написал государственному секретарю США, он использовал выражение, словно заимствованное из Нюрнбергских процессов более чем полувековой давности. Государство Конго Леопольда, писал Уильямс, было виновно в «преступлениях против человечности».

«Открытое письмо» было напечатано в виде брошюры, и ещё до конца 1890 года, пока его автор всё ещё завершал своё путешествие по Африке, оно широко распространялось как в Европе, так и в Соединённых Штатах. Неясно, кто организовал распространение, но, вероятно, это была голландская торговая компания *Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap*, имевшая торговые посты в Конго и владевшая пароходом *Holland*, на котором путешествовал Уильямс. Руководители компании были возмущены тем, что Леопольд настойчиво вытеснял иностранных торговцев из своей новой колонии, оставляя прибыльные запасы слоновой кости себе и своим деловым партнёрам. Но Уильямс не позволил компании повлиять на своё послание: в «Открытом

письме» вопрос о свободной торговле упоминается лишь вскользь и занимает одно из последних мест в списке обвинений.

После публикации «Открытого письма» газета New York Herald, которая ранее отправила Стэнли в Африку, посвятила ему целую колонку под заголовком: «УПРАВЛЕНИЕ АФРИКАНСКИМ СВОБОДНЫМ ГОСУДАРСТВОМ ОБЪЯВЛЕНО АМЕРИКАНСКИМ ГРАЖДАНИНОМ ВАРВАРСКИМ — ТРЕБУЕТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ». В статье приводились слова Стэнли, назвавшего «Открытое письмо» «умышленной попыткой шантажа». Ещё более тревожным для Уильямса было то, что его покровитель Коллис П. Хантингтон считал его крайне несправедливым к королю, который, по его словам, «заботился о наилучшем благе туземцев той страны».

Разъярённый Леопольд сказал британскому посланнику в Брюсселе не верить Уильямсу. «Полковник Уильямс может быть всем тем, чем его называет король, — сообщил дипломат своему правительству, — но я подозреваю, что в его брошюрах содержится немало неприятной правды». В своих мемуарах один из советников Леопольда вспоминал о срочном совещании, созванном для обсуждения того, что делать с «брошюрой Уильямса», вокруг которой парижская пресса подняла «настоящий скандал».

Леопольд и его приближённые быстро организовали контратаку. Газета Journal de Bruxelles задавалась вопросом: «Прежде всего, кто такой мистер Уильямс? Этот человек не является полковником США». В последующих статьях издание называло его «так называемым “полковником”», «псевдополковником», «неуравновешенным негром» и «мистером Уильямсом, который не является полковником». (Бельгийская пресса, разумеется, никогда не ставила под сомнение звание «генерала» Генри

Шелтона Сэнфорда.) Газета *Le Mouvement Géographique*, тесно связанная с конголезским предприятием Леопольда, также атаковала Уильямса и указывала, что хотя туземцы Конго и не всегда получают полное правосудие, того же нельзя сказать и об американских индейцах.

Однако другие бельгийские газеты восприняли обвинения Уильямса серьёзно. «При доминировании коммерческих спекуляций в Конго личный, абсолютный и неконтролируемый режим, верховный автократ которого никогда не ступал на землю страны, которой он управляет, неизбежно должен породить большинство тяжких деяний, на которые указывает американский путешественник», — писала либеральная *La Réforme*. «Мы не склонны принимать за священную истину всё то, что конголезская администрация желает предложить в собственную защиту», — заявляла *Le Courrier de Bruxelles*. Газеты в других странах также подхватили эту историю, сообщая об обвинениях Уильямса и иногда публикуя обширные выдержки.

К июню 1891 года ажиотаж дошёл до бельгийского парламента, где несколько депутатов и премьер-министр выступили в защиту короля. Несколькими неделями позже *État Indépendant du Congo* выпустило сорокапятистраничный доклад, подписанный его высшими администраторами. Как сообщало британское посольство в Брюсселе в Лондон, он был явно направлен на «опровержение обвинений, выдвинутых полковником Уильямсом и другими».

Тем временем Уильямс завершил своё путешествие по Африке и оказался в Египте, где тяжело заболел туберкулёзом. Как обычно, у него не было денег. Своей привычной манерой действовать так, словно он занят неотложными делами для влиятельных лиц, он

каким-то образом убедил британского посланника в Каире, сэра Эвелина Бэринга, направить к нему врача. Имея при себе всего 14 фунтов, он отчаянно взывал к Хантингтону с просьбой о деньгах. Когда силы немного вернулись, он ухитрился получить бесплатный проезд в Англию на британском пароходе. На борту он познакомился с молодой англичанкой, бывшей гувернанткой в британской семье в Индии, и к моменту их прибытия в Великобританию они уже были помолвлены. Уильямс обосновался в Лондоне, несмотря на проблемы с долгами, возникшими ещё во время его предыдущего визита. Но его туберкулёз усугубился. Его невеста и её мать увезли его в Блэкпул, надеясь, что морской воздух исцелит его и позволит ему продолжить работу над книгой о Конго Леопольда.

Их надежды оказались тщетными. Рано утром 2 августа 1891 года, в окружении своей невесты, её матери, священника и врача, Джордж Вашингтон Уильямс скончался. Ему был сорок один год. В Бельгии газета *Le Mouvement Géographique* отметила его смерть с удовлетворением, сравнив его с теми, кто сжёг храм в Дельфах. «Его ранняя смерть, — пишет современный дипломатический историк С. Дж. С. Куки, — спасла правительство Конго от, возможно, чрезвычайно грозного противника». Его похоронили в Блэкпуле в безымянной могиле. Лишь в 1975 году на его могиле появился настоящий надгробный камень — установленный по инициативе его биографа, историка Джона Хоупа Франклина.

Лишь после похорон, по-видимому, британская невеста Уильямса узнала, что он оставил жену и пятнадцатилетнего сына в Соединённых Штатах. В этом обмане и в других поступках — от пренебрежения долгами до хвастовства несуществующей докторской степенью — в нём было что-то от проходимца. Но, в

каком-то смысле, это была обратная сторона той необычайной смелости, которая позволила ему бросить вызов королю, его чиновникам и всей расовой системе того времени. Для сравнения можно привести Джорджа Гренфелла, опытного британского миссионера, которого Уильямс навестил на реке Конго. Он также воочию видел весь спектр злоупотреблений, включая то, как служащие государства Леопольда покупали закованных в цепи рабов, но, как он писал домой всего через несколько дней после встречи с Уильямсом, он не считал возможным «публично ставить под сомнение действия Государства». И как бы Уильямс ни приукрашивал собственное резюме, практически всё, что он писал о Конго, впоследствии было подтверждено — и в изобилии — другими.

«Открытое письмо» Уильямса было криком возмущения, исходившим от сердца. Оно не принесло ему ничего. Оно лишило его покровителя — Хантингтона. Оно гарантировало, что он никогда не сможет, как надеялся, привезти афроамериканцев в Конго. Оно не принесло ему столь нужных денег и, в последние месяцы его жизни, завершившейся на курорте за границей, принесло ему лишь клевету. К тому времени, как он отправился в Конго в 1890 году, почти тысяча европейцев и американцев уже посетили эту территорию или работали там. Уильямс был единственным, кто говорил об этом открыто, полно, страстно и неоднократно — о том, что другие отрицали или игнорировали. Грядущие годы сделали его слова ещё более пророческими.

ГДЕ НЕТ ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ

Леопольд сделал столицей своего нового конголезского государства портовый город Бома, расположенный выше по реке от Атлантики, где Стэнли завершил своё легендарное трансафриканское путешествие в 1877 году. В начале 1890-х годов Бома уже имел узкоколейный трамвай — паровоз с парой вагонов, — который соединял шумные доки и склады торговых компаний с прохладным плато наверху. Там находились правительственные учреждения и дома для европейцев, работавших в них. В Боме также имелись католическая церковь из железа, больница для европейцев, почтовое отделение, военная база, пушки которой салютовали каждому вновь прибывшему важному гостю, и двухэтажный отель. Три раза в день — в 6:00 утра, в 11:45 и в 18:30 — около семидесяти пяти белых чиновников спускались на трамвае с холма, проезжая через плантацию банановых деревьев, чтобы пообедать в гостиничной столовой. Единственным европейцем, который питался в другом месте, был генерал-губернатор: он принимал пищу в своём величественном викторианском особняке с куполом, французскими окнами и крытыми верандами. Каждый год день рождения короля отмечался такими мероприятиями, как торжественный смотр войск, состязание в стрельбе по мишеням и концерт католического хора чернокожих детей.

Несмотря на свой внушительный особняк, охранявшийся африканскими часовыми в синих мундирах и красных фесках, генерал-губернатор Конго обладал куда меньшей властью, чем британский, французский или немецкий колониальный

губернатор. В отличие от любой другой колонии в Африке, Конго управлялось непосредственно из Европы. Настоящая штаб-квартира *État Indépendant du Congo* находилась не в Боме, а в конторах в Брюсселе: одна — на территории Королевского дворца, другие — рядом или через дорогу. Всех высших и средних администраторов Конго назначал и продвигал лично король, а мини-кабинет из трёх-четырёх бельгийцев во главе, в Брюсселе, отчитывался напрямую перед Леопольдом.

Его единоличное правление этой огромной территорией резко контрастировало со всё более ограниченной властью Леопольда у себя на родине. Однажды, в последние годы жизни, когда он беседовал у себя в кабинете с несколькими министрами, его племянник и наследник престола, принц Альберт, открыл окно, и сквозняк разметал бумаги по полу. Леопольд приказал Альберту поднять их. «Пусть он сделает это, — сказал король одному из министров, который поспешил предложить поднять бумаги вместо него. — Будущий конституционный монарх должен научиться наклоняться». Но в Конго никакого «наклона» не было: власть Леопольда была абсолютной.

На самом низком уровне власть короля над своей колонией осуществляли белые управляющие округами и речными постами по всей огромной территории; некоторые из них пароходы не навещали месяцами. В глубине страны практика часто отставала от теории, но, по крайней мере на бумаге, даже самому скромному начальнику станции полагалась бутылка красного вина в день и обильные запасы английского мармелада, датского масла, консервированного мяса, супов и приправ, а также фуа-гра и других паштетов от Fischer's в Страсбурге.

Для этих чиновников существовало изобилие наград, степени

которых отражали разрастающуюся иерархию имперского правления. Так, для кавалеров Ордена Африканской Звезды предусматривалось шесть классов — от *grands-croix* и *commandeurs* до простых *médailleurs*. Королевский орден Льва, учреждённый Леопольдом «в знак признания заслуг и благодарности за оказанные Нам услуги», также имел шесть классов. Для африканских вождей, сотрудничавших с режимом, существовала особая медаль — бронзовая, серебряная или позолоченная, в зависимости от степени оказанных «услуг». На одной стороне был профиль Леопольда, а на другой — герб государства Конго и слова: *LOYALTY AND DEVOTION* («ВЕРНОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ»).

Белые чиновники в Конго Леопольда обычно были холостыми мужчинами, многие из которых заводили одну или нескольких африканских наложниц. Но к рубежу века некоторые чиновники начали привозить с собой жён, а те, кто этого не делал, обращались в предприимчивое британское брачное агентство, поставлявшее «жён по переписке» из Европы.

Фотографии отдалённых постов в Конго 1890-х годов обычно показывают одну и ту же картину. По длинным теням видно, что это, скорее всего, поздний вечер. Двое или трое белых мужчин на снимке одеты в костюмы с галстуками и вытянутые пробковые шлемы от солнца, напоминающие белую каску лондонского полисмена. Они сидят в плетёных креслах, у их ног лежит собака, а за их спинами — палатка или простое строение с крышей из соломы; мужчины улыбаются. Позади них стоят не улыбкающие африканские слуги, держащие в руках символы своего положения: поднос, полотенце, перекинутое через руку, или бутылку, готовую к разливу. На столе стоят бокалы для вина или чайные чашки — символы домашнего уюта. Белые мужчины всегда одеты в белое.

В основе таких сцен лежал целый ряд королевских декретов из Брюсселя. Первый и самый важный был издан в тот самый день 1885 года, когда существование государства Конго было официально провозглашено; он объявлял всю «свободную землю» собственностью государства. Не было дано никакого определения того, что делает землю свободной. По всему миру, конечно, земля, которая выглядит пустующей, часто намеренно оставляется под пар, пока посевы выращиваются в другом месте — особенно в тропиках, где сильные дожди вымывают питательные вещества из почвы.

Леопольд стремился получить всё, что можно было быстро собрать. В этом смысле он считал своей собственностью как «свободные», так и «несвободные» земли, предъявляя права на все их продукты. Он не делал различия между бивнями дикого слона и овощами крестьян, способными прокормить его солдат; всё это было его.

Однако у него не было ресурсов, чтобы эксплуатировать всю территорию, поэтому другой пакет декретов разделил части Конго на несколько гигантских блоков, чья «свободная земля» сдавалась в аренду на длительные сроки в качестве концессий частным компаниям. Эти концессионные компании имели акционеров — в основном, хотя и не исключительно бельгийцев, — и перекрещивающиеся советы директоров, в которые входили многие высокопоставленные чиновники Конго. Но в каждой из них государство — что фактически означало самого Леопольда — обычно сохраняло 50 процентов акций. Создавая такую структуру, Леопольд был похож на управляющего современным венчурным синдикатом. По сути, он нашёл способ привлекать чужой капитал

в свои инвестиционные схемы, при этом удерживая половину доходов. В конечном счёте, с учётом различных налогов и сборов, которые компании выплачивали государству, выходило даже больше половины.

В отличие от венчурного капиталиста на свободном рынке, король задействовал не только инвестиционные фонды, но и войска с государственными чиновниками. Он безжалостно использовал их, чтобы вытеснить с территории большинство предприятий, в которых сам не имел доли. Голландская торговая компания, на пароходе которой путешествовал Уильямс, столкнулась с жёсткой конкуренцией за слоновую кость со стороны чиновников Конго, которые останавливали её суда, в одном случае даже открыв огонь. Однажды, как говорится в истории этой компании, «для определённого района было объявлено осадное положение, что сделало его закрытой территорией для торговцев. Когда осадное положение было снято, вся слоновая кость исчезла».

Тем временем король продолжал утверждать, что извлечение прибыли — последнее, о чём он думает. «Благодарю вас за то, что вы вчера развеяли клевету, распространяемую врагами государства Конго, за опровержение обвинений в секретности и жажде наживы», — писал он премьер-министру после парламентских дебатов 1891 года. «Государство Конго, конечно же, не является коммерческим предприятием. Если оно собирает слоновую кость на некоторых своих землях, то только для того, чтобы сократить дефицит».

И если африканцев принуждали помогать в сборе слоновой кости, то и это, не дай Бог, делалось вовсе не ради прибыли, а чтобы «спасти этих заблудших людей от праздности». Разговоры о «ленивом туземце» сопровождали всю европейскую гонку за

африканскими землями — так же, как они ранее оправдывали завоевание Америки. В беседе с американским журналистом Леопольд однажды заявил: «Имея дело с расой, состоящей из каннибалов на протяжении тысяч лет, необходимо использовать методы, которые лучше всего стряхнут их праздность и заставят осознать святость труда».

В начале 1890-х годов труд, «святость» которого Леопольд ценил выше всего, заключался в изъятии всей доступной слоновой кости. Чиновники конголезского государства и их африканские помощники прочёсывали страну в поисках добычи, убивая слонов, скупая бивни у деревенских жителей за бесценок или попросту конфискуя их. Народы Конго охотились на слонов веками, но теперь им было запрещено продавать или передавать слоновую кость кому-либо, кроме агентов Леопольда. Драконовской «усовершенствованной» формой метода сбора слоновой кости, задавшей образец для всего последующего, стала система комиссионных, введённая королём в 1890 году: его полевые агенты получали процент от рыночной стоимости слоновой кости — но по скользящей шкале. За кость, купленную в Африке по восемь франков за кило, агент получал 6 процентов от значительно более высокой европейской рыночной цены. Но комиссия постепенно увеличивалась и достигала 10 процентов за кость, купленную по четыре франка за кило. Таким образом, европейские агенты имели мощный стимул — при необходимости под дулом ружья — заставлять африканцев соглашаться на крайне низкие цены.

Почти ни один из этих бельгийских франков фактически не попадал к конголезским охотникам на слонов. Они получали лишь небольшие количества ткани, бус и тому подобного — или же латунные прутья, которые государство постановило

считать основной валютой на территории. Африканцам сделки с использованием денег не разрешались. Свободное обращение денег могло подорвать то, что по сути, представляло собой командную экономику.

Команды касались прежде всего труда. В начале государству больше всего нужны были носильщики. Как и Стэнли, любой чиновник, отваживавшийся уйти от речной системы вглубь леса — чтобы собирать слоновую кость, основывать новые посты или подавлять восстание, — нуждался в длинных колоннах носильщиков, которые несли всё: от боеприпасов к пулемётам до красного вина и паштета. Эти десятки тысяч носильщиков обычно получали плату за свой труд, пусть иногда лишь пищей, необходимой, чтобы поддерживать силы, но большинство из них были рекрутированы насильно. К работе привлекали даже детей: один наблюдатель отмечал, что семи- и девятилетние мальчики несли поклажу весом двадцать два фунта (около 10 кг).

«Шеренга бедолаг, скованных за шею, несла мои сундуки и ящики к пристани», — буднично отмечал в своих мемуарах один чиновник конголезского государства. На следующей остановке его пути понадобилось больше носильщиков для сухопутного перехода: «Их было около сотни, дрожащих и напуганных перед надсмотрщиком, который прохаживался, раскручивая кнут. На каждого коренастого, широкоплечего парня приходилось множество скелетов, иссохших, словно мумии, кожа их была истончена... изрезана глубокими шрамами, покрыта гноящимися ранами... Но ничего, все они годились для работы».

Носильщики были нужны больше всего там, где речную систему преграждали пороги, особенно — до постройки железной дороги — на трёхнедельном переходе между портовым городом

Матади и Стэнли-Пулом. Это был своеобразный трубопровод: вверх по нему вглубь страны доставлялись припасы, вниз — к морю — спускалась слоновая кость и другие богатства. Переноска разобранных пароходов на верхние участки реки была самой трудоёмкой задачей: один пароход мог составлять три тысячи нош носильщиков. Вот как Эдмон Пикар, бельгийский сенатор, описал караван носильщиков, который он видел на пути в обход больших порогов в 1896 году:

«Мы беспрестанно встречаем этих носильщиков... чёрных, жалких, одетых лишь в ужасно грязную повязку на бёдрах, с кудрявой и обнажённой головой, удерживающей ношу — ящик, тюк, бивень слона... бочку; большинство из них болезненные, клонящиеся под тяжестью, отягощённые усталостью и недостатком пищи — горсть риса и немного вонючей сушёной рыбы; жалкие ходячие кариатиды, вялые животные с тонкими «обезьяньими» ногами, с измождёнными лицами, с глазами, устремлёнными и округлившимися от напряжения, чтобы удержать равновесие, и от одуряющей усталости. Так они идут и идут тысячами... реквизированные Государством, вооружённым своей могущественной милицией, переданные вожжами, чьими рабами они являются и которые присваивают их жалованье, бегущие на полусогнутых ногах, с выпяченным животом, с одной рукой, поднятой для удержания груза, а другой — опирающейся на длинный посох; пыльные и потные, словно рой насекомых, они растягиваются по горам и долинам своими бесконечными колоннами, выполняя сизифов труд, умирая на дорогах или, завершив путь, уходя умирать от переутомления в своих деревнях».

Смертность была особенно высокой среди носильщиков,

которых принуждали нести грузы на большие расстояния. Из трёхсот носильщиков, реквизированных в 1891 году окружным комиссаром Полем Лемаринелем для вынужденного марша длиной более шестисот миль с целью основать новый пост, не вернулся ни один.

Станислас Лефран, набожный католик и монархист, был бельгийским прокурором, приехавшим в Конго работать судьёй. Ранним воскресным утром в Леопольдвиле он услышал звуки отчаянных криков множества детей.

Проследив, откуда доносятся вопли, Лефран обнаружил «около тридцати мальчишек, среди которых несколько было всего по семь-восемь лет; они стояли в ряд, ожидая своей очереди, в ужасе наблюдая, как их товарищей порют. Большинство мальчишек, в пароксизме горя... так яростно отбивались ногами, что солдатам, которым было приказано держать их за руки и ноги, приходилось поднимать их над землёй... По двадцать пять ударов плетью обрушивалось на каждого ребёнка». Накануне вечером, как выяснил Лефран, несколько детей засмеялись в присутствии белого человека, и тот распорядился, чтобы всем мальчикам-слугам в городе было дано по пятьдесят ударов плетью. Вторая половина наказания, ещё двадцать пять ударов, была назначена на шесть часов утра следующего дня. Лефран сумел остановить это, но ему велели больше не делать протестов, мешающих установлению дисциплины.

Лефран наблюдал применение одного из центральных орудий власти в Конго Леопольда, которое в сознании местного населения вскоре стало так же тесно ассоциироваться с белым господством,

как пароход или ружьё. Это была шикотта — кнут из сыромятной, высушенной на солнце кожи бегемота, разрезанной на длинную полосу с острыми кромками, закрученную спиралью. Обычно шикоттой били по голым ягодицам жертвы. Эти удары оставляли неизгладимые шрамы; более двадцати пяти ударов могли привести к потере сознания, а сто и более — наказание вовсе не редкое — часто оказывались смертельными.

Лефрану предстояло увидеть ещё множество наказаний шикоттой, хотя его описания этих сцен, опубликованные в брошюрах и газетных статьях в Бельгии, вызвали лишь слабый отклик.

«Начальник станции выбирает жертв... Дрожа и измождённые, они ложатся лицом вниз на землю... двое их товарищей, а иногда четверо, хватают их за руки и ноги и снимают хлопковые штаны... Каждый раз, когда палач заносит шикотту, на коже несчастных жертв появляется красная полоса; они, хотя и крепко удерживаемые, корчатся в ужасных судорогах... От первых ударов несчастные издают страшные крики, которые вскоре превращаются в слабые стоны... В изощрённой жестокости некоторые офицеры — и я сам был тому свидетелем — требуют, чтобы, поднявшись, задыхаясь, пострадавший почтительно отдавал воинское приветствие».

Открытый ужас, который выражал Лефран, привёл лишь к тому, что он заработал себе репутацию чудака или скандалиста. «Он проявляет поразительное невежество в вещах, которые должен знать по своей работе. Посредственный агент», — написал исполняющий обязанности генерал-губернатора в служебной характеристике. В попытке заглушить его жалобы, писал Лефран, чиновники распорядились, чтобы казни на его посту проводились в новом месте, а не рядом с его домом.

За исключением Лефрана, немногие европейцы, работавшие на режим, оставили записи о своём потрясении от официально узаконенного террора. Белые люди, проходившие через эту территорию как военные офицеры, капитаны пароходов или чиновники государства и концессионных компаний, обычно принимали применение шикотты так же бездумно, как сотни тысяч других людей в форме полвека спустя примут свои назначения в нацистских и советских концлагерях. «Чудовища существуют, — писал Примо Леви о своём опыте в Освенциме. — Но их слишком мало, чтобы быть по-настоящему опасными. Куда опаснее... чиновники, готовые верить и действовать, не задавая вопросов».

Что делало возможным для чиновников в Конго столь беззаботно наблюдать за действием шикотты и, как мы увидим, причинять боль и смерть и другими способами? Прежде всего, конечно, — раса. Для европейцев африканцы были существами низшего порядка: ленивыми, нецивилизованными, мало чем отличающимися от животных. Фактически самым распространённым способом их использования был труд — подобно животным, в качестве вьючных. В любой системе террора чиновники прежде всего должны воспринимать жертв как менее чем людей, и викторианские представления о расе обеспечивали такую основу.

К тому же террор в Конго, разумеется, был узаконен властями. Для белого человека восстать означало бросить вызов системе, которая обеспечивала его существование. Все вокруг участвовали в ней. Подчиняясь системе, ты получал жалованье, продвижение по службе, награды. Поэтому люди, которые пришли бы в ужас, увидев применение шикотты на улицах Брюсселя, Парижа или Стокгольма, в этих других условиях воспринимали это как

норму. Мы слышим отзвук такого мышления в другом контексте, полвека спустя: «Сказать по правде, — говорил Франц Штангль о массовых убийствах, происходивших, когда он был комендантом нацистских лагерей смерти в Собиборе и Трешлинке, — к этому действительно привыкаешь».

В подобном режиме одной из вещей, которая часто помогает исполнителям «привыкнуть к этому», является небольшая символическая дистанция — не имеющая никакого значения для жертвы — между чиновником, ответственным за происходящее, и самим актом террора. На такую символическую дистанцию нацисты, представавшие перед судом после Второй мировой войны, часто ссылались в свою защиту. Доктор Йоханн Пауль Кремер, например, врач СС, любивший проводить патологоанатомические исследования на человеческих тканях, пока они ещё были свежими, объяснял это так:

«Пациента клали на анатомический стол, пока он ещё был жив. Затем я подходил к столу и задавал мужчине несколько вопросов о подробностях, связанных с моими исследованиями... Когда я собрал нужную информацию, санитар подходил к пациенту и убивал его инъекцией в область сердца... Я сам никогда не делал смертельных инъекций».

«Я сам никогда не делал смертельных инъекций». Хотя некоторые белые в Конго наслаждались тем, что сами пользовались шикоттой, большинство сохраняли подобную символическую дистанцию между собой и этим страшным орудием. «Сначала я... лично брал на себя ответственность за наказание тех, чьё поведение накануне, как казалось, заслуживало такого обращения, — вспоминал Рауль де Преморель, работавший в компании, действовавшей в бассейне реки Касаи. — Вскоре... я понял,

что целесообразнее поручать исполнение приговоров другим под моим руководством. Наилучшим планом казалось заставить каждого капиту [африканского бригадира] применять наказание для своей собственной группы».

И таким образом основная масса ударов шикоттой наносилась африканцами по телам других африканцев. Для завоевателей это имело и другую цель. Это создавало класс бригадиров из числа покорённых — наподобие капо в нацистских концлагерях и «придурков», или доверенных заключённых, в советском ГУЛАГе. И так же, как запугивание людей является частью завоевания, частью его становится и принуждение кого-то другого осуществлять этот террор.

Наконец, когда террор становится бесспорным порядком дня, умение применять его эффективно рассматривается как мужская доблесть — так же, как солдаты ценят спокойствие в бою. Это и есть высшая степень «привыкания к этому». Вот, например, начальник станции по имени Жорж Брисюс описывает в своём дневнике повешение, которое он приказал провести в 1895 году над человеком, укравшим ружьё:

«Возведена виселица. Верёвка закреплена слишком высоко. Они поднимают «негра» и надевают ему на шею петлю. Верёвка немного скручивается, затем — треск, и человек корчится на земле. Выстрел в затылок — и всё кончено. На этот раз это не произвело на меня ни малейшего впечатления!! И подумать только: в первый раз, когда я увидел применение шикотты, я побледнел от ужаса. У Африки, в конце концов, есть польза. Теперь я мог бы идти в огонь, как на свадьбу».

Система контроля, которую Леопольд распространил на свою огромную империю, была военной. В конце концов, без вооружённой силы нельзя заставить людей покидать свои дома и семьи и нести ноши весом шестьдесят пять фунтов неделями или месяцами. Король был особенно доволен тем, что мог иметь собственную армию в Африке, ведь в Бельгии он постоянно конфликтовал с законодателями, которые не разделяли его страсти к строительству больших фортов, увеличению военных расходов и введению всеобщей воинской повинности.

Леопольд использовал африканских наёмников ещё с тех пор, как отправил Стэнли закрепить свои притязания в 1879–1884 годах. В 1888 году он официально организовал их в армию для своего нового государства — *Force Publique*. За последующее десятилетие она выросла более чем до девятнадцати тысяч офицеров и солдат, став самой мощной армией в Центральной Африке. К концу 1890-х годов она поглощала более половины бюджета государства. Одновременно являясь и контрпартизанскими войсками, и армией оккупации, и корпоративной трудовой полицией, она была разделена главным образом на мелкие гарнизоны — как правило, несколько десятков чёрных солдат под началом одного-двух белых офицеров, стоявших на берегу реки. Первоначальная горстка военных постов быстро выросла: до 183 к 1900 году и до 313 к 1908 году.

У *Force Publique* было более чем достаточно дел. Многие новые подданные короля принадлежали к воинственным народам, которые оказывали сопротивление. Более десятка различных этнических групп подняли крупные восстания против власти Леопольда. Народ Яка воевал с белыми более десяти лет, пока не был подавлен в 1906 году. Чокве сражались двадцать лет, нанося

тяжёлые потери солдатам Леопольда. Боа и Буджа мобилизовали более пяти тысяч человек, чтобы вести партизанскую войну из глубины тропических лесов. Подобно тому, как американцы через семьдесят лет употребляли слово «умиротворение» во Вьетнаме, так и военные экспедиции Force Publique официально назывались *reconnaissances pacifiques* («мирные разведки»).

История Центральной Африки до прихода европейцев была столь же насыщена войнами и завоеваниями, как и история самой Европы, и даже во времена правления Леопольда не всё насилие в Конго происходило между колонизаторами и колонизированными. Поскольку многие народы Конго ранее воевали друг с другом, Force Publique нередко удавалось заключать союз с одной этнической группой, чтобы победить другую. Но рано или поздно и первая группа оказывалась покорённой. Имея слишком растянутые силы на огромной территории, командиры Леопольда умело использовали этот меняющийся узор союзов. Однако в конце концов именно их превосходство в вооружении обеспечивало победу — и историю, написанную победителями.

И всё же иногда даже через эти записи можно уловить решимость тех, кто сопротивлялся королю. В Катанге, на далёком юге, воинами народа Санга руководил вождь по имени Мулуме Ньяма. Хотя войска государства были вооружены артиллерией, его люди оказали упорное сопротивление, убив одного офицера и ранив трёх солдат. Затем они укрылись в большой меловой пещере под названием Чамакеле. Командир Force Publique приказал своим людям развести костры у трёх входов в пещеру, чтобы выкурить повстанцев, и через неделю отправил посланника вести переговоры о сдаче Мулуме Ньямы. Вождь и его воины отказались. Солдаты снова зажгли костры и на три месяца

заблокировали пещеру. Когда войска наконец вошли внутрь, они обнаружили 178 тел. Опасаясь оставить хоть какой-то след могилы мучеников, солдаты Force Publique вызвали оползни, чтобы стереть все следы существования пещеры Чамакеле и тел Мулуме Ньямы и его людей.

Ещё одно восстание произошло вдоль караванного пути вокруг нижних порогов Конго. Известный своей жестокостью государственный агент, бельгиец по имени Эжен Роммель, построил там станцию для набора носильщиков на трёхнедельный переход от Матади до Стэнли-Пула — работу, для которой государству к середине 1890-х годов требовалось пятьдесят тысяч человек в год. В отличие от протестантских миссионеров и некоторых частных торговцев, которые нанимали носильщиков на этом пути и договаривались с ними о плате, государство Конго — по прямому приказу Леопольда — использовало принудительный труд. Роммель назвал свою станцию Бака Бака, что значит «лови, лови».

Местный вождь по имени Нзансу возглавил восстание: 5 декабря 1893 года он устроил засаду и убил Роммеля, а его станцию сжёг дотла. Повстанцы также сожгли и разграбили два других близлежащих государственных поста, где убили двух белых чиновников и ранили ещё нескольких. Однако Нзансу пощадил Мукимбунгу — шведскую миссию на караванном пути. Он даже передал миссионерам некоторые припасы, которые нашёл брошенными на дороге, и вернул часть имущества, которое его люди забрали с территории миссии. Один из миссионеров, Карл Теодор Андерссон, написал своим прихожанам в Швецию:

«Если наши друзья из миссии на родине обеспокоены нашей безопасностью здесь из-за писем и газетных сообщений о

волнениях в этих краях, я хочу их успокоить... Вождь повстанцев, Нзансу из Каси, дал нам знать, что не желает причинить никому из нас вреда, так как мы всегда показывали, что являемся друзьями чёрного народа. Но людям Государства он поклялся в смерти. И тот, кто знает условия здесь, не может быть удивлён».

Это восстание особенно встревожило государство, так как оно полностью остановило движение по важнейшему караванному пути к Стэнли-Пулу. Чтобы подавить повстанцев, власти отправили отряд из пятнадцати белых офицеров и двухсот чёрных солдат. Другой шведский миссионер, К. Н. Бёрриссон, написал домой несколькими неделями позже: «Повстанцы не бежали... но собрались в деревне своего вождя, которую они защищают до смерти, хотя их другие деревни были сожжены».

Бёрриссон далее энергично выступает от имени повстанцев, чьих собственных голосов мы не можем услышать:

«Человек пожинает то, что посеял. На самом деле именно государство является истинным источником этих восстаний. Странно, что люди, считающие себя цивилизованными, думают, что могут обращаться со своим ближним — пусть даже он другого цвета кожи — как угодно... Без сомнения, одним из самых позорных [чиновников] был покойный господин Роммель. Не следует говорить плохо о мёртвых, но я должен упомянуть некоторые «мелкие» дела, чтобы доказать, что волнения были оправданны... Он сажал женщин в тюрьму, когда народ отказывался перевозить [припасы] и продавать ему товары ниже рыночных цен... Ему не было стыдно появляться у нашей станции и похищать наших школьниц... и обращаться с ними отвратительным образом. В одно воскресное утро брат Андерссон и я отправились в соседнюю деревню и помогли освободить трёх

несчастных женщин, которых его солдаты посадили в тюрьму только за то, что одна из них попросила вернуть глиняный кувшин, который у неё отобрали...

Но что же происходит со всеми женщинами, которых посадили в тюрьму? Некоторых освобождают... когда их мужья сделали всё возможное, чтобы вернуть ту, кто им дороже всего. Других заставляют работать в полях, а также использовать в качестве проституток... Наши наиболее уважаемые люди здесь... со слезами на глазах и с большой болью в сердце рассказали нам, что недавно видели группу из семисот женщин, скованных цепями и отправленных [к побережью на пароходах]. «И, — сказали они, — для них всё равно, отрубят ли они наши головы или голову курицы...»

Так разве можно искренне удивляться тому, что недовольство наконец вырвалось наружу? Нзансу, предводитель восстания и убийца [Роммеля], лишь хотел стать Энгельбректом Конго и Густавом Вазой своего народа. Его последователи столь же верны ему, как шведы были верны своим вождям в те времена».

Сравнение миссионера относилось к двум шведским патриотам XV и XVI веков, дворянам, которые возглавляли восстания шведских крестьян против суровых иностранных королей. Вазе повезло больше: он одержал успех и сам был избран королём Швеции. Нзансу был менее удачлив. Он и его воины сражались против Force Publique Леопольда восемь месяцев и несмотря на несколько карательных экспедиций «выжженной земли», продолжали бороться эпизодически ещё пять лет. Судя по всему, сведений о судьбе Нзансу не сохранилось.

Все офицеры и некоторые сержанты Force Publique были белыми, главным образом бельгийцами, но также и выходцами из других стран. Их собственные армии обычно охотно давали им отпуск, чтобы они могли получить несколько лет боевого опыта. Все рядовые солдаты были чёрными. Наёмники с Занзибара и британских западноафриканских колоний, служившие в армии в первые годы, вскоре оказались в меньшинстве по сравнению с солдатами из самого Конго, большинство из которых были призывниками. Даже те, кто шёл добровольно, часто делали это потому, что, как объяснил один солдат европейскому путешественнику, он предпочитал «быть среди охотников, а не среди добычи». Плохо оплачиваемые, плохо кормимые и поротые шикоттой за малейшее нарушение, многие пытались дезертировать, и в первые годы офицерам приходилось тратить значительную часть времени на их поимку. Затем, чтобы предотвратить дезертирство, государство стало отправлять новых призывников далеко от их родных округов. А завершив семилетний срок службы, солдат мог столкнуться с необходимостью проделать путь от нескольких сотен до тысячи миль, чтобы добраться домой. И даже тогда ему могли не позволить уйти.

Разочарование солдат часто выливалось в бунты — как крупные, так и мелкие. Первый серьёзный вспыхнул в 1895 году на военной базе в Лулуабуре, в южно-центральных саваннах. Командир базы, Матьё Пельцер, был печально известным забиякой: он распускал руки по отношению к подчинённым и регулярно приказывал наказывать солдат 125 ударами шикотты. Когда его африканская наложница переспала с другим мужчиной, он приказал её убить. Однажды Пельцер велел наказать солдата, но прежде, чем человек с шикоттой успел начать, сержант по имени

Кандоло подошёл к нему и вырвал кнут из его рук. Когда вскоре вспыхнул мятеж против Пельцера, его возглавили разгневанные чернокожие унтер-офицеры во главе с Кандоло.

Солдаты напали на Пельцера и ранили его, после чего он бежал в джунгли и спрятался. Но повстанцы выследили его и убили. Под руководством Кандоло, одетого в белое и ехавшего верхом на быке, они направились к другим постам Force Publique, привлекая сторонников среди чёрных солдат и убивая нескольких европейских офицеров. Более полугода повстанцы контролировали большую часть региона Касаи. В джунглях они разделились на небольшие группы, рассредоточились на большой территории и успешно уклонялись или отбивались от целой серии хорошо вооружённых экспедиций, посылавшихся против них. Спустя год встревоженные офицеры Force Publique оценивали численность оставшихся повстанцев в 400–500 человек; те продолжали вербовать новых членов и заключать союзы с местными вождями против государства. В целом подавление восстания обошлось Force Publique в жизни нескольких сотен чёрных солдат и носильщиков, а также пятнадцати белых офицеров или унтер-офицеров. Среди погибших был американец, лейтенант Линдси Бёрк, двадцатилетний уроженец Нового Орлеана, который пробыл в Африке менее года. В начале 1897 года он попал в засаду и погиб вместе с двадцатью семью своими людьми. Лидер повстанцев Кандоло был смертельно ранен в бою, но два капрала, сыгравших ключевую роль в восстании, Ямба-Ямба и Кимпуки, продолжали борьбу как партизанские вожди; они были убиты, всё ещё сражаясь, в 1908 году, через тринадцать лет после начала восстания.

На другом конце страны, на далёком северо-востоке, в 1897

году вспыхнуло крупное восстание среди трёх тысяч солдат и стольких же носильщиков и вспомогательных работников. Люди, которых месяцами заставляли маршировать через леса и болота в рамках новой экспедиции Леопольда к истокам Нила, в конце концов потеряли терпение. Бои продолжались три года: колонна за колонной верных войск Force Publique сражалась с повстанцами на протяжении примерно шестисот миль лесов и саванн вдоль цепи озёр на восточной границе Конго. Под своим красно-белым флагом повстанцы из разных этнических групп сражались бок о бок, сохраняли военную дисциплину и устраивали засады, чтобы пополнять запасы оружия и боеприпасов. Дружески настроенные вожди оказывали им поддержку, включая предупреждения с помощью «говорящего барабана» о приближении войск. Даже официальная история Force Publique признаёт, что в бою «повстанцы проявляли мужество, достойное более благородного дела».

Более чем через два года после начала восстания повстанцам удалось собрать две с половиной тысячи солдат для атаки на хорошо укреплённый рубеж. Один из отрядов верных наёмников Force Publique в ходе кампании сократился с трёхсот человек до трёх. Повстанцы продолжали сражаться ещё в 1900 году, когда две тысячи из них наконец отошли за границу на территорию Германии — нынешние Руанду и Бурунди, — где сложили оружие в обмен на право поселиться.

Это продолжительное восстание является единственным случаем в истории Конго Леопольда, когда у нас есть свидетельские показания о том, что происходило среди повстанцев. В апреле 1897 года эти мятежники захватили французского священника, отца Огюста Ахте, который случайно попал к ним в руки, полагая, что «огромный лагерь», на который он наткнулся, принадлежал

экспедиции Force Publique. Оказавшись же среди примерно двух тысяч повстанцев, чьи вожди носили захваченные офицерские мундиры с золотыми галунами и пистолеты, Ахте был в ужасе и был уверен, что его убьют. Некоторые мятежники действительно грубо обошлись с ним и заявили, что поклялись убивать всех белых. Но лидеры группы их отговорили, проводя различие между теми белыми, кто служил ненавистному государству Конго, и теми, кто нет. Вождь этой группы повстанцев Муламба, как сообщает Ахте, сказал священнику, что ему сохраняют жизнь потому, что «у меня не было ружья, я проповедовал Слово Божье, заботился о больных туземцах и (решающий довод) я никогда не бил чёрного». Повстанцы пришли к такому выводу после допроса дюжины молодых африканцев, которым священник преподавал основы религии.

К удивлению отца Ахте, повстанцы в конце концов закололи козла, накормили его, заварили ему чашку кофе и преподнесли в дар слоновую кость в качестве компенсации за те его вещи, которые они конфисковали: «чтобы вы не написали в Европе, что мы вас обокрали». Через несколько дней его отпустили. Повстанцы рассказали ему, что убили своих бельгийских офицеров, потому что те обращались с ними как с животными, не платили им месяцами, а солдат и вождей одинаково пороли или вешали за малейшую провинность. Они говорили об одном белом офицере, который за один день расстрелял шестьдесят солдат за отказ работать в воскресенье, и о другом, который «своими руками посыпал солью и перцем кровавые раны от *chicotte* и приказывал выбрасывать больных с его поста живыми в реку Луалаба».

«Три года я взращивал ненависть к бельгийцам в своём сердце и подавлял её», — сказал Муламба Ахте. — «Когда я увидел

Дані́са [барона Франсиса Дані́са, командира Force Publique в этом районе] лицом к лицу с моими восставшими соплеменниками, я дрожал от счастья: это был момент освобождения и мести». Другие повстанцы рассказали Ахте, что они избрали Мула́мбу своим королём и назначили двух других его заместителями, и что они хотели создать независимое государство, свободное от белого владычества. Это восстание и другие мятежи Force Publique были больше, чем бунты недовольных солдат; они стали предвестниками антиколониальных партизанских войн, потрясших Центральную и Южную Африку, начиная с 1960-х годов.

Пока Леопольд высокопарно издавал указы о запрете работоторговли, практически ни один гость, кроме Джорджа Вашингтона Уильямса, не говорил очевидного: не только носильщики, но даже солдаты Force Publique фактически были рабами. Более того, по системе, лично утверждённой королём, белые государственные агенты получали премию в зависимости от числа людей, которых они передавали в Force Publique. Иногда агенты покупали людей у сотрудничающих вождей, которые доставляли свой «живой товар» в цепях. (В одной сделке, зафиксированной в записях окружного комиссара, цена составляла двадцать пять франков за человека; именно столько получили два вождя из Бонгаты в 1892 году за шестерых подростков.) Чиновники Конго получали дополнительную премию за «сокращение расходов на вербовку» — завуалированное приглашение экономить государственные средства, похищая этих людей напрямую вместо того, чтобы платить вождям.

Однако рабовладельческая система всегда была украшена

эвфемизмами, которые использовали даже офицеры на местах. «Два парохода... только что прибыли с сержантом Ленсом и двадцатью пятью «добровольцами» из Энгветтры в цепях; двое утонули, пытаясь бежать», — написал один офицер, Луи Руссо, в своём ежемесячном рапорте за октябрь 1892 года. На самом деле около трёх четвертей таких «добровольцев» умирали ещё до того, как их доставляли на посты Force Publique, сообщил обеспокоенный старший чиновник в том же году. В качестве решения проблемы этих «потерь» он рекомендовал более быструю транспортировку и лёгкие стальные цепи вместо тяжёлых железных. Документы того времени неоднократно показывают заказы конголезскими чиновниками дополнительных партий цепей. Один офицер отмечал проблему колонн новобранцев, переходящих по узким бревенчатым мосткам через лесные ручьи: когда «libérés [освобождённые] мужчины, скованные за шею, переходят мост, если один падает, он тянет за собой всю колонну, и она исчезает».

Белые офицеры, которые торговались с вождями деревень за получение «добровольцев» — солдат и носильщиков, иногда имели дело с теми же самыми источниками, которые снабжали афро-арабских работорговцев восточного побережья. Самым могущественным из этих рабовладельцев, базировавшихся на Занзибаре, был статный, бородатый, крепко сложенный Хамед бин Мухаммед эль-Мурджеби, более известный под именем Типпу Тип. Его прозвище, как утверждали, происходило от звука главного орудия работорговцев — мушкета.

Типпу Тип был проницательным, изобретательным человеком, который сколотил состояние как на слоновой кости, так и на торговле рабами — дела, которые он сумел резко расширить благодаря открытию Стэнли маршрута по верхнему Конго.

Леопольд понимал, что власть и административные способности Типпу Типа сделали его почти фактическим правителем восточного Конго. В 1887 году король предложил ему пост губернатора восточной провинции колонии со столицей в Стэнли-Фолс, и Типпу Тип согласился; несколько его родственников заняли подчинённые должности. На этом раннем этапе, когда военные силы Леопольда были растянуты, сделка сулила выгоду обоим. (Король также заключил контракт на выкуп свободы нескольких тысяч рабов Типпу Типа, но одним из условий их освобождения, как вскоре поняли эти «освобождённые» и многие другие, была семилетняя служба в *Force Publique*.) Хотя Леопольду большую часть своей жизни удавалось быть «всеми для всех», зрелище этого борца с работорговлей, ведущего столь активные дела с самым влиятельным работорговцем Африки, способствовало первым ропотам против короля в Европе.

В конце концов пути этих двух людей разошлись. Амбициозные белые чиновники в восточном Конго, не получив одобрения своих начальников в Брюсселе, одержали несколько победоносных сражений против некоторых афро-арабских военачальников региона — бои, которые задним числом были превращены в «благородную кампанию» против гнусных «арабских» работорговцев. Колониально-героическая литература возвела её в центральное место официальной мифологии того времени, отголоски которой можно услышать в Бельгии и поныне. Однако за эти годы конголезские военные пролили куда больше крови, подавляя бесчисленные восстания африканцев, включая мятежников из собственных рядов. Более того, как только самовольная кампания против работорговцев завершилась, Леопольд вернул многих из них на должности государственных чиновников.

Каково было оказаться захваченным и порабощённым белыми завоевателями Конго? В одном редком случае мы можем услышать африканский голос, описывающий этот опыт. Его записал американский государственный агент, говоривший на суахили, Эдгар Канизиус, который оказался неожиданно тронут историей, рассказанной ему «женщиной большого ума по имени Иланга». Позднее, когда он встретил офицера и солдат, которые её захватили, он пришёл к выводу, что она действительно говорила правду. События, которые она описывает, произошли в восточной части территории, недалеко от Ньянгве, города, где Стэнли впервые увидел огромную реку, которая оказалась Конго. Вот рассказ Иланги, записанный Канизиусом:

«Наша деревня называется Ваниендо, в честь нашего вождя Ниендо... Это большая деревня возле небольшого ручья, окружённая широкими полями мохаго (маниока), мухинду (кукурузы) и других культур, ведь мы все усердно трудились на наших плантациях и всегда имели вдоволь пищи... У нас в стране никогда не было войны, и у мужчин не было много оружия, кроме ножей...

Мы все были заняты в полях, пропалывая наши плантации, ведь шёл сезон дождей, и сорняки быстро поднимались, когда в деревню прибежал гонец и сообщил, что идёт большой отряд людей: все они были в красных шапках и в синей ткани, с ружьями и длинными ножами, и с ними было много белых, главным среди которых был Кибаланга [африканское имя офицера Force Publique по имени Оскар Мишо, однажды лично получившего из рук Леопольда Почётный меч]. Ниендо немедленно созвал всех старейшин к себе в дом, в то время как били барабаны, созывая жителей деревни. Было проведено долгое совещание, и в конце

концов нам велели тихо отправиться в поля и принести арахис, бананы и маниок для воинов, которые приближались, а также коз и кур для белых. Все женщины пошли с корзинами, наполнили их и затем выложили на дорогу... Ниендо полагал, что, щедро одарив едой, сможет склонить пришельцев пройти мимо, не причинив нам зла. Так оно и случилось...

Когда белые люди и их воины ушли, мы снова вернулись к своей работе и надеялись, что они больше не вернуться; но они сделали это очень скоро. Как и раньше, мы принесли огромные кучи еды; но на этот раз Кибаланга не ушёл сразу, а расположился лагерем рядом с нашей деревней, и его солдаты пришли и украли всех наших кур и коз, а также вырвали наш маниок; но мы не возражали, пока они не причиняли нам вреда. На следующее утро... вскоре после того, как солнце поднялось над холмом, большая группа солдат вошла в деревню, и мы все зашли в дома и сели. Мы недолго сидели, когда солдаты ворвались внутрь, крича и угрожая Ниендо своими ружьями. Они врываются в дома и вытаскивали людей наружу. Трое или четверо пришли в наш дом и схватили меня, моего мужа Олеку и мою сестру Катингу. Нас вытащили на дорогу и связали вместе верёвками за шею, так что мы не могли убежать. Мы все плакали, потому что теперь знали: нас собираются увезти в рабство. Солдаты били нас железными стержнями от своих ружей и заставили идти к лагерю Кибаланги, который приказал связать женщин отдельно, по десять на одну верёвку, и мужчин таким же образом. Когда нас всех собрали — а среди нас было много людей из других деревень, которых мы теперь увидели, и много из Ваниендо, — солдаты принесли корзины с едой, чтобы мы их несли; в некоторых из них было копчёное человеческое мясо...

Затем мы отправились в путь, шагая очень быстро. Моя сестра Катинга держала ребёнка на руках и не была вынуждена нести корзину, а моего мужа Олеку заставили нести козу. Мы шли до полудня, когда остановились у ручья; мы были рады напиться, потому что очень мучились от жажды. У нас не было ничего поесть, так как солдаты ничего нам не давали... На следующий день мы продолжили путь и, остановившись в полдень, получили немного кукурузы и бананов, собранных возле деревни, жители которой бежали. Так продолжалось каждый день до пятого дня, когда солдаты забрали ребёнка у моей сестры и бросили его в траву, оставив умирать, а её заставили нести котелки, которые они нашли в покинутой деревне. На шестой день мы очень ослабли от голода, постоянного марша и сна на сырой траве, и мой муж, который шёл позади нас с козой, больше не мог держаться на ногах. Он сел у тропы и отказался идти дальше. Солдаты били его, но он всё равно отказывался двигаться. Тогда один из них ударил его прикладом по голове, и он упал на землю. Один из солдат схватил козу, а двое или трое других вонзили длинные ножи, прикреплённые к ружьям, в моего мужа. Я увидела, как брызнула кровь, и больше его не видела, потому что мы поднялись на холм, и он остался позади. Многие молодые мужчины были убиты таким же образом, а многих младенцев бросали в траву умирать... После десяти дней марша мы вышли к большой воде... и нас переправили на каноэ в белый город в Ньянгве».

Даже дети не были избавлены от суровости режима Леопольда. «Я считаю, что мы должны создать три детские колонии, – писал король 27 апреля 1890 года. – Одну в Верхнем

Конго, возле экватора, специально военную, с духовенством для религиозного обучения и профессионального образования. Одну в Леопольдвиле под управлением духовенства с солдатами для военной подготовки. Одну в Боме, подобную той, что в Лео... Цель этих колоний прежде всего — снабжать нас солдатами. Следовательно, мы должны построить три больших казармы в Боме, Лео и возле экватора... каждая должна вмещать 1500 детей и административный персонал». Вслед за приказом Леопольда генерал-губернатор через шесть недель распорядился своим окружным комиссарам «отныне собирать как можно больше мальчиков» для трёх государственных колоний.

С годами католические миссионеры создали ещё больше детских колоний. В отличие от протестантских миссионеров Конго, которые были иностранцами и не подчинялись Леопольду, католики в основном были бельгийцами и верными сторонниками короля и его режима. (Один бельгийский орден — отцы из Шёта — даже назвал миссионерскую станцию в честь директора одной из крупных концессионных компаний.) Леопольд щедро субсидировал католиков и иногда использовал эту финансовую силу, чтобы направлять священников почти как солдат в те районы, где он хотел усилить своё влияние.

Дети, которых брали под опеку эти миссионеры, были, теоретически, «сиротами». Но в большинстве целостных традиционных африканских обществ, с их сильным чувством расширенной семьи и клановых связей, понятие сиротства в европейском смысле не существовало. В той мере, в какой эти дети действительно были сиротами, это часто происходило потому, что их родители были убиты Force Publique. После своих смертоносных набегов по всей территории солдаты часто

забирали выживших, как взрослых, так и детей, и приводили их к католическим миссионерам.

«Мсье Девос предоставил нам пятерых заключённых, связанных за шею, чтобы они копали глину для производства кирпича, а также 25 рабочих из Ибембо для заготовки дров [сообщал католический священник своему начальству в 1899 году] ... С момента последнего конвоя детей из Бута прибыло ещё 25... Время от времени мы крестили некоторых из самых маленьких — на случай, если они окажутся при смерти... 1 июля мы отмечали национальный день Независимого государства Конго. В 8 часов утра, со всеми нашими детьми и флагом впереди, мы находились у подножия лестницы, высеченной в скале, чтобы приветствовать коменданта Девоса и его солдат. Возвращаясь в миссию, дети шли впереди, за ними следовали солдаты... Во время мессы. . . в момент возвышения воинства трубы сыграли команду: «Смирно!»».

Детские колонии обычно управлялись при помощи шикотты и цепи. В них часто вспыхивали мятежи. Если дети переживали похищение, перевозку и обучение, то большинство выпускников-мальчиков из государственных колоний становились солдатами — как того и требовал Леопольд. Эти государственные колонии были единственными школами, финансируемыми государством, для африканцев в Конго Леопольда.

Среди травмированных и истощённых детей, размещённых как в государственных, так и в католических колониях, болезни были широко распространены, а уровень смертности оставался высоким — нередко превышая 50 %. Тысячи других детей умирали во время долгих переходов к этим колониям. Из одной колонны из 108 мальчиков, отправленных в принудительный марш в государственную колонию в Боме в 1892–1893 годах,

лишь шестьдесят два добрались до места назначения; восемь из них умерли в течение последующих нескольких недель. Настоятельница одной католической колонии для девочек писала высокопоставленному чиновнику Конго в 1895 году: «Несколько маленьких девочек были настолько больны при прибытии, что... наши добрые сёстры не смогли их спасти, но все они имели счастье получить Святое Крещение; теперь они маленькие ангелы на небесах, которые молятся за нашего великого короля».

Несмотря на такие молитвы, у великого короля дома начались новые семейные неприятности. Его надежды увидеть свою дочь Стефанию императрицей Австро-Венгрии закончились катастрофой. Её муж, кронпринц Рудольф, оказался алкоголиком и морфинистом. В один из дней 1889 года он и его любовница были найдены мёртвыми в охотничьем домике — предположительно это было двойное самоубийство, хотя ещё долгие годы ходили слухи, что его убили политические враги. В любом случае Стефания больше не могла стать императрицей. Леопольд поспешил в Вену, куда бельгийский кабинет министров направил ему свои соболезнования. Король, находившийся тогда в разгаре кампании по сбору средств на развитие Конго, ответил: «Мы благодарим вас за любезные слова по поводу несчастья, которое нас постигло. Мы знаем чувства министров и рассчитываем на их сочувствие в этих ужасных испытаниях, которые Господь возложил на нас. Сделайте всё возможное, чтобы помочь месье Ван Нёсу [генеральному администратору финансов Конго] разместить ещё немного акций на рынке; это было бы для меня весьма желательно. Ещё раз благодарю вас».

Овдовевшая Стефания позже вышла замуж за венгерского графа, чья кровь, по мнению Леопольда, была недостаточно знатной; король называл своего зятя «этим пастухом». Как и в случае с её сестрой Луизой, Леопольд отказался вновь разговаривать со Стефанией.

Помимо непокорных дочерей, вызывавших у него беспокойство, у короля была и безумная сестра Карлота, заточённая в своём шато на окраине Брюсселя, которая, по-видимому, всё ещё считала себя императрицей Мексики. Её свадебное платье, увядшие цветы и пернатый мексиканский идол висели на стене. Сообщалось, что она проводила дни, разговаривая с куклой в натуральную величину, одетой в императорские одежды. Слухи о её бредовых фантазиях обеспечивали таблоидных редакторов по всей Европе бесконечным материалом. Однажды, когда её шато загорелось, Карлота якобы наклонилась с парапета и закричала огню: «Это запрещено! Это запрещено!»

Семейные проблемы, однако, никоим образом не могли подорвать энергию Леопольда. Казалось, он принимал как должное, что эта сторона его жизни будет несчастной; он жил ради других вещей, прежде всего ради своей роли короля-суверена Конго. И когда он оглядывался вокруг в 1890-е годы, он видел, что прежде безразличные бельгийцы начинают разделять его мечты о завоеваниях и славе. Пронизанные расовыми образами того времени, эти фантазии просачивались даже в рассказы для школьников. Один из них содержал прославление молодого бельгийского лейтенанта, погибшего как мученик во имя имперского дела при подавлении мятежа 1897 года:

«Ситуация была отчаянной. Всё казалось потерянным. Но храбрый Де Ле Курт бросился в бой.

Вместе с двумя другими бельгийскими офицерами и остатками их взводов он остановил «чёрных демонов», которые бросились в погоню за колонной... Зловещие чёрные головы, стиснув белые зубы, казалось, появлялись из-за каждого угла...

Он пал... Он понял, что наступил высший момент смерти... Улыбаясь, исполненный презрения, величественный, думая о своём Короле, о своём Знамени... он в последний раз взглянул на кричащую орду «чёрных демонов» ...

Так Шарль Де Ле Курт погиб, в расцвете юности, перед лицом врага.»

Это были годы, когда, к огорчению многих молодых европейцев, в Европе царил мир. Для молодого человека, ищущего сражений, особенно против слабо вооружённого врага, Конго было именно тем местом. Для белого человека Конго также было местом, где можно разбогатеть и обрести власть. В качестве окружного комиссара вы могли управлять округом размером со всю Голландию или Бельгию. Будучи начальником станции, вы могли находиться в сотне миль от ближайшего белого чиновника; вам позволялось взимать любые налоги — трудом, слоновой костью или чем-либо ещё, собирать их так, как вы захотите, и назначать любые наказания по своему усмотрению. Если вы перегибали палку, то наказанием, если оно вообще было, становилась лишь лёгкая пощёчина. Начальник станции в Манянге, на больших порогах, который в 1890 году забил до смерти двух своих личных слуг, был оштрафован всего на пятьсот франков. Главное заключалось в том, чтобы поток слоновой кости непрерывно шёл в Бельгию. Чем больше вы отправляли, тем больше зарабатывали. «Да здравствует Конго, ничего подобного нет!» — писал один молодой офицер своей семье в 1894 году. — «У нас здесь свобода, независимость и жизнь с широким горизонтом.

Здесь ты свободен и не просто раб общества... Здесь ты всё! Воин, дипломат, торговец!! Почему бы и нет!» Для таких людей, как и для низкорождённого Стэнли, Конго предоставляло возможность большого социального подъёма. Тот, кому в Европе была уготована судьба мелкого банковского клерка или водопроводчика, мог здесь стать военачальником, торговцем слоновой костью, охотником на крупную дичь и владельцем гарема.

Леон Ром, например, родился в провинциальном бельгийском городе Монс. В шестнадцать лет он поступил на военную службу, но его образования было недостаточно, чтобы стать офицером. Затем он работал бухгалтером в фирме таможенных брокеров, однако быстро устал от этой работы. В 1886 году, в возрасте двадцати пяти лет, он отправился в Конго в поисках приключений. В то время, когда на всей территории находилось всего несколько сотен белых, его карьера развивалась стремительно. Вскоре Ром занял должность окружного комиссара в Матади и в этом качестве председательствовал на первой гражданской церемонии бракосочетания белой пары в Конго. Затем он недолго служил судьёй. Поскольку в огромной колонии было так мало белых чиновников, чёткой границы между гражданскими и военными функциями не существовало, и Рома вскоре привлекли к обучению чернокожих солдат Force Publique. Жалованье также было хорошим: получив чин капитана, он зарабатывал на 50 % больше, чем полковник бельгийской армии на родине.

Получив различные награды, Ром прославился эпизодом в битве с «арабами», когда он дерзко вошёл в их крепость, чтобы вести переговоры о капитуляции. Согласно одному рассказу: «Ром вызвался добровольно... Он отправился безоружным, в сопровождении лишь переводчика и, подойдя к месту встречи,

увидел все арабские войска, сосредоточенные за укреплениями, с ружьями наготове. Посланник с Кораном султана как пропуском пригласил его войти в крепость. Несмотря на опасения переводчика, который почувствовал ловушку, Ром решительно проник в стан врага. После двух часов переговоров он вышел из этого логова, неся арабский флаг как доказательство капитуляции». Собственное описание Рома ещё драматичнее: он одолел хитрых арабов только благодаря своей *attitude décidée* («решительной манере»), тогда как испуганный и дрожащий переводчик воскликнул: «Господин, они убьют вас!» Было ли принятие этой капитуляции на самом деле столь рискованным — мы не знаем. Одним из преимуществ службы офицером *Force Publique* было то, что ближайший журналист находился обычно за тысячи миль, и поэтому вы с несколькими друзьями могли в значительной мере сами формировать летопись своих подвигов.

Повышение Рома выражалось не только в воинских чинах, но и в интеллектуальных атрибутах. Каждый раз, возвращаясь в Европу, он привозил с собой многочисленные коллекции бабочек и со временем был избран членом Энтомологического общества Бельгии. Такие почести, как это звание, а также офицерский меч и фуражка с конголезской звездой, резко отличались от жизни провинциального бухгалтера.

Под восторженно пересказываемыми историями о богатстве и славе, которые могли ожидать молодых белых людей в Конго, обычно скрывалось нечто иное: хитрый намёк на то, что свою буржуазную мораль можно оставить в Европе. (Как мы увидим далее, это относилось и к Леону Рому.) Для европейцев того времени колонии по всему миру становились удобным способом побега. Киплинг писал:

Отправь меня куда-нибудь восточнее Суэца,
 где лучшее похоже на худшее,
 где нет никаких Десяти заповедей
 и где человек может утолить жажду.

В Конго Десять заповедей соблюдались ещё меньше, чем в большинстве колоний. Бельгия была маленькой страной, Конго — огромным, а смертность среди белых в тропической Африке оставалась печально высокой. (Власти тщательно старались скрывать такие данные, но до 1895 года погибала треть белых чиновников конголезского государства; некоторые другие умирали уже в Европе — от последствий перенесённых болезней.) Поэтому, чтобы найти достаточно людей для обслуживания своей обширной сети речных постов в землях, заражённых малярией, Леопольд вынужден был набирать не только бельгийцев, таких как Леон Ром, но и молодых белых со всей Европы, привлекая их «быстрыми способами разбогатеть», например, выгодной комиссионной системой за сбор слоновой кости. Многие из тех, кто приезжал работать в Конго, были похожи на наёмников Французского Иностранного легиона или охотников за удачей, устремившихся на два великих золотых лихорадочных прииска того времени — в Южной Африке и на Клондайке. Для европейцев Конго объединяло в себе и золотую лихорадку, и Иностраннный легион.

Первая волна агентов Леопольда включала множество закалённых людей, бежавших от семейных проблем, банкротства или алкоголизма. Настроение того времени хорошо выражала популярная песня. Один чиновник в своих мемуарах описывает, как, едва прибыв в Конго, он не мог спать всю ночь из-за пьяных

агентов, которые без конца распевали её в баре его захудалого портового отеля. Первая строфа звучала так:

Y en a qui font la mauvais' tête
A leurs parents;
Qui font les dett', qui font la bête,
Inutil'ment:
Qui, un beau soir, de leur maîtresse
Ont plein le dos.
Ils fich'le camp, plein de tristesse
Pour le Congo. . . .

(Есть такие, кто срывается на своих семьях,
Кто влезает в долги, кто попусту дурачится,
Кто в один прекрасный вечер устаёт от своих девушек.
И они уезжают, полные печали, в Конго. . . .)

Тем временем африканцы в Конго пели совсем другие песни.
Один миссионер записал такую:

О мать, как мы несчастны! . . .
Но солнце убьёт белого человека,
Но луна убьёт белого человека,
Но колдун убьёт белого человека,
Но тигр убьёт белого человека,
Но крокодил убьёт белого человека,
Но слон убьёт белого человека,
Но река убьёт белого человека.

Form No. 1.

THE WESTERN UNION TELEGRAPH COMPANY.

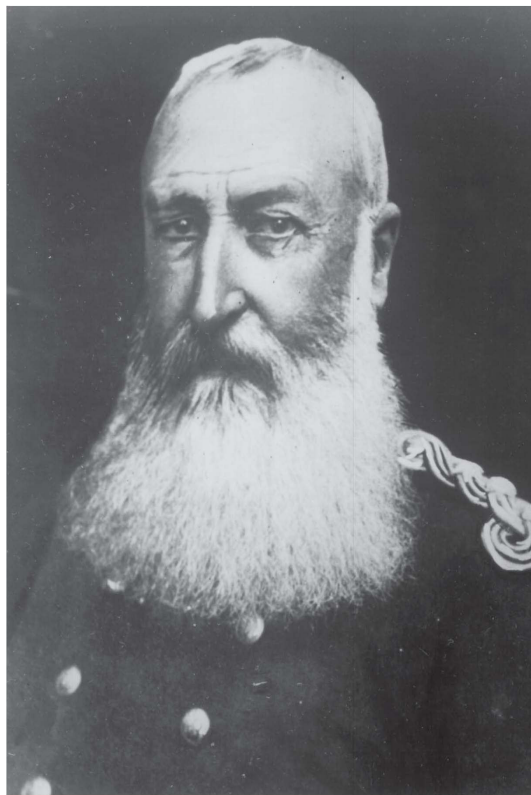
This Company TRANSMITS and DELIVERS messages only on conditions limiting its liability, which have been assented to by the sender of the following message. Errors can be guaranteed against only by repeating a message back to the sending station for correction, and the company will not hold itself liable for errors or delays in transmission or delivery of Unrepeated Messages, beyond the amount of tolls paid thereon, nor in any case where the claim is not presented in writing within sixty days after sending the message.

This is an UNREPEATED MESSAGE, and is delivered by request of the sender, under the conditions named above.

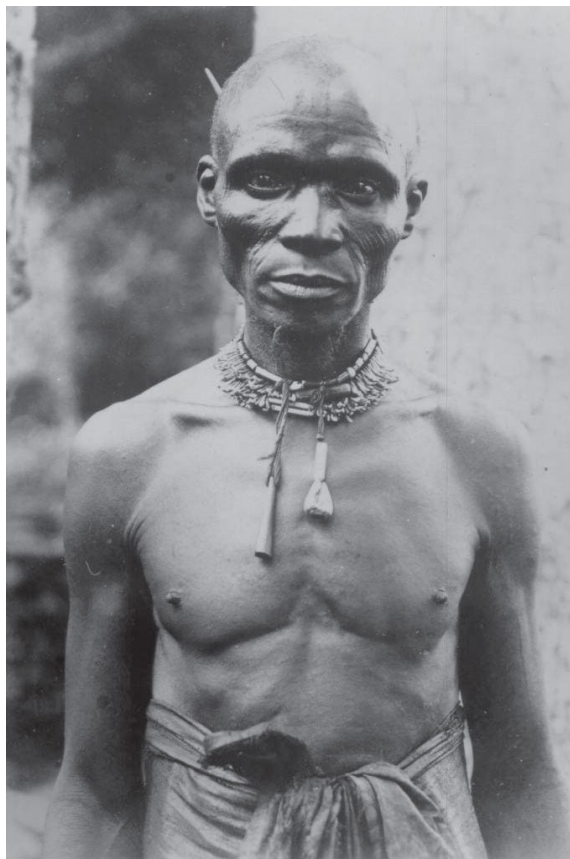
THOS. T. ECKERT, General Manager. NORVIN GREEN, President.

NUMBER	SENT BY	RECD BY	CHECK
59 my	149	5	21 Collect 46
NEW ORLEANS.		1255 — PM DEC. 8, 1888.	
Received at			
Dated Brussels Via Washington 7 Via Charleston S.C.			
To Gen Sanford			
(459)			
Charles Hotel no			
Enchanted with smile Before beginning			
negotiations please wire what you know			
about disposition of Senate will			
Williams			

Зашифрованная телеграмма из Брюсселя с поздравлениями Сэнфорду по поводу его лоббирования в Вашингтоне. «Эмиль» — это президент Честер А. Артур, который только что похвалил Леопольда в речи перед Конгрессом. «Уильям» — главный помощник Леопольда в Конго, полковник Максимилиан Штраух.



Король Леопольд II.



Тва Мве, вождь племени Кванго. Местные лидеры часто сталкивались с выбором: либо поставлять своих людей в качестве рабов для сбора каучука, либо быть взятыми в заложники или убитыми.



Пункт сбора слоновой кости в Конго, ок. 1890 г. Слоновые бивни, купленные у африканцев за гроши или конфискованные под угрозой оружия, приносили высокую прибыль в Европе как сырье для производства всего, от искусственных зубов до клавиш фортепиано.



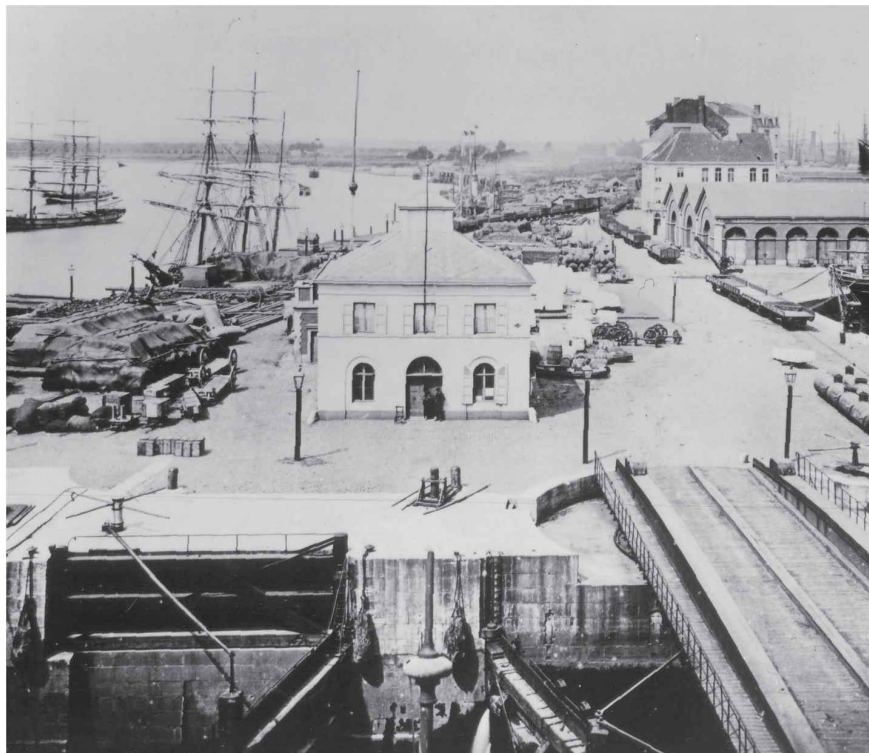
Джозеф Конрад.



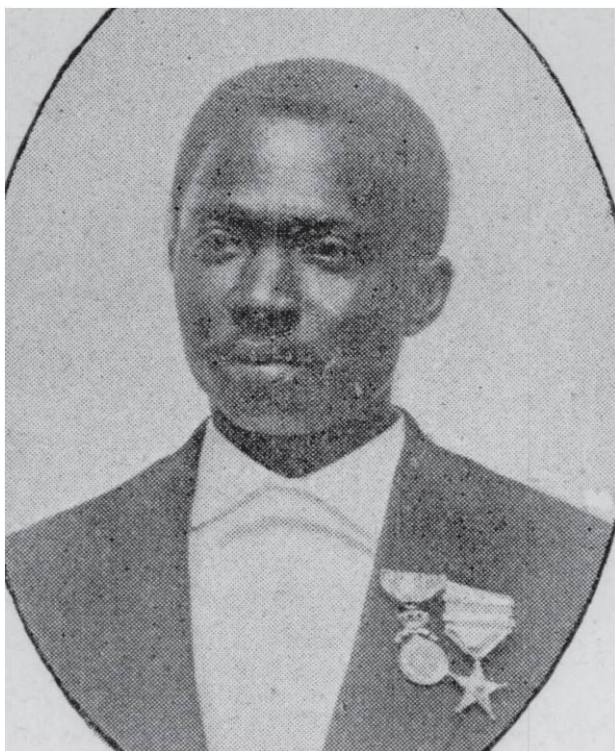
Ром (с винтовкой) после охоты.



Э. Д. Морель.



*Доки в Антверпене, где у молодого Э. Д. Мореля пробудились
подозрения о рабском труде в Конго.*



Хезекия Эндрю Шану. Несмотря на то, что он был награжден медалями за службу режиму, он тайно выступил против него, отправил важные доказательства реформаторам за границей и был доведен до самоубийства чиновниками Леопольда, когда они обнаружили это.



Преподобный Уильям Х. Шеппард, пресвитерианский миссионер, исследователь и первый посторонний человек, посетивший столицу королевства Куба.

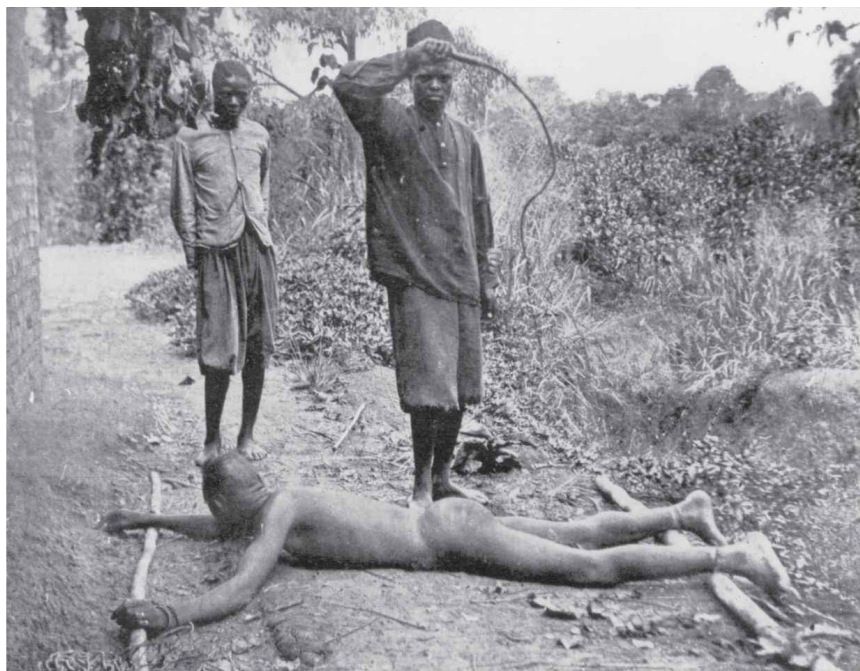
Сочинения Шеппарда, в которых он документировал жестокость конголезского государства, сделали его объектом судебного преследования и суда.



Нсала из района Вала смотрит на отрезанные руку и ногу своей пятилетней дочери Боали, ставшей жертвой милиции Англо-бельгийской компании по производству каучука (A.B.I.R.).



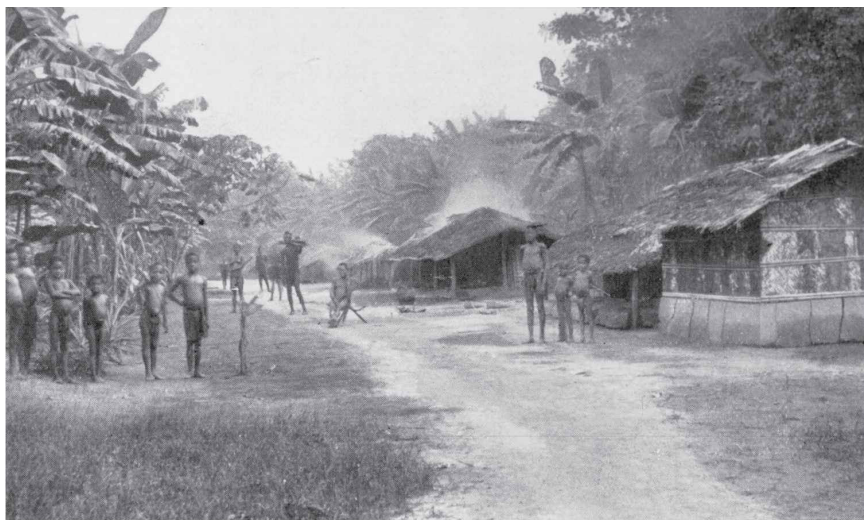
Два молодых человека из района Экватора. Руки сидящего Мола были разрушены гангреной после того, как солдаты слишком туго завязали их. Правая рука стоящего Йока была отрезана солдатами, которые хотели объявить его убитым.



Использование шикотта. Обратите внимание на кучу цепей в левом нижнем углу.



Женичины-заложницы, содержащиеся под стражей, чтобы заставить их мужей идти в тропический лес за диким каучуком.



Деревня Баринга. Вождь сидит на табурете в центре; его дом находится справа.

Дым от приготовления пищи поднимается над крышами других домов.



Баринга после того, как она была снесена, чтобы освободить место для каучуковой плантации. Когда запасы дикого каучука стали иссякать, режим приказал посадить больше каучуковых деревьев. Часто было дешевле использовать существующую вырубку, например, деревню, чем вырубать лес.

.. GREAT ..
CONGO DEMONSTRATION.

THE
 Protest of Christian England
 .AT THE..
ROYAL ALBERT HALL

.. ON ..
Friday, November 19, 1909,

AT 7.30 P.M.

Chairman: HIS GRACE
THE ARCHBISHOP OF CANTERBURY.

SPEAKERS:

The Right Rev. **THE LORD BISHOP OF LONDON,**
Rev. Dr. JOHN CLIFFORD, M.A.
 The Right Rev. **THE LORD BISHOP OF OXFORD,**
Rev. J. SCOTT LIDGETT, M.A., D.D.
Rev. C. SILVESTER HORNE, M.A.

Supported by

*The Lord Bishops of Rochester, Birmingham, Manchester, Carlisle,
 Ely, Newcastle, St. Asaph, Truro, Wakefield, Exeter, Gloucester,
 Lichfield, Liverpool, Durham;*

Dr. CAMPBELL MORGAN, Rev. J. E. RATTENBURY, Dr. MONRO GIBSON,
 Rev. D. J. HILEY, Rev. SILAS K. HOCKING, Rev. J. H. SHAKESPEARE,
 Rev. J. D. JONES, Rev. GEO. HOOPER, Rev. THOMAS YATES,
 Prof. A. E. GARVIE, Dr. HORTON, Rev. F. B. MEYER.

RESERVED SEATS, Price 5/. 2/6 and 1/.

**FREE RESERVED
 SEAT TICKETS**

may be obtained (by enclosing 1d. Stamp) from TRAVERS BUXTON, Esq.
 Hon. Treasurer, 51, Denison House, Vauxhall Bridge Road, S.W., who
 will gladly welcome offers of financial assistance.

THE ALBERT HALL is Ten minutes' walk from either of the following Stations
HIGH STREET KENSINGTON, SOUTH KENSINGTON,
 (both on the District Railway.)

BUSES from all parts of London pass the Door.



Эта карикатура появилась в Германии в сопровождении нескольких стишков о страсти Леопольда к отрезанию как черных голов, так и купонов облигаций.

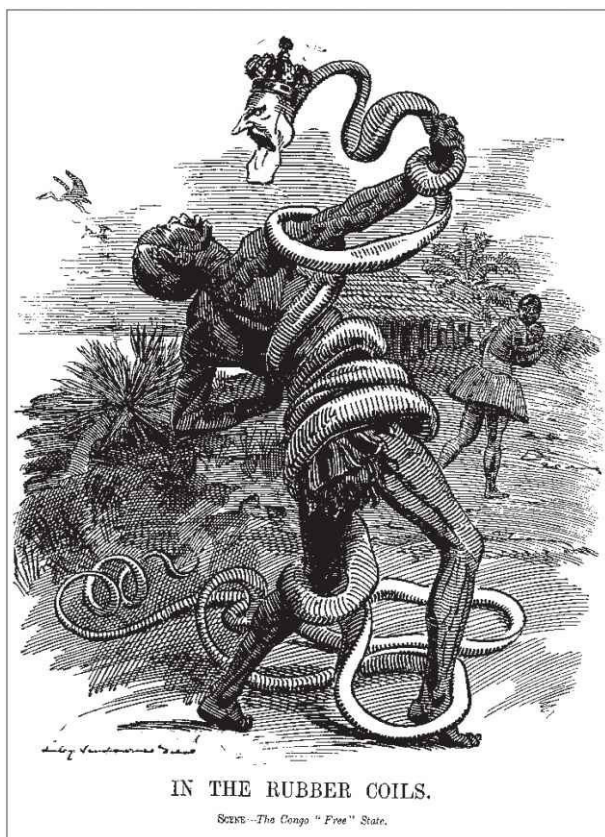


THE APPEAL.

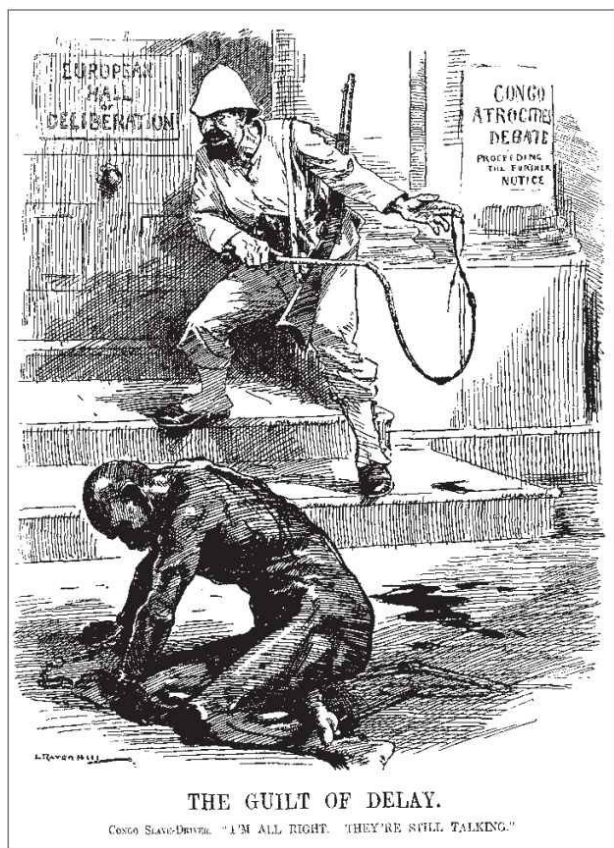
"IN THE NAME OF ALMIGHTY GOD.—All the Powers exercising sovereign rights, or having influence in the said territories undertake to watch over the preservation of the native races, and the amelioration of the moral and material conditions of their existence."

Article VI. The Act of Berlin, 1885.

Реформаторы Конго часто ссылались на Берлинское соглашение 1885 года, одно из многих невыполненных обещаний в отношении обращения с африканцами.



Карикатура в журнале Punch, 1906.



Карикатура в журнале Punch, 1909.

ВСТРЕЧА С ГОСПОДИНОМ КУРЦЕМ

В начале августа 1890 года, спустя несколько недель после того, как он написал своё гневное Открытое письмо королю Леопольду II, Джордж Вашингтон Уильямс завершил долгий обратный путь вниз по реке Конго к станции Киншаса, на Стэнли-Пуле. Либо на воде самого озера, либо стоя на берегу у Киншасы, пароход Уильямса пересёкся с судном, начинавшим своё путешествие вверх по течению, — *Roi des Beiges*, длинным коробкообразным колёсным пароходом с трубой и рулевой рубкой на верхней палубе. Если бы Уильямсу удалось разглядеть команду другого судна, он увидел бы коренастого, чернобородого офицера с глазами, которые, как видно на сохранившихся фотографиях, казались навсегда прищуренными от тропического солнца. Недавно прибывший в Конго, молодой офицер находился бы рядом с капитаном на протяжении всего пути вверх по реке, изучая фарватер, чтобы подготовиться к командованию собственным пароходом.

Младший офицер во многом был типичным представителем белых, отправлявшихся в то время в Конго: молодой холостяк, нуждавшийся в работе, жаждавший приключений и имевший за плечами непростое прошлое. Конрад Корзенёвский, уроженец Польши, вырос с образом Африки, навеянным туманным очарованием неизвестного: «Когда мне было около девяти лет... разглядывая карту Африки того времени и положив палец на белое пятно, обозначавшее тогда ещё неразгаданную тайну этого континента, я сказал себе: „Когда вырасту, я туда отправлюсь“».

В юности, часть которой он провёл во Франции, у него были проблемы с долгами; по его словам, он был замешан в торговле оружием и предпринял попытку самоубийства. Затем он провёл более десяти лет в качестве штурмана в британском торговом флоте, постепенно осваивая английский язык, хотя и сохранил сильный польский акцент. В начале 1890 года Корзенёвский тщетно искал место капитана. В Лондоне, где на каждом углу обсуждали только что завершившуюся экспедицию Стэнли к Эмину-паше, мысли его вновь вернулись к экзотической земле детских фантазий. Он отправился в Брюссель, подал заявление на работу на реке Конго и вернулся в Бельгию на заключительное собеседование именно в тот момент, когда Стэнли завершал свой торжественный визит в город.

В беседах, предшествовавших его новой работе, тридцатидвухлетний Корзенёвский показывал, что, как и почти все в Европе, он считал миссию Леопольда в Африке благородной и «цивилизаторской». Затем он попрощался с родственниками и отправился в Конго на корабле, который вёз первую партию рельсов и шпал для новой железной дороги. Как и другие белые, направлявшиеся вглубь страны, ему сначала предстоял долгий переход от Матади в обход порогов, в составе каравана чёрных носильщиков. Добравшись, наконец, до реки, он заполнил свой дневник заметками делового моряка, делая длинные записи о мели, пунктах дозаправки и прочих деталях, которых не было в примитивных навигационных картах того времени. Почти десятилетие должно было пройти, прежде чем этот начинающий капитан парохода смог перенести на бумагу и другие особенности Конго, не показанные на карте, и тогда, разумеется, мир уже знал его как Джозефа Конрада.

В общей сложности он провёл в Конго около шести месяцев, взяв с собой частично написанную рукопись своего первого романа — Глупость Алмайера. Тысячекилометровое «ученичество» — путешествие вверх по реке от Стэнли-Пула до Стэнли-Фолс — заняло всего четыре недели, что по тем временам считалось быстрым переходом. Песчаные отмели, скалы и мелководье делали навигацию трудной, особенно в верхнем течении реки в сухой сезон, а тогда именно он и был. «Приглушённый гул Стэнли-Фолс висел в тяжёлом ночном воздухе последнего судоходного отрезка Верхнего Конго, — писал он позднее, — и я сказал себе с благоговейным трепетом: “Вот оно, самое место моего мальчишеского хвастовства”. . . . Какая развязка для идеализированных грёз мальчишеской мечты!»

У Стэнли-Фолс и Конрад, и капитан парохода заболели. Конрад поправился раньше, и на первом участке обратного пути вниз по течению — когда судно шло почти вдвое быстрее, чем прежде, — именно он командовал *Roi des Belges*. Но спустя несколько недель после окончания плавания он расторг контракт и начал долгий путь обратно в Европу.

Несколько горьких разочарований разрушили мечты Конрада. Вначале у него сложились крайне плохие отношения с одним из чиновников компании, на которую он работал, и это означало, что командование пароходом ему так и не достанется. Затем, после спуска вниз по реке, он снова заболел — на этот раз малярией и дизентерией, — и был вынужден поправляться на американской баптистской миссии у Стэнли-Пула под присмотром шотландского миссионера-врача. Он оставался настолько слаб, что его пришлось нести обратно к побережью, и здоровье его так никогда полностью не восстановилось. Наконец, он был настолько потрясён

жадностью и жестокостью белых, которых видел в Конго, что его представления о человеческой природе изменились навсегда. Позднее он говорил своему другу, критику Эдварду Гарнетту, что до тех шести месяцев, проведённых в Африке, у него «не было ни одной мысли в голове».

После того как Конрад восемь лет вынашивал свои воспоминания о Конго, он превратил их в «Сердце тьмы» — вероятно, самый часто переиздаваемый короткий роман на английском языке. Морские заметки в его блокноте офицера корабля — «Проход Лулонга... NbyE до NNE. С левого борта: коряги. Промер в футах: 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2» — теперь превращаются в прозу, непревзойдённую никаким другим литературным путешественником по Конго за все эти годы:

«Подниматься вверх по той реке было всё равно что возвращаться к самым истокам мира, когда растительность буйствовала на земле, а большие деревья были царями. Пустой поток, великая тишина, непроходимый лес. Воздух был тёплый, густой, тяжёлый, вялый. В блеске солнечного света не было радости. Длинные участки водного пути тянулись пустынными в мрак затенённых далей. На серебристых отмелях бок о бок грелись бегемоты и аллигаторы. Широкие воды текли сквозь скопление лесистых островов. На той реке легко было сбиться с пути, как в пустыне, и весь день налетать на мели, пытаясь найти фарватер, пока не начинало казаться, что ты заколдован и навеки отрезан от всего, что когда-либо знал».

Марлоу, рассказчик «Сердца тьмы» и альтер эго Конрада, нанят торговой компанией, занимавшейся слоновой костью, чтобы вести пароход вверх по безымянной реке, форма которой на карте напоминала «огромную распрямлённую змею, с головой

в море, телом, спокойно изогнутым вдали над обширной страной, и хвостом, теряющимся в глубинах суши». Его пункт назначения — пост, где находился выдающийся и амбициозный главный агент компании, мистер Курц. Выясняется, что Курц собрал легендарное количество слоновой кости, но как узнаёт Марлоу по дороге, по слухам, он также погрузился в неопределённое «дикарство». Пароход Марлоу переживает нападение «чёрных» и берёт на борт партию слоновой кости и больного Курца, но главный агент, рассуждая о своих грандиозных планах, умирает на борту во время плавания вниз по течению.

Набросанный всего несколькими смелыми штрихами, образ Курца всё же остался в памяти миллионов читателей: одинокий белый агент далеко вверх по великой реке, с его мечтами о величии, с огромными запасами драгоценной слоновой кости и своим уделом, вырезанным в африканских джунглях. Но, пожалуй, более всего мы запоминаем Марлоу на пароходе, глядящего в бинокль на то, что он принимает за декоративные набалдашники на верхушках столбов перед домом Курца — и затем обнаруживающего, что каждый из них это «чёрная, высохшая, впалая голова с закрытыми веками, казавшаяся спящей на вершине того столба, а на сморщенных сухих губах белела узкая линия зубов».

Учителя старших классов и университетские профессора, обсуждавшие эту книгу в тысячах аудиторий на протяжении многих лет, склонны делать это в терминах Фрейда, Юнга и Ницше; классического мифа, викторианской невинности и первородного греха; постмодернизма, постколониализма и постструктурализма. Европейские и американские читатели, не готовые признать геноцидный масштаб убийств в Африке на рубеже века, оторвали Сердце тьмы от его исторического контекста. Мы читаем его

как притчу «на все времена и для всех мест», а не как книгу об одном конкретном времени и месте. В двух из трёх экранизаций, наиболее известной из которых стал фильм Фрэнсиса Форда Coppola Апокалипсис сегодня, действие происходило вовсе не в Африке. Но сам Конрад писал: «Сердце тьмы — это опыт... доведённый чуть дальше (и лишь совсем чуть-чуть), чем факты в действительности». Как бы богаты ни были уровни смысла этой книги как литературного произведения, для наших целей важно то, насколько точным и детализированным описанием она является «фактов в действительности»: Конго Леопольда в 1890 году, когда эксплуатация территории начинала разворачиваться по-настоящему.

В романе Марлоу, как и сам Конрад, начинает своё путешествие с долгого обхода порогов: «Лёгкий звон позади заставил меня обернуться. Шесть чёрных шли гуськом, тяжело поднимаясь по тропе. Они шли прямо и медленно, держа на головах небольшие корзины, наполненные землёй, и звон совпадал с их шагами... Я видел каждое ребро; суставы их конечностей были словно узлы на верёвке. На шее у каждого был железный ошейник, и все они были соединены цепью, чьи петли ритмично звенели между ними». Это были рабочие, начинавшие строительство леопольдовской железной дороги.

Через несколько страниц Марлоу описывает место, куда несколько голодающих железнодорожных рабочих отползли умирать. Дальше по тропе он видит «то и дело носильщика, умершего в упряжи, покоящегося в высокой траве у обочины, с пустой тыквой для воды и длинным посохом рядом», и отмечает загадочное «тело негра средних лет с пулевым отверстием во лбу». Это просто запись того, что сам Конрад видел во время

своего обхода порогов к Стэнли-Пулу. В дневниковой записи от 3 июля 1890 года он отметил: «Встретил чиновника Государства за инспекцией; несколькими минутами позже увидел на месте стоянки мёртвое тело баконго. Застрелен? Ужасный запах». На следующий день: «Увидел ещё одно мёртвое тело, лежавшее у тропы в позе задумчивого покоя». А 29 июля: «Сегодня на дороге прошёл мимо скелета, привязанного к столбу».

Во время обхода порогов Марлоу также описывает, как люди бежали, чтобы избежать призыва в носильщики: «Население давно уже исчезло. Ну, если бы множество таинственных “негров”, вооружённых всевозможным страшным оружием, вдруг начали путешествовать по дороге [в Англии] между Дилом и Грейвсендом, хватая крестьян то справа, то слева, чтобы те несли для них тяжёлые грузы, я думаю, каждая ферма и каждая хижина в округе очень скоро опустела бы... Я проходил через несколько покинутых деревень». Это тоже было тем, что сам Конрад видел. Носильщики каравана, с которым путешествовал писатель, во время похода были близки к мятежу. Всего лишь три с половиной года спустя по этому самому маршруту разразилось ожесточённое восстание, когда вождь Нзансу и его люди вели своё долгое, обречённое сражение против Force Publique.

Описывая караваны носильщиков, шедшие по этой тропе, Марлоу даёт чёткое резюме экономики Леопольда: «поток... дрянного ситца, бус и медной проволоки уходил в глубины тьмы, и в ответ возвращалась драгоценная струйка слоновой кости». В 1890 году это по-прежнему оставалось самым ценным товаром колонии. «Слово “слоновая кость” звучало в воздухе, шепталось, вздыхалось. Можно было подумать, что они молились на него», — говорит Марлоу. Он даже упоминает систему комиссионных

Леопольда для агентов: «Единственным настоящим чувством было желание получить назначение на торговый пост, где можно было достать слоновую кость, чтобы зарабатывать проценты».

Конрад оставался верен реальности, создавая харизматическую и убийственную фигуру в центре своего романа — возможно, самого известного литературного злодея XX века. Образ мистера Курца был явно навеян несколькими реальными людьми, среди которых Жорж Антуан Кляйн, французский агент фирмы по заготовке слоновой кости на Стэнли-Фолс. Смертельно больной, Кляйн умер на борту корабля — так же, как Курц в романе, — когда Конрад вёл вниз по реке *Roi des Belges*. Другим прообразом, более близким к Курцу по характеру, был майор Эдмунд Барттелот, человек, которому Стэнли оставил командование тыловой колонной во время экспедиции к Эмину-Паше. Именно Барттелот, напомним, сошёл с ума, начал кусать, пороть и убивать людей и в конце концов был убит. Ещё одним прототипом Курца был бельгиец Артюр Ходистер, прославившийся своим гаремом африканских женщин и сбором огромных объёмов слоновой кости. В конце концов Ходистер слишком агрессивно вторгся на территорию местных афро-арабских вождей и торговцев слоновой костью, которые схватили и обезглавили его.

Однако легион биографов и критиков Конрада почти полностью проигнорировал человека, который более всего напоминает Курца. И это тот, с кем мы уже встречались, — лихой капитан Леон Ром из *Force Publique*. Именно у Рома Конрад мог позаимствовать отличительную черту своего злодея: коллекцию африканских голов, окружавших дом Курца.

«Внутренняя станция» в «Сердце тьмы», место, на которое Марлоу смотрит в бинокль, лишь чтобы увидеть коллекцию

усохших голов африканских «повстанцев» Курца, является конечной точкой путешествия Марлоу вверх по реке, подобно тому, как Стэнли-Фолс был для Конрада. В 1895 году, через пять лет после того, как Конрад посетил этот пост, Леон Ром был там начальником станции. Британский исследователь-журналист, проходивший через Стэнли-Фолс в том году, описал последствия карательной военной экспедиции против некоторых африканских повстанцев: «Многие женщины и дети были захвачены, и двадцать одна голова была доставлена к порогам и использована капитаном Ромом в качестве украшения цветочной клумбы перед его домом!» Если Конрад пропустил этот рассказ, появившийся в широко читаемом *Century Magazine*, то он почти наверняка обратил внимание, когда *The Saturday Review* — журнал, которым он восхищался и который регулярно читал, — повторил эту историю в номере от 17 декабря 1898 года. Эта дата пришлась всего на несколько дней до того, как Конрад начал писать «Сердце тьмы».

Более того, в Конго Ром и Конрад могли встретиться.

2 августа 1890 года Конрад, в сопровождении ещё одного белого и каравана носильщиков, завершил свой месячный переход вглубь страны от побережья. За пять миль до того, как его караван достиг деревни Киншаса на Стэнли-Пуле, где ждал *Roi des Belges*, ему предстояло пройти через соседний пост Леопольдвиль. Эти два скопления хижин под соломенными крышами были всего в полутора часах ходьбы друг от друга. (Вскоре они разрослись и слились в один город, названный бельгийцами Леопольдвиль и известный сегодня как Киншаса.) Когда караван Конрада, пробираясь по тропе у берега реки, проходил через Леопольдвиль, начальником станции там был Леон Ром. Конрад не сделал записи

в своём дневнике 2 августа, а тетрадь Рома, каллиграфическим почерком добросовестно фиксирующая каждый набег или кампанию, которые могли принести ему ещё одну медаль, не упоминает об экспедициях вне Леопольдвилля в то время. Если Ром находился на месте, он, несомненно, поприветствовал бы караван с европейскими новичками, ведь в Леопольдвиле и Киншасе было всего несколько десятков белых, и новые прибывали не каждый день. Что — сказанное или несказанное — произошло между Ромом и Конрадом, мы никогда не узнаем. Коллекция из двадцати одной африканской головы у Рома находилась в другом месте и в другое время, через полдесятилетия, но если Конрад прочёл о Роме в декабре 1898 года, возможно, он связал это с молодым офицером, которого встретил в Конго.

«Сердце тьмы» — одно из самых язвительных обличений империализма во всей литературе, но его автор, что любопытно, считал себя убеждённым империалистом, когда дело касалось Британии. Конрад ясно осознавал, чем было изнасилование Конго Леопольдом: «Ужас! Ужас!» — говорит его персонаж Курц на смертном одре. А двойник Конрада, Марлоу, размышляет о том, что «завоевание земли, которое в основном означает её отнятие у тех, у кого иной цвет кожи или чуть более плоские носы, чем у нас, не является приятным делом, если задуматься об этом слишком серьёзно». Тем не менее, почти на одном дыхании Марлоу рассказывает о том, что британские территории, окрашенные на карте мира в красный цвет, «приятно видеть в любое время, потому что знаешь, что там ведется какая-то реальная работа»; британские колонизаторы были «носителями искры священного

огня». Марлоу говорил от лица Конрада, чья любовь к своей приёмной стране не знала границ: Конрад считал, что «свобода... может быть найдена только под английским флагом по всему миру». И за несколько лет до того, как он разоблачил европейскую жажду африканских богатств в своём романе, он вложил почти все свои сбережения в золотой рудник в Южной Африке.

Конрад был человеком своей эпохи и своего места и в других отношениях. Он был отчасти пленником того, что Марк Твен в ином контексте назвал «представлением белого человека о том, что он менее дик, чем другие дикари». «Сердце тьмы» в последние годы подверглось вполне справедливой критике из-за изображения чёрных персонажей, которые произносят не более нескольких слов. На самом деле они вовсе не говорят: они мычат; они поют; они издают «гул странных заклинаний» и «бурный и страстный вопль»; они извергают «потоки удивительных слов, которые не походили ни на какие звуки человеческого языка... словно ответы какой-то сатанинской литании». Истинный посыл книги, как утверждал нигерийский писатель Чинуа Ачебе, таков: «Держитесь подальше от Африки — или же! Мистеру Курцу... следовало бы прислушаться к этому предупреждению, и крадущийся ужас в его сердце остался бы на месте, прикованный к своему логову. Но он по глупости открыл себя дикой, неотразимой притягательности джунглей — и вот, тьма настигла его».

Как бы оно ни было насыщено викторианским расизмом, «Сердце тьмы» остаётся величайшим художественным изображением европейцев в борьбе за Африку. Когда Марлоу прощается со своей тётей перед новой работой, «она говорила о “приучении этих невежественных миллионов к отказу от их ужасных привычек” до такой степени, что, честное слово, мне

стало весьма неловко. Я осмелился намекнуть, что Компания управляется ради прибыли». Белые люди Конрада совершают своё изнасилование континента, будучи убеждены, что они возвышают туземцев, приносят цивилизацию, служат «благородному делу».

Все эти иллюзии воплощены в образе Курца. Он одновременно и убийца, собирающий головы, и интеллектуал — «посланец... науки и прогресса». Он художник, автор «небольшого эскиза маслом» женщины с факелом, который Марлоу находит в Центральной станции. Он и поэт, и журналист, автор, среди прочего, семнадцатистраничного доклада — «дрожащего от красноречия... прекрасного образца письма» — для Международного общества по искоренению варварских обычаев. В конце этого доклада, полного возвышенных чувств, Курц дрожащей рукой приписывает: «Искореняйте всех тварей!»

В интеллектуальных претензиях Курца Конрад уловил одну показательную черту белого проникновения в Конго, где завоевание пером и чернилами так часто подтверждало завоевание ружьём и пулемётом. С тех пор как Стэнли с боем прошёл вниз по реке Конго, а затем поспешно написал двухтомный бестселлер, сборщики слоновой кости, солдаты и путешественники пытались подражать ему — в книгах и в тысячах статей для журналов географических обществ и изданий о колониальных исследованиях, которые в конце XIX века были столь же популярны, как National Geographic в Соединённых Штатах сегодня. Казалось, что сам акт перенесения Африки на бумагу был окончательным доказательством превосходства европейской цивилизации. Эта сторона Курца — ещё одна причина подозревать, что, создавая его, Конрад частично вдохновлялся Леоном Ромом. Как мы видели, Ром был

начинающим энтомологом. Он также был художником: когда он не собирал бабочек или человеческие головы, он писал портреты и пейзажи, пять из которых сохранились и поныне в бельгийском музее. Самое интересное из всего — он был писателем.

В 1899 году Ром, вернувшись тогда уже в Бельгию, опубликовал собственную книгу. *Le Nègre du Congo* — странный небольшой томик, задорный, высокомерный и предельно поверхностный. Короткие главы охватывают темы «*Le Nègre en général*», чёрная женщина, еда, домашние животные, местная медицина и так далее. Ром был страстным охотником, который с ликованием позировал для фотографии, восседая на мёртвом слоне, а его глава об охоте столь же длинна, как главы о религиозных верованиях конголезцев, похоронных обрядах и преемственности вождей, вместе взятые.

Голос, который мы слышим в книге Рома, во многом напоминает голос, каким мы можем вообразить мистера Курца, пишущего свой отчёт для Международного общества по подавлению варварских обычаев. О *la race noire* Ром говорит: «Продукт бездумного состояния, её чувства грубы, страсти резки, инстинкты звероподобны и, кроме того, она горда и тщеславна. Главным занятием чёрного человека, которому он посвящает большую часть своего существования, является лежание на циновке под тёплыми лучами солнца, подобно крокодилу на песке... Чёрный человек не имеет представления о времени и, будучи спрошен об этом европейцем, обычно отвечает какой-нибудь глупостью».

Подобных примеров ещё много. Когда, например, Ром описывает конголезцев, реквизированных для работы носильщиками, он утверждает, что они великолепно проводили

время. Когда караван отправляется утром, носильщики шумно суетятся, каждый из них с готовностью стремится «заполучить место в строю по своему выбору, например рядом с другом, с которым можно обменяться снами минувшей ночи или составить меню — более или менее разнообразное и вкусное — той трапезы, которая ожидает их на следующей остановке».

В какой-то момент, находясь в Конго, Ром, должно быть, начал планировать свою книгу. Доверился ли Ром Конраду, обнаружив, что тот свободно говорит по-французски, поделился ли он с ним своими литературными мечтами? Видел ли Конрад одну из картин Рома на стене в Леопольдвиле — так же, как Марлоу видит картину Курца? Или это было простое совпадение, что настоящий собиратель голов Ром и вымышленный собиратель голов Курц были оба художниками и писателями? Мы никогда этого не узнаем.

Существует ещё несколько других заманчивых параллелей между Леоном Ромом и мистером Курцем. В романе Курц добивается того, что «его начинают обожать» африканцы Внутренней станции: вожди ползут перед ним по земле, люди подчиняются ему с рабской преданностью, а красивая чернокожая женщина, по-видимому, является его наложницей. В 1895 году один недовольный лейтенант Force Publique доверил своему дневнику поразительно похожую ситуацию, касавшуюся одного из его коллег-офицеров:

«Он морил своих агентов голодом, в то время как давал много еды чернокожим женщинам из своего гарема (ведь он хотел вести себя как великий арабский вождь)... Наконец, он облачился в парадный мундир у себя дома, собрал своих женщин, взял какой-то лист бумаги и сделал вид, будто читает им, что король назначил

его большим вождём, а остальные белые станции — всего лишь мелкая сошка... Он дал пятьдесят ударов плетью бедной «негритянке» за то, что она не захотела быть его любовницей, а потом отдал её солдату».

Важно то, как дневникписец вводит своё описание офицера: «Этот человек хочет сыграть роль второго Рома».

Наконец, убийственная жестокость Курца, кажется, отзывается ещё одной подробностью о Роме. Когда Ром был начальником станции у Стэнли-Фолс, генерал-губернатор отправил в Брюссель донесение о некоторых агентах, которые «имеют репутацию убивавших массы людей по пустяковым причинам». Он упоминает печально известную клумбу Рома, окаймлённую человеческими головами, а затем добавляет: «Он держал виселицу постоянно установленной перед станцией!»

Мы не знаем, осуществлял ли Ром уже какие-либо из этих мечтаний о власти, убийствах и славе, когда Конрад проходил через Леопольдвиль в 1890 году, или же только говорил о них. Как бы то ни было, нравственный ландшафт «Сердца тьмы» и тёмная фигура в его центре являются творением не только романиста, но и наблюдателя с открытыми глазами, уловившего дух времени и места с проницательной точностью.

ПЛАЧУЩИЙ ЛЕС

В Лондоне шёл дождь 12 июля 1890 года, но толпа всё равно собралась у Вестминстерского аббатства, не обращая внимания на ливень. Тысячи людей метались туда и обратно по скользкой мостовой, стараясь увидеть сановников, которые выходили из экипажей и входили в собор между рядами полицейских: бывшего премьер-министра Гладстона, спикера Палаты общин, лорда-канцлера, различных герцогов и принцев, женщин в драгоценностях и генералов с орденами. Богатые и знаменитые заполнили аббатство, стоя даже в проходах.

Наконец подъехал экипаж, и человек, которого все ждали, с трудом выбрался наружу — больной, бледный, опираясь на трость. Генри Мортон Стэнли собирался сделать нечто более страшное для него, чем любое из его африканских приключений. Он женился.

Невестой была Дороти Теннант — эксцентричная портретистка из высшего общества, которая прежде отказала ему. Пока исследователь пробирался сквозь джунгли в поисках Эмина-Паши, Теннант изменила своё решение. По его возвращении в Англию она начала слать Стэнли поразительно страстные письма. «Предположим, есть дикая, необработанная полоса земли, и предположим, что однажды эту землю вспашут и засеют зерном. Если бы поле могло говорить, оно могло бы сказать: “Я никогда не приносило зерна, я не приношу зерна, я никогда не принесу зерна”. И всё же всё это время пшеница скрыта в его лоне... Моя любовь — это пламя, которое никогда не угаснет, оно зародилось

как маленькая искра, ты не мог увидеть, как оно разгорается, а теперь горит, как пламя на алтаре».

И вот — к алтарю. Весть разнеслась, цены на картины Теннант взлетели, и поздравления хлынули со всего света. Королева Виктория подарила Теннант медальон с тридцатью восемью бриллиантами, а Томас Эдисон прислал одну из своих новых фонографических машин. Из Брюсселя Леопольд направил своего представителя, графа д'Арша, быть шафером.

В сам день свадьбы Стэнли тяжело страдал от гастрита, воспаления слизистой оболочки желудка. Он мучился этим и раньше, но нынешний рецидив, вероятно, не был случайным. Он, шатаясь прошёл по проходу Вестминстерского аббатства, но часть церемонии вынужден был провести, сидя в кресле. После венчания его помогли усадить в свадебный экипаж. Под защитой конного полицейского эскорта он отправился сквозь кричавшую и толкавшуюся толпу, почти перегородившую путь. Во время приёма Стэнли лежал на диване в отдельной затемнённой комнате, в муках. Болезнь продолжалась и во время медового месяца.

Всю жизнь в душе Стэнли шла борьба между жадой принятия и страхом близости. Этот страх был настолько силён, утверждает самый обстоятельный биограф исследователя, Фрэнк Маклинн, что брак Стэнли так и не был consummated. Доказательства в основном косвенные. Дороти Стэнли не родила детей и, очевидно, несмотря на свои письма, страдала собственными сильными неврозами. Стэнли настоял в крайне неромантическом решении, чтобы его молодой помощник-мужчина сопровождал супругов в их свадебном путешествии в Швейцарию. Наконец, в дневнике Стэнли за период медового месяца несколько записей были вымараны чернилами, по-видимому, его женой уже после его

смерти. Однако конец одной такой записи читаем: «Я не считаю это достойным жены — доставлять подобные удовольствия ценой того, что я ощущаю себя обезьяной в клетке». Страх Стэнли перед женщинами был настолько велик, заключает Маклинн, что «когда от него наконец потребовалось удовлетворить жену, Стэнли фактически сломался и признал, что считает секс занятием для зверей».

Правильным ли является этот вывод или — как утверждает другой биограф — неправильным, мучительные комплексы Стэнли служат напоминанием о том, что авантюристы, осуществлявшие европейский захват Африки, часто были вовсе не смелыми, прямыми и закалёнными людьми легенд, а беспокойными, несчастными, одержимыми беглецами — от чего-то в своём прошлом или в самих себе. Экономические объяснения империалистической экспансии — поиск сырья, рабочей силы и рынков — всё верно, но существовало и психологическое топливо.

Брак Стэнли ознаменовал конец его исследовательской деятельности; теперь он посвящал своё время тому, чтобы быть знаменитым. Достигнув наконец высшего общества, он стал чем-то вроде карикатуры на его взгляды. Он ездил по миру, читая лекции и произнося речи после ужинов, получая почётные степени, открывая железные дороги и давая интервью. Он яростно обрушивался на лень, социализм, аморальность, «всеобщую посредственность», профсоюзы, ирландский национализм, восьмичасовой рабочий день, женщин-журналисток и американских гостиничных слуг («необученных, недисциплинированных, грубых и дурно воспитанных»). Он получил рыцарское звание и был избран в парламент. Когда он отправился в тур по США и Канаде, он снова взял с собой своего молодого помощника; его жена взяла

мать. Под двойным надзором супруги Стэнли путешествовали по континенту в королевском стиле в частном железнодорожном вагоне с роялем. Вагон назывался Henry M. Stanley.

Всего два года спустя после того, как Стэнли, прихрамывая, прошёл по проходу собора, другой человек совершил выдающийся подвиг исследования в Конго. В отличие от путешествий Стэнли, его экспедиция была уважительной и ненасильственной. Но Уильям Шеппард редко упоминается в анналах исследований, потому что он не вписывается в привычный образ белого исследователя в Африке. Начнём с того, что он не был белым.

Парадоксально, но то, что позволило Шеппарду, чернокожему американцу, поехать в Конго, отчасти было результатом усилий сенатора из Алабамы, сторонника превосходства белых, Джона Тайлера Моргана, который способствовал признанию Соединёнными Штатами Конго Леопольда в надежде, что американские чернокожие будут туда эмигрировать. Морган и его единомышленники — энтузиасты идеи «отправить их обратно в Африку» — давно представляли себе первым шагом отправку чернокожих американских миссионеров на континент. Они должны были стать плацдармом, как надеялся Морган, за которым последуют миллионы американских чернокожих, и чем скорее, тем лучше. Уже в 1865 году — в том самом году, когда белые южане окончательно утратили надежду удерживать чернокожих в положении рабов, — Генеральная ассамблея Южной пресвитерианской церкви проголосовала за начало набора «миссионеров из числа африканской расы на этом континенте,

которые смогут нести Евангелие благодати Божией в дома своих предков».

Прошло несколько лет после Гражданской войны, прежде чем такие планы могли начать осуществляться. С одной стороны, южные пресвитериане, чья приверженность рабству заставила их отколоться от пресвитериан Севера, неудивительно, имели мало чернокожих членов. Тем не менее планы «возврата в Африку» упрямых белых расистов, таких как Морган, частично совпадали с интересами некоторых афроамериканцев. Хотя лишь немногие были заинтересованы в том, чтобы переселиться в Африку навсегда, Джордж Вашингтон Уильямс был не единственным чернокожим американцем своего времени, желавшим работать там. Преподобный Уильям Шеппард имел то же стремление и, вероятно, по той же невысказанной причине: это могло быть способом избежать унижительных барьеров сегрегации.

Родившийся в Вирджинии в 1865 году, Шеппард учился в Хэмптонском институте штата — одном из немногих высших учебных заведений для чернокожих на Юге. После дальнейшей учёбы в Цветной богословской семинарии в Таскалусе, штат Алабама, он работал пресвитерианским священником в Монтгомери и Атланте, где приобрёл репутацию энергичного, страстного и смелого человека. Однажды он спас кого-то от утопления; в другой раз он взбежал на три этажа горящего дома, чтобы спасти женщину, и при этом получил ожоги. В конце 1880-х годов Шеппард начал ходатайствовать перед Южной пресвитерианской церковью об отправке его в Африку в качестве миссионера.

В течение двух лет пресвитериане держали Шеппарда в ожидании: церковные власти не позволяли ему поехать в Африку,

если рядом не будет белого начальника. Наконец, при поддержке самого сенатора Моргана, появился белый кандидат в миссионеры — преподобный Самуэль Лапсли, на год моложе Шеппарда и сын бывшего партнёра Моргана по юридической практике. Хотя один был потомком рабов, а другой — потомком рабовладельцев, два молодых священнослужителя быстро нашли общий язык и вместе отправились в Конго. По пути, имея рекомендации от Моргана и Генри Шелтона Сэнфорда, Лапсли встретился с президентом Бенджамином Харрисоном в Вашингтоне и с королём Леопольдом II в Брюсселе. Шеппард, будучи чернокожим, не был допущен на эти аудиенции. Сэнфорд настоял, чтобы Лапсли приобрёл шёлковый цилиндр для своей поездки во дворец, чтобы встретиться с Леопольдом, и король очаровал Лапсли так же, как и других посетителей.

В мае 1890 года Шеппард и Лапсли прибыли в Конго и несколько недель оставались на миссионерской станции неподалёку от Матади. Пока они набирали носильщиков и собирали припасы для путешествия в обход порогов нижнего течения реки Конго, тем же самым на улицах этого небольшого городка на склоне холма занимался Джозеф Конрад. Он и его караван начали подниматься по тропе к Стэнли-Пулу на одиннадцать дней позже американцев.

Посоветовавшись с опытными миссионерами у Стэнли-Пула и выше по течению, Лапсли и Шеппард решили основать первую южнопресвитерианскую миссию далеко вверх по реке Касаи. Шеппард ушёл в джунгли на несколько недель, чтобы набрать африканских помощников; Лапсли остался на американской миссионерской станции в Леопольдвиле, где снова пересёкся с Конрадом. (Романист, возможно, рисковал не только малярией и дизентерией, но и проповедью. «Конрад, — писал Лапсли домой,

— болен в комнате на другом конце двора. Когда я сижу... я смотрю сквозь фруктовые и пальмовые деревья прямо в его окно. Он благовоспитанный человек. Английский Новый Завет на его столе даёт мне возможность, которой я надеюсь воспользоваться.»)

Завершив приготовления, два молодых миссионера отправились вверх по реке Касаи. Письма, которые Лапсли писал домой в эти месяцы, звучат восхищением Шеппардом, которое дома для белого человека было бы почти невозможно выразить в отношении чёрного. «Батеке считают, что нет никого подобного “Мунделе Ндому”, белому чёрному человеку, как они называют Шеппарда... Его нрав светлый и ровный — действительно человек необычных достоинств и сильных черт характера. Поэтому я благодарю Бога за Шеппарда». Он описывает Шеппарда как «урождённого торговца... Я позволяю ему вести большую часть покупок», и с восхищением говорит о его физической выносливости и охотничьем мастерстве, о том, как он справлялся с бурями, угрожавшими снести их палатки, и о том, как Шеппард спускался на пятнадцать футов по якорной цепи под воду, чтобы освободить застрявший якорь. Однажды Шеппард застрелил бегемота, прыгнул в воду, чтобы обвязать его верёвкой, и едва не стал жертвой крокодила, который тоже положил глаз на бегемота. Чернокожий должен был быть младшим партнёром в миссии, но, читая письма Лапсли, вспоминаешь пьесу Джеймса Барри «Благородный Крихтон», где яхта с британцами из высшего общества терпит кораблекрушение на острове, и находчивый дворецкий становится лидером.

Уильям Шеппард был первым чернокожим американским миссионером в Конго. Читая его книгу, письма и журнальные статьи, написанные в течение последующих двух десятилетий, а также слушая речи, произнесённые перед восторженной публикой

в Хэмптоне и других местах во время его отпусков, мы слышим человека, разительно отличавшегося от почти всех американцев и европейцев, бывавших в Африке до него. Он, разумеется, христианский проповедник и оставался им все двадцать лет своей работы в Африке. Порой он выражает привычное высокомерие по отношению к «густой тьме язычества» и «дикарям — нагим и диким, преклоняющимся перед идолами, полным суеверий и греха». Но его тон обычно был совсем другим. «Я всегда хотел жить в Африке, — писал Шеппард другу в США. — Я чувствовал, что буду счастлив, и так оно и есть». Он с жадностью вбирает в себя новые впечатления на берегах реки Касаи: «Мы сразу начали изучать их язык, указывая на предметы и записывая названия, которые они нам говорили». Он заводит домашних попугаев и маленькую чёрную обезьянку, в шутку названную Типпу Типом в честь арабо-африканского работорговца. Его голос, более сильный и уверенный, становится голосом человека, который ощущает — в том, что, возможно, было для него слишком рискованно в политическом и религиозном плане, чтобы полностью исследовать, — что он вернулся домой. Он радуется, находясь среди «моего народа» в «стране моих предков».

В начале 1892 года Лапсли пришлось отправиться в Бому, столицу, по делам миссии, и он оставил Шеппарда на несколько месяцев одного на Касаи. Когда Шеппард с радостью встретил пароход, который, как он думал, везёт Лапсли обратно, к своему ужасу, он обнаружил письмо от другого миссионера:

«Дорогой брат Шеппард! Ты будешь удивлён и огорчён, узнав, что твой друг и товарищ, преподобный С. Н. Лапсли, находясь здесь, на побережье, слёг от билиозной гемоглобинурийной лихорадки и 26 марта умер».

Южные пресвитериане, смущённые тем, что во главе их новой миссии в Конго де-факто оказался чернокожий, направили в Конго ещё белых пресвитериан. К тому времени, как они прибыли, Шеппард имел уже несколько лет опыта в этом крае и, по словам одного бельгийского торговца, стал очень популярен «среди бакуба, чей язык из всех европейцев знает он один».

Шеппард продолжал процветать. Он любил охоту и был знаменит своей харизматичной речью и силой. Он ездил на том, что с весёлой гордостью называл первым велосипедом в Центральной Африке. Его *joie de vivre* (жизнерадостность) казалась причиной того, что он нравился почти всем — и чёрным, и белым. О его популярности можно судить хотя бы по тому, что когда позже в жизни он отошёл от супружеской верности и завёл сына от женщины из деревни, это прегрешение не положило конец его карьере в церкви. Мальчик, названный Шапитом, так как африканцы называли его отца, в конце концов возглавил работу типографии миссии.

В отличие от других миссионеров, которые обычно выглядели довольно мрачно, на фотографиях Шеппард, кажется, наслаждается жизнью — то позируя с добычей, которую он подстрелил, то ликуя с огромной мёртвой змеёй, то перебирая струны банджо. Высокий и крепкий, он стоит среди группы чернокожих воинов с копьями и щитами, держа копье в руках. Или, с ружьём, он широко улыбается, а рядом выстроен ряд мужчин с луками и стрелами. Снова и снова Шеппард принимает выразительную позу. На нём белый пробковый шлем, белая рубашка, белый галстук, белый льняной костюм и даже белые парусиновые туфли. Его грудь выставлена вперёд, руки уверенно упираются в бока, и среди африканцев его улыбка тёплая, гордая

и почти собственническая. Он имеет отчётливый вид футбольного тренера, демонстрирующего победившую команду.

Территория, где работал Шеппард, граничила с землями народа Куба. Представители этого народа - одни из величайших художников Африки, создающие маски, скульптуры, ткани и искусно вырезанные предметы быта; коллекция искусства куба, собранная Шеппардом и частично оказавшаяся в его альбоме в Виргинии, стала первой значительной коллекцией, приобретённой посторонним. Он вёл этнографические записи о Куба и других народах региона Касаи, фиксировал мифы предков, ритуалы и данные об урожайности различных культур. Хотя он прямо писал, что некоторые практики — такие как человеческие жертвоприношения или убийство женщин, обвинённых в колдовстве, — приводили его в ужас, его труды демонстрируют сочувственный и уважительный интерес к африканским обычаям, радикально отличающийся от жёстких и поспешных суждений таких людей, как Стэнли. Шеппарда особенно впечатлили куба, которые, по его словам, «заставляют почувствовать, что вновь вступаешь в землю цивилизации... Возможно, они получили свою цивилизацию от египтян — или же египтяне получили её от ба-куба!» Шеппарда поразила церемониальная чаша куба для пальмового вина: на ней было вырезано лицо с чертами, поразительно схожими с древнеегипетскими артефактами. «Чаша сделана из красного дерева, — писал Шеппард, — и лицо на ней, кажется, подтверждает их предание о том, что много-много лет назад они пришли из далёкой страны».

Благодаря своему расположению в глубине Конго, королевство куба было в значительной степени защищено от работорговцев как с восточного, так и с западного побережья. Куба ценили свою

изоляции и делали всё возможное, чтобы держать чужаков на расстоянии. Их родина находилась в пределах территории, которую Европа признала владением Леопольда, но на этом раннем этапе колониального строительства его суверенитет над отдалёнными районами существовал лишь на бумаге. На протяжении почти десятилетия бельгийские торговцы пытались получить доступ в королевство куба и вновь и вновь получали отказ; дары, которые они посылали его королю, возвращались обратно.

Сделав то, о чём большинство антропологов могут лишь мечтать, в 1892 году Шеппард стал первым иностранцем, достигшим города Ифука, резиденции двора короля куба Кота Мбвеки II. Король неоднократно грозил отрубить голову любому, кто помог бы чужеземцам проникнуть внутрь, поэтому никто не осмеливался указать Шеппарду дорогу. Ему и небольшой группе африканцев потребовалось три месяца, чтобы найти путь к столице, и удалось это лишь тайно, следуя по следам каравана со слоновой костью. Шеппард всё ещё был одет полностью в белое, включая белые парусиновые туфли, и в «то, что когда-то было, — как он с грустью пишет, — его белым льняным костюмом».

Король в гневе приказал привести Шеппарда, его спутников и всех, кто им помогал, ко двору для обезглавливания. Затем он обнаружил, что нарушитель имеет тёмную кожу и может говорить на языке куба. Это означало, как решили старейшины, что он — перевоплощённый дух. Более того, они объявили, что точно знают, кто он: Бопе Мекабе, бывший король. По словам Шеппарда, ничто из сказанного им о его великом небесном Царе не могло убедить их в обратном.

Этот визит стал одной из вершин жизни Шеппарда и предоставил богатый материал для будущих исследователей,

поскольку куба имели одну из самых развитых политических систем в Центральной Африке. Шеппард оставался при дворе куба четыре месяца и, проявляя интерес ко всему, что видел, делал заметки обо всём — от придворных ритуалов до работы королевской полиции, занимавшейся кражами и другими преступлениями. Слуги расстилали для него леопардовые шкуры всякий раз, когда он подходил к королю, который восседал на троне из слоновой кости и носил корону из бус и перьев.

«Я очень привязался к ба-куба... — писал он. — Это была самая красивая раса, какую я видел в Африке: достойные, изящные, мужественные, честные, с открытым улыбающимся лицом и по-настоящему гостеприимные. Их знания в ткачестве, вышивке, резьбе по дереву и выплавке металлов были наивысшими в экваториальной Африке». Шеппард присутствовал на ежегодном собрании вождей и старейшин городов королевства, где каждый по очереди докладывал о рождениях, смертях, урожаях и других событиях в своей области и исполнял ритуальный танец. Книга, которую он позже написал о своём опыте в Африке, носит название *Presbyterian Pioneers in Congo*, но в ней явно «непресвитерианские» куба перетянули всё внимание на себя. Это ценный, непосредственный взгляд на одно из последних великих африканских королевств, не изменённых европейским влиянием. Миф о сотворении куба, передаёт Шеппард, «гласит, что их первые люди — мужчина и женщина — были спущены с небес по верёвке, от которой они отвязались, а сама верёвка была поднята обратно».

Вскоре после этого первого визита к куба Шеппард отправился в США в отпуск. По пути его пригласили выступить с лекцией в Эксетер-холле в Лондоне. За свои путешествия по королевству куба и за открытие озера, о существовании которого европейцы

не знали, он был избран членом Королевского географического общества — единственный миссионер-пресвитерианин, удостоенный такой чести. Общество также дало его открытию название «Озеро Шеппарда». В Вашингтоне Шеппард преподнёс президенту Гроверу Кливленду бамбуковый коврик куба; во время следующего визита он подарил Теодору Рузвельту трубку и покрывало из пальмового волокна. Во время этих поездок домой Шеппард произнёс бесчисленные речи в колледжах, университетах и церквях по всей стране, и его пламенные проповеди об Африке привлекли больше чёрных миссионеров для пресвитериан. Одну из них, Люси Гантт, учительницу и талантливую певицу, знакомую ему ещё по семинарии, он взял в жёны. Для работы на миссионерских станциях, которых со временем стало несколько, в Африку приехало и больше белых пресвитериан, и во главе всегда ставился белый человек. В официальных списках Южного пресвитерианского миссионерского общества, публиковавшихся в США, напротив имени Шеппарда и его новых сотрудников всегда стояло “(colored)” или “(с.)”. Но в самой Африке он не чувствовал себя отнесённым ко «второму сорту»: одного из своих детей он назвал Макс-амалинге — в честь сына короля куба.

Нет ничего удивительного в том, что куба были довольны своим привычным образом жизни, несмотря на дружелюбие к Шеппарду, проявляли мало интереса к христианству. Миссионерская станция, которую Шеппард организовал среди них, обращала в новую веру лишь немногих. Но Шеппард стал настолько известен у себя на родине благодаря своим открытиям, что пресвитериане опасались неблагоприятной реакции общественности, если бы закрыли его миссию среди куба и отправили его в другое место.

Весь регион Касаи, как и остальная часть Конго, со временем

пал под усиливавшуюся хватку конголезского государства. Спустя примерно восемь лет после исторического визита Шеппарда силы Леопольда наконец достигли и разграбили столицу куба.

Налёт на столицу, как и многие другие события в Конго, был спровоцирован открытием, сделанным далеко отсюда. Однажды, за несколько лет до того, как Уильям Шеппард впервые отправился в Африку, ветеринар с величественной белой бородой возился с трёхколёсным велосипедом своего сына у себя дома в Белфасте, Ирландия. Джон Данлоп пытался решить проблему, которая много лет досаждала велосипедистам: как обеспечить мягкую езду без рессор? В конце концов Данлоп придумал практический способ давно искомого решения — надувную резиновую шину. В 1890 году компания Dunlop начала выпуск шин, вызвав велосипедную манию и открыв новую индустрию как раз вовремя, как оказалось, к приходу автомобиля.

Европейцы знали о каучуке с тех пор, как Христофор Колумб заметил его на Антильских островах. В конце XVIII века британский учёный дал веществу его английское название, когда обнаружил, что им можно стирать карандашные линии. Шотландец Чарльз Макинтош ввёл своё имя в язык в 1823 году, когда придумал метод массового производства того, что давно практиковали индейцы Америки: нанесения каучука на ткань для придания ей водонепроницаемости. Шестнадцатью годами позже американский изобретатель Чарльз Гудйер случайно пролил серу в горячий каучук на своей плите. Он обнаружил, что полученная смесь не становилась жёсткой на холоде и не превращалась в липкую и зловонную массу на жаре — главные проблемы для тех, кто пытался делать резиновые сапоги или плащи до того времени. Но лишь в начале 1890-х годов, через полдесятилетия

после того, как Данлоп поставил пневматическую шину на колесо трёхколёсного велосипеда своего сына, начался мировой каучуковый бум. Индустриальный мир стремительно выработал аппетит не только к резиновым шинам, но и к шлангам, трубкам, прокладкам и подобным изделиям, а также к резиновой изоляции для телеграфа, телефона и электропроводки, которая теперь быстро опоясывала земной шар. Вдруг фабрикам стало не хватать этого «волшебного» сырья, и его цена росла на протяжении 1890-х годов. Нигде этот бум не оказал столь радикального влияния на жизнь людей, как в экваториальных дождевых лесах, где дикие каучуковые лианы взбирались высоко на деревья, покрывавшие почти половину Конго, принадлежавшего королю Леопольду.

Для Леопольда каучуковый бум был настоящим подарком судьбы. Он опасно влез в долги из-за своих инвестиций в Конго, но теперь понял, что доходы окажутся куда более прибыльными, чем он когда-либо представлял. Мир не утратил интереса к слоновой кости, но к концу 1890-х годов дикий каучук далеко превзошёл её как главный источник дохода из Конго. Получив финансовую уверенность, король с жадным любопытством расспрашивал чиновников, возвращавшихся из Конго, о сборе каучука; он пожирал нескончаемый поток телеграмм и отчётов с территории, делал пометки на полях и передавал бумаги помощникам для исполнения. Его письма этого периода наполнены цифрами: цены на товары на мировых рынках, процентные ставки по займам, количество ружей для отправки в Конго, тонны каучука для отправки в Европу и точные размеры триумфальной арки в Брюсселе, которую он планировал возвести на новые прибыли. Читать переписку короля — всё равно что читать письма генерального директора корпорации, которая

только что разработала прибыльный новый продукт и спешит воспользоваться этим прежде, чем конкуренты запустят свои сборочные линии.

Конкуренцией, которая тревожила Леопольда, был культивируемый каучук, получаемый не из лианы, а из дерева. Однако каучуковые деревья требуют большого ухода, и должно пройти несколько лет, прежде чем они вырастут достаточно, чтобы их можно было подсекать. Король с жадностью требовал всё большие объёмы дикого каучука из Конго, потому что знал: цены упадут, как только плантации каучуковых деревьев в Латинской Америке и Азии достигнут зрелости. Это действительно произошло, но к тому времени в Конго уже почти два десятилетия продолжался бум дикого каучука. В те годы поиск не знал границ.

Так же, как и люди, добывавшие слоновую кость, те, кто поставлял каучук государству Конго и частным компаниям, вознаграждались в зависимости от количества сданного сырья. В 1903 году один особенно «продуктивный» агент получил комиссионные, в восемь раз превышавшие его годовую зарплату. Но крупные деньги напрямую текли обратно в Антверпен и Брюссель — в столице главным образом по обе стороны улицы Рю Бредерод, небольшой улицы, которая отделяла заднюю часть Королевского дворца от нескольких зданий, где располагались офисы государства Конго и конголезских бизнес-структур.

Хотя находившееся под частным контролем Леопольда государство получало половину прибыли концессионных компаний, сам король зарабатывал гораздо больше на землях, которые эксплуатировались напрямую. Но так как концессионные компании управлялись не столь секретно, мы располагаем более точной статистикой именно по ним. В 1897 году, например, одна из

компаний — Англо-Бельгийская каучуковая и исследовательская компания (A.B.I.R.) — тратила 1,35 франка за килограмм на сбор каучука в Конго и его доставку в штаб-квартиру в Антверпене, где он продавался по цене, иногда достигающей 10 франков за килограмм, что давало прибыль более чем в 700 %. К 1898 году стоимость акций A.B.I.R. выросла почти в тридцать раз по сравнению с уровнем шестилетней давности. Между 1890 и 1904 годами общая прибыль от каучука в Конго увеличилась в 96 раз. К рубежу столетия *État Indépendant du Congo* стал безусловно самой прибыльной колонией в Африке. Прибыль поступала быстро, потому что, за исключением транспортных расходов, сбор дикого каучука не требовал ни возделывания, ни удобрений, ни вложений в дорогостоящее оборудование. Он требовал лишь рабочей силы.

Как можно было найти такую рабочую силу? Для правителей Конго это представляло проблему. Они не могли просто согнать мужчин, заковать их в цепи и заставить работать под надзором смотрителя с шикоттой, как это делали с носильщиками. Чтобы собирать дикий каучук, людям приходилось широко рассредоточиваться по тропическому лесу и часто забираться на деревья.

Каучук — это свернувшийся сок; французское слово *saoutchouc* происходит от южноамериканского индейского слова, означающего «дерево, которое плачет». В Конго таким «плачущим деревом» была длинная, губчатая лиана рода *Landolphia*. У основания она могла достигать фута в толщину и виться вверх вокруг дерева на сто футов и более, где пробивалась к солнечному свету. Там, разветвляясь, она могла тянуться сотни футов по верхушкам ещё полудюжины деревьев. Чтобы добыть каучук, лиану нужно было рассечь ножом и подвесить ведро

или глиняный горшок, чтобы собирать медленные капли густого молочного сока. Можно было сделать небольшой надрез для подсочки лианы или — официально запрещённый, но широко практиковавшийся способ — перерезать её полностью, что давало больше каучука, но убивало растение. Когда лианы возле деревни пересыхали, рабочим приходилось углубляться всё дальше в лес, и вскоре большинство заготовителей шли как минимум один-два дня, чтобы найти свежие лианы. Когда же подсечённые у земли лианы иссякали, рабочие взбирались высоко на деревья, чтобы достать сок. «Мы... встретили на дороге человека, который сломал себе спину, упав с дерева во время подсочки лиан», — писал один миссионер. Кроме того, сильные тропические ливни на протяжении большей части года превращали большие участки тропического леса, где росли каучуковые лианы, в болота.

Ни бусы, ни куски медной проволоки не могли заставить людей оставаться в затопленном лесу на долгие дни ради столь изнурительной — и физически болезненной — работы. Заготовитель должен был высушить сиропообразный каучук, чтобы он свернулся, и зачастую единственным способом было намазывать вещество на руки, бёдра и грудь. «Первые несколько раз не обходится без боли, когда человек сдирает его с волосатых частей тела», — признался в своём дневнике в 1892 году офицер Force Publique Луи Шальтен. — «Туземец не любит делать каучук. Его нужно заставлять».

Как же его можно было заставить? Постепенно в Европу доходили слухи и обрывки новостей. «Мне рассказали на реке Убанги, как это делается, — сообщил британский вице-консул в 1899 году. — Метод этого офицера заключался в том, что он прибывал на каноэ в деревню, жители которой неизменно

разбегались при его появлении; тогда высаживались солдаты и начинали грабёж, вынося из домов всех кур, зерно и прочее; после этого они нападали на туземцев, пока не удавалось схватить их женщин; этих женщин держали как заложниц до тех пор, пока вождь округа не приносил требуемое количество килограммов каучука. Когда каучук был доставлен, женщин продавали обратно их владельцам по паре коз за каждую. И так он продолжал от деревни к деревне, пока не собиралось необходимое количество каучука».

Иногда заложниками становились женщины, иногда дети, иногда старейшины или вожди. В каждом государственном или частном посту в районах заготовки каучука имелся частокол для заложников. Если ты был деревенским мужчиной, сопротивление приказу собирать каучук могло означать смерть для твоей жены. Она могла погибнуть и без того, ведь в частокколах пищи было мало, а условия были суровые. «Женщины, захваченные во время последнего набега на Энгветтра, доставляют мне массу неприятностей, — записал в своём дневнике офицер Force Publique Жорж Бриссюс 22 ноября 1895 года. — Все солдаты хотят себе одну. Часовые, которые должны за ними присматривать, освобождают самых красивых и насилуют их».

Леопольд, разумеется, никогда не провозглашал захват заложников официальной политикой; если кто-либо выдвигал такие обвинения, власти в Брюсселе с негодованием их отрицали. Но в поле, вдали от посторонних глаз, этот предлог отбрасывался. Инструкции по захвату заложников даже содержались в полуофициальном руководстве *Manuel du Voyageur et du Résident au Congo*, копию которого администрация выдавала каждому агенту и каждому государственному посту. Пять томов руководства

охватывали всё: от способов держать слуг в повиновении до правил подачи артиллерийских салютов. Захват заложников был лишь ещё одной рутинной обязанностью.

«В Африке поймать людей... — дело простое, потому что, если туземцы прячутся, они не удаляются далеко от своей деревни и вынуждены выходить, чтобы поискать еду на огородах, которые её окружают. Наблюдая за ними внимательно, вы наверняка сможете захватить людей после короткой задержки... Когда сочтёте, что у вас достаточно пленных, выберите среди них пожилого человека, предпочтительно старую женщину. Сделайте ей подарок и пошлите её к вождю для начала переговоров. Вождь, желая, чтобы его люди были освобождены, как правило, решит послать представителей».

Редко история даёт нам возможность увидеть столь подробные указания для тех, кто проводит режим террора. Советы по захвату заложников содержатся в томе руководства под названием *Practical Questions*, составленном редакционной комиссией примерно из тридцати человек. Одним из членов комиссии — он работал над книгой в течение двухлетнего периода после своей очереди в должности начальника сборной станции в Стэнли-Фолс — был Леон Ром.

Захват заложников выделял Конго среди большинства других режимов принудительного труда. Но во многих других отношениях он напоминал их. Как десятилетия спустя в советском ГУЛАГе — ещё одной системе рабского труда для добычи сырья — в Конго всё строилось на системе норм. В Сибири нормы касались кубометров вырубленного леса или тонн золотой руды, добытой

заклѹченными за день; в Конго нормой были килограммы каучука. Так, на богатой территории концессионной компании A.B.I.R., расположенной чуть ниже большого полукруглого изгиба реки Конго, обычная норма для каждой деревни составляла три–четыре килограмма высушенного каучука на взрослого мужчину раз в две недели — что фактически означало постоянную занятость этих людей. В других местах нормы были выше и могли увеличиваться со временем. Один чиновник в бассейне реки Монгала на крайнем севере, контролируемом другой концессионной компанией — Société Anversoise du Commerce au Congo — подсчитал, что для выполнения нормы сборщикам каучука приходилось проводить двадцать четыре дня в месяце в лесу, где они строили грубые клетки для сна, чтобы защититься — не всегда успешно — от леопардов.

Чтобы добраться до частей лианы высоко над землѣй, мужчины, отчаянно стремившиеся добыть каждую возможную каплю каучука, иногда срывали всю лиану, разрезали её на части и выжимали сок. Хотя конголезское государство издавало строгие приказы не убивать лианы таким способом, оно одновременно применяло шикотту к тем, кто приносил недостаточно каучука. Побеждала шикотта. Один очевидец видел африканцев, которым приходилось выкапывать корни, чтобы найти достаточно каучука для выполнения нормы.

Вся система была милитаризована. Гарнизоны Force Publique располагались повсюду, часто предоставляя свою огневую мощь компаниям, работавшим по контракту. Кроме того, у каждой компании имелаь собственная военизированная сила, эвфемистически называемая «часовыми». В военных делах, как и почти во всѣм остальном, компании действовали как продолжение

конголезского государства, и когда нужно было брать заложников или подавлять мятежную деревню, часовые компаний и солдаты Force Publique часто выходили в поле вместе.

Где бы ни росли каучуковые лианы, население находилось под строгим контролем. Обычно для того, чтобы навестить друга или родственника в другой деревне, требовалось получить разрешение от государственного или корпоративного агента. В некоторых районах нужно было носить пронумерованный металлический жетон на шнуре вокруг шеи, чтобы агенты компаний могли отслеживать, выполнил ли человек свою норму. Огромное количество африканцев было мобилизовано в эту трудовую армию: в 1906 году только в отчётных книгах одной лишь компании A.B.I.R., которая отвечала лишь за малую часть каучукового производства конголезского государства, числилось сорок семь тысяч сборщиков каучука.

Вдоль рек тянулись колонны изнурённых мужчин, несших на головах корзины с комковатым серым каучуком; иногда они проходили двадцать миль и больше, чтобы собраться у домов европейских агентов, которые сидели на верандах и взвешивали грузы каучука. В одном пункте сбора миссионер насчитал четыреста мужчин с корзинами. После сдачи сока его формовали в грубые пласты, каждый размером с небольшой чемодан, и оставляли сушиться на солнце. Затем его отправляли вниз по реке — на барже или плоту, буксируемом пароходом: это был первый этап долгого пути в Европу.

Государство и компании обычно платили деревенским жителям за каучук куском ткани, бусами, несколькими ложками соли или ножом. Всё это стоило почти ничего, причём ножи были необходимыми инструментами для дальнейшего сбора каучука.

По крайней мере в одном случае вождю, который заставлял свой народ собирать каучук, заплатили живыми людьми. Юридический спор между двумя белыми чиновниками недалеко от Стэнли-Фолс зафиксировал следующий обмен в 1901 году. Допрашиваемым свидетелем был Лиамба, вождь деревни по имени Малинда:

Вопрос: Давал ли вам господин Оттьо [чиновник компании] живых женщин или детей?

Ответ: Да, он дал мне шесть женщин и двух мужчин.

Вопрос: За что?

Ответ: В уплату за каучук, который я приносил на станцию, сказав, что я могу их есть, убить или использовать как рабов — как захочу.

Тропический лес вдоль реки Касаи был богат каучуком, и Уильям Шеппард вместе с другими американскими пресвитерианами оказался в самом центре катастрофы. Касаи также стал местом одного из самых сильных очагов сопротивления власти Леопольда. Вооружённые люди вождя, союзного режиму, буйствовали в районе, где работал Шеппард, разоряя и сжигая более дюжины деревень. Потоки отчаявшихся беженцев искали помощи на миссионерской станции Шеппарда.

В 1899 году начальство приказало Шеппарду с некоторым риском для себя отправиться в буш, чтобы выяснить причину боевых действий. Там он обнаружил залитую кровью землю, разрушенные деревни и множество тел; воздух был густ от вони разлагающейся плоти. В тот день, когда он добрался до лагеря мародёров, его внимание привлекло большое количество копчёных объектов. Вождь «провёл нас к каркасу из палок, под

которым тлел медленный огонь, — и вот они, правые руки, я пересчитал их: всего 81». Вождь сказал Шеппарду: «Смотри! Вот наше доказательство. Я всегда должен отрубать правые руки тех, кого мы убили, чтобы показать Государству, сколько мы убили». Он с гордостью показал Шеппарду некоторые тела, с которых были взяты эти руки. Копчение сохраняло руки в жарком и влажном климате, потому что могло пройти несколько дней или недель, прежде чем вождь смог бы предъявить их нужному чиновнику и получить зачёт за свои убийства.

Шеппард наткнулся на один из самых ужасных аспектов каучуковой системы Леопольда. Подобно захвату заложников, отрубание рук было сознательной политикой, как позднее признавали даже высокопоставленные чиновники. «Во время моего пребывания в Конго я был первым комиссаром Экваториального округа, — вспоминал Шарль Лемер после своей отставки. — Как только речь заходила о каучуке, я писал правительству: “Чтобы собирать каучук в округе... нужно отрезать руки, носы и уши.”»

Если деревня отказывалась подчиниться каучуковому режиму, государственные или корпоративные войска, а также их союзники иногда расстреливали всех, кто попадался на глаза, чтобы соседние деревни поняли послание. Но в таких случаях некоторые европейские офицеры проявляли недоверие. За каждый патрон, выданный их солдатам, они требовали доказательства того, что пуля была использована для убийства человека, а не «потрачена впустую» на охоту или, что ещё хуже, сохранена для возможного мятежа. Стандартным доказательством была правая рука с трупа. А иногда — и не с трупа. «Иногда, — сказал один офицер миссионеру, — солдаты выпускали патрон в животное на охоте; тогда они отрезали руку у живого человека». В некоторых

воинских подразделениях существовал даже «хранитель рук»; его задачей было копчение.

Шеппард был не первым иностранным свидетелем, увидевшим отрубленные руки в Конго, и далеко не последним. Но статьи, которые он написал для миссионерских журналов о своей жуткой находке, широко перепечатывались и цитировались как в Европе, так и в Соединённых Штатах, и именно благодаря ему люди за океаном начали ассоциировать Конго с отрубленными руками. Спустя полдюжины лет после страшного открытия Шеппарда, критикуя дорогостоящие общественные работы, которые Леопольд строил на прибыли из Конго, социалистический лидер Эмиль Вандервельде выступил в бельгийском парламенте, говоря о «монументальных арках, которые однажды назовут Арками Отрубленных Рук». Прямолинейность Шеппарда в конце концов навлекла на него гнев властей, и однажды Вандервельде, будучи адвокатом, оказался в конголезском суде, защищая Шеппарда. Но это уже забегая вперёд.

Когда каучуковый террор распространился по тропическому лесу, он оставил людям воспоминания, которые оставались болезненными на протяжении всей их жизни. Католический священник, записавший устные истории полвека спустя, цитирует человека по имени Тсуамбе, рассказывавшего об особенно ненавистном государственном чиновнике Леоне Фьевезе, который наводил ужас на округ вдоль реки в трёхстах милях к северу от Стэнли-Пул:

«Все чёрные видели в этом человеке Дьявола Экватора... Со всех тел, убитых в поле, нужно было отрезать руки. Он хотел видеть количество рук, отрезанных каждым солдатом, которые должны были приносить их в корзинах... Деревня, отказавшаяся

сдавать каучук, полностью стиралась с лица земли. Когда я был молодым человеком, я видел, как солдат Фьевеза по имени Молили, охранявший тогда деревню Бойека, взял большую сеть, поместил в неё десять арестованных туземцев, прикрепил к сети тяжёлые камни и сбросил её в реку... Каучук был причиной этих мучений; поэтому мы больше не хотим слышать, чтобы его имя произносили. Солдаты заставляли молодых людей убивать или насиловать собственных матерей и сестёр».

Офицер *Force Publique*, проезжавший через пост Фьевеза в 1894 году, цитирует самого Фьевеза, рассказывавшего, что он сделал, когда окрестные деревни не сумели обеспечить его войска рыбой и маниокой, как он требовал: «Я начал против них войну. Одного примера было достаточно: сто голов отрублено — и с тех пор на станции всегда хватает припасов. Моя цель в конечном счёте гуманитарна. Я убил сотню человек... но это позволило выжить пятистам другим.»

С «гуманитарными» правилами, включавшими отрубание рук и голов, такие садисты, как Фьевез, чувствовали себя в своей стихии. Начальник станции в М'Биме стрелял из револьвера по мочкам ушей африканцев. Агент Рауль де Преморель, работавший вдоль реки Касаи, любил давать большие дозы касторового масла тем, кого считал симулянтами. Когда жители деревни, в отчаянной попытке выполнить норму по весу, сдавали каучук, смешанный с грязью или галькой, агент Альберик Детьяж заставлял их есть это. Когда два носильщика не воспользовались назначенным отхожим местом, окружной комиссар Жан Вердюссен приказал вывести их перед войсками и натереть им лица испражнениями.

По мере того, как по Конго распространялись вести о солдатах белых с корзинами отрубленных рук, среди африканцев получил

распространение миф, представлявший собой любопытное преворачивание белой одержимости «чёрным каннибализмом». Говорили, что банки с консервированной говядиной, которые виднелись в домах белых, содержали вовсе не мясо животных, изображённых на этикетке, а нарубленные человеческие руки.

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО УБИЙЦ

Однажды, когда Леопольд и кайзер Вильгельм II наблюдали парад в Берлине, бельгийский монарх, ворча о размывании королевской власти, заметил кайзеру: «Для нас, королей, на самом деле не осталось ничего, кроме денег!»

Вскоре каучук принесёт Леопольду богатство, о котором невозможно было и мечтать, но одного Конго ему никогда не было достаточно. Фантазируя об империи, которая охватила бы две легендарные африканские реки — Конго и Нил, он воображал соединение рек великой железной дорогой и в начале 1890-х направил экспедиции на северо-восток из Конго в долину Нила. Одна из них заявила права на древние медные рудники Бахр-эль-Газалья, позаботившись о том, чтобы закрепить рудники за самим Леопольдом, одновременно обязав государство Конго обеспечить их военную защиту.

Французы в конце концов заблокировали королю дальнейшие шаги к Нилу, но он уже мечтал о новых колониях в других местах. «Я хотел бы превратить нашу маленькую Бельгию с её шестью миллионами жителей в столицу огромной империи», — сказал он. «Нидерланды, Испания, Португалия находятся в состоянии упадка, и их колонии рано или поздно окажутся на рынке». Он даже спросил у премьер-министра Великобритании Уильяма Гладстона о возможности аренды Уганды.

Леопольд быстро украшал свои имперские планы любимыми гуманитарными мотивами, витавшими в воздухе. (Королева Виктория считала, что её кузен Леопольд начинает впадать в бред.)

Когда возник кризис на Крите, он предложил, чтобы войска из Конго помогли восстановить порядок. После победы Соединённых Штатов в Испано-американской войне он предложил, чтобы некая компания арендовала некоторые из оставшихся у Испании территорий, такие как Канарские острова в Атлантике или Каролинские острова в южной части Тихого океана. Леопольд предлагал зарегистрировать эту компанию в «нейтральном» государстве, таком как, например, *État Indépendant du Congo*.

Ни одна из этих мечтаний не отвлекала Леопольда от управления его главным источником дохода. Однако он держал растущую прибыльность Конго в строжайшем секрете, чтобы не вызвать требований вернуть крупный заём бельгийского правительства. Пока это сходило Леопольду с рук, Конго-государство не публиковало бюджета. Когда же это всё-таки произошло, были представлены данные о доходах, которые сильно занижали реальные прибыли государства.

Одним из преимуществ контроля над собственным государством является возможность выпускать облигации. Со временем это стало для Леопольда источником дохода, почти равным доходам от каучука. В общей сложности король выпустил облигации на сумму более ста миллионов франков, или примерно полмиллиарда современных долларов. Часть облигаций он продал; часть раздал приближённым; часть сохранил в своём личном портфеле; часть использовал вместо наличных для оплаты общественных работ в Бельгии. Так как срок действия облигаций достигал девяноста девяти лет, Леопольд понимал, что возвращать основной долг придётся уже другим. Формально деньги от облигаций предназначались для развития Конго, но лишь малая их часть была потрачена там.

Леопольд гораздо охотнее тратил эти средства, как и доходы от конголезского каучука, в Европе. Для столь проницательного и честлюбивого человека он был удивительно лишён воображения во вкусах и использовал своё новое огромное состояние так, что оно принесло ему место скорее в путеводителях, чем в исторических книгах. По всей Бельгии начали возводиться целая череда памятников, новые дворцовые корпуса, музеи и павильоны. В своём любимом приморском курорте Остенде Леопольд вложил миллионы франков в строительство набережной, нескольких парков и богато украшенной башенками галереи (оформленной восемьюдесятью пятью тысячами гераней к её открытию) для ипподрома, который он часто посещал. Доходы от каучука также оплатили поле для гольфа в соседнем Клемскерке, королевское шале в Раверзейде, бесконечные ремонты и расширение замка Лакен. Многие из этих богатств Леопольд официально преподнёс своей стране с большой помпой как «Королевский дар», хотя сам продолжал жить в замках и дворцах так же, как и прежде. Его настоящей целью при передаче «Королевского дара» было переложить расходы на содержание этих владений на государство и не допустить их перехода к трём дочерям, которым по бельгийскому законодательству он был обязан оставить своё личное имущество.

В 1895 году Леопольду исполнилось шестьдесят, и по мере того, как он старел, он становился всё более ипохондричным. Любый слуга, который кашлял, рисковал быть удалённым на несколько дней. Всегда боясь простуды, он носил водонепроницаемый мешок на бороде, когда выходил на улицу в сырую погоду или купался в море. Он требовал, чтобы дворцовые скатерти ежедневно кипятили, чтобы убить микробы.

Когда он не путешествовал, он в основном жил в Лакене. Он вставал рано, принимал холодный душ, подстригал свою большую бороду, ему делали массаж, читал утреннюю почту и завтракал обильно — полдюжины яиц-пашот, гора тостов и целая банка мармелада. Затем он проводил большую часть дня, гуляя по своим любимым садам и оранжереям, часто читая почту и диктуя ответы на ходу; его секретари должны были научиться писать во время ходьбы. Обед длился ровно полчаса; король читал газеты и письма за едой и иногда на полях писем делал пометки почти неразборчивым почерком, который его сотрудники затем часами старательно расшифровывали. Остальные члены семьи за столом должны были хранить молчание.

После полудня его отвозили в Королевский дворец в центре Брюсселя для встреч с чиновниками и посетителями, а затем возвращали в Лакен на вечернюю трапезу. Главным событием его дня было прибытие лондонской Times. Каждый день после полудня аккуратно завернутый экземпляр утренней газеты бросали с экспресса Остенде—Базель, когда поезд проходил мимо частной железнодорожной станции в Лакене, украшенной королевским гербом. Лакей гладил газету утюгом — чтобы подсушить чернила — и король читал её ночью в постели. (Когда позже Times примкнула к хору его критиков, Леопольд с негодованием объявил, что прекращает подписку. Но втайне он каждый день посылал своего камердинера на брюссельский вокзал, чтобы тот покупал ему экземпляр.)

Возможно, Леопольду нравилась Times потому, что это была газета, писавшая не для маленькой страны, а для могущественной державы. В любом случае его жажда колоний по-прежнему простиралась во все уголки мира. В 1897 году он начал

инвестировать прибыль Конго-государства в железную дорогу в Китае, в конечном счёте получив с этой сделки большие деньги. Он смотрел на эту страну так же, как когда-то на «великолепный африканский пирог», как на пир, предназначенный для потребления, и был по-прежнему готов без приглашения занять за столом своё место. О маршруте, который он надеялся получить для своей железной дороги, он сказал: «Это хребет Китая; если они отдадут его мне, я возьму ещё и пару отбивных». Он пытался организовать обмен — китайских рабочих для Конго, конголезских солдат для Китая, — что дало бы ему военный плацдарм, как и другим западным державам, действовавшим тогда на Дальнем Востоке. Он приобрёл несколько небольших земельных участков в Китае от имени *État Indépendant du Congo*. Когда Леопольд направил делегацию Конго-государства — разумеется, полностью из бельгийцев — на переговоры, китайский наместник Ли Хунчжан с притворным удивлением спросил: «Правильно ли я понимаю, что африканцы — чёрные?»

Тем временем в Конго каучуковый бум придал дополнительную срочность главной стройке территории: узкоколейной железной дороге от Матади до Стэнли-Пула, в обход больших порогов. На этот проект одновременно требовалось до шестидесяти тысяч рабочих. Несмотря на то, что протяженность линии составляла всего 241 милю, а ширина - немногим более половины ширины путей стандартной американской колеи, климат, болезни и рельеф местности сделали ее одним из самых сложных железнодорожных проектов в истории. На строительство первых четырнадцати миль ушло три года. Один из первых топографов этого сурового

участка земли описал его как «нагромождение огромных камней, которые в некоторых местах словно были наброшены друг на друга руками гигантов». Весь маршрут требовал девяносто девять металлических мостов, общей длиной более двенадцати миль.

Строительные рабочие были привезены из британских и французских территорий в Западной Африке, из Гонконга и Макао, а также из Британских Вест-Индий. Леопольд продолжал испытывать особый интерес к идее использования китайских рабочих в Конго. «Сколько бы стоило, — писал он своему помощнику, — основать пять больших китайских деревень в Конго? Одну на севере, другую на северо-востоке, одну на востоке, ещё одну на юге и одну между Матади и Леопольдвиллем. Две тысячи китайцев, чтобы обозначить наши границы, — во что бы это обошлось?» Идея пяти деревень исчезла, но мечта Леопольда стоила жизни многим из 540 китайцев, привезённых в 1892 году работать на железной дороге. Триста из них погибли на стройке или бежали в леса. Большинство последних больше никогда не видели, хотя некоторых позже нашли более чем в пятистах милях в глубине страны. Они шли навстречу восходящему солнцу, пытаясь добраться до восточного побережья Африки, а затем домой.

Несколько сотен рабочих с карибского острова Барбадос, по-видимому, сообщили, что их набирают в другое место; когда в сентябре 1892 года их корабль пришвартовался в Боме и они поняли, что оказались в Конго, они с яростью подняли бунт. Солдаты открыли по ним огонь, убив двоих и ранив многих других; остальных в тот же день отправили на железнодорожный узел в Матади и заставили работать.

Железная дорога стала скромным инженерным успехом и

крупной человеческой катастрофой. Люди погибали от несчастных случаев, дизентерии, оспы, бери-бери и малярии, усугублённых плохим питанием и неустанными порками со стороны двухсотенной военной охраны железной дороги. Поезда сходили с рельсов; гружёные динамитом вагоны взрывались, разрывая на куски рабочих — и чёрных, и белых. Иногда для людей не было даже укрытий для сна, а непокорных рабочих вели на работу в цепях. Европейские прорабы и инженеры могли расторгнуть контракты и уехать домой — и многие так и поступали. Чёрные и азиатские рабочие не могли. Когда утром звучали горны, толпы разгневанных рабочих клали к ногам европейских начальников тела своих товарищей, умерших за ночь.

По местной легенде, ставшей метафорой и для других частей Африки, каждая шпала этой железной дороги стоила одной африканской жизни, а каждый телеграфный столб — одной европейской. Даже в приукрашенной официальной статистике число погибших при строительстве дороги составило 132 белых и 1800 небелых. Однако некоторые оценки приближают число небелых жертв к 1800 в год в первые два, самые тяжёлые годы. Кладбища тянулись вдоль всей линии. Рабочие вновь и вновь пытались бежать: три сотни людей из Сьерра-Леоне, размахивая молотками, лопатами и кирками, штурмовали порт Матади и пытались захватить стоявший у причала корабль, чтобы вернуться домой. Но охранники с дубинками — сами завербованные на Занзибаре — отбросили их назад. Другие рабочие бастовали или бежали в соседние португальские владения.

В 1898 году, восемь лет спустя после начала строительства, первый короткий, коренастый паровоз, украшенный флагами, провёз два вагона по узкоколейке от Матади до Стэнли-Пула.

Его прибытие ожидал большой шатёр, украшенный цветами; государственные чиновники, военные, железнодорожные офицеры и епископ устроили банкет и пили шампанское за здоровье Леопольда. Собравшиеся высокопоставленные лица торжественно закрепили последний рельс, пушки дали салют из двадцати одного орудия, а все пароходы на Стэнли-Пуле протрубили в свои гудки. Чиновники установили памятник на старом караванном пути, который заменил железнодорожный маршрут: три металлические фигуры в натуральную величину — один носильщик с большой коробкой на голове и двое других, рухнувшие от изнеможения рядом. На памятнике была надпись: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ОСВОБОДИЛА ИХ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕНОСИТЬ ГРУЗЫ. Ни слова не говорилось о том, кто заставил их стать носильщиками изначально.

Хотя дорога включала крутые повороты и резкие подъёмы, которые растягивали путь в одну сторону до двух дней, она чрезвычайно увеличила мощь и богатство колониального государства. Более одиннадцати миллионов фунтов каучука в год, производимых Конго к рубежу веков, теперь могли доставляться к морю со стэнли-пульских пароходных пристаней без трёхнедельной перевозки на головах носильщиков. Вагоны, шедшие в обратном направлении, перевозили пароходы вокруг порогов куда более крупными частями, чем могли унести носильщики. Леопольдвиль быстро стал самым оживлённым речным портом Центральной Африки, где базировались пароходы водоизмещением до пятисот тонн. Один колесный пароход на реке, шестидесятитонный *Ville de Paris*, начинал свою жизнь как прогулочное судно на Сене.

За исключением тех, кто работал на государство или участвовал в таких проектах, как железная дорога, Леопольд относился к иностранцам в Конго с подозрением. Однако у него была обременительная группа — несколько сотен иностранных протестантских миссионеров, таких как Уильям Шеппард и его коллеги. Почти все они приехали из Британии, Соединённых Штатов или Швеции — стран, расположить к себе которые Леопольд надеялся. Миссионеры прибыли в Конго с рвением евангелизировать, бороться с полигамией и прививать африканцам викторианское чувство греха. Однако вскоре каучуковый террор привёл к тому, что миссионерам стало трудно находить тела для одежды или души для спасения. Испуганные деревенские жители неделями скрывались в джунглях, заведя на горизонте дым приближающегося парохода. Один британский миссионер неоднократно слышал от африканцев вопрос: «Есть ли у Спасителя, о котором вы нам говорите, сила спасти нас от каучуковой беды?» Неожиданно, и уж точно не собираясь брать на себя такую роль, миссионеры оказались наблюдателями на поле боя, и Шеппард был далеко не единственным, кто стал свидетелем. В 1894 году один шведский миссионер записал отчаянную конголезскую песню:

«Мы устали жить под этим гнётом.

Мы не можем выносить, что наших женщин и детей увозят
и расправляются с ними белые дикари.

Мы поведём войну...

Мы знаем, что умрём, но хотим умереть.

Мы хотим умереть».

Из-за миссионеров, начиная с середины 1890-х годов,

Леопольду пришлось сталкиваться с отдельными протестами, например со статьями Шеппарда о отсечённых руках и убитых африканцах. Однако сначала эти критики привлекали мало внимания, так как они не обладали такими навыками в сфере связей с общественностью, как король, использовавший своё огромное обаяние, чтобы их нейтрализовать.

Для начала он поощрял представителей миссионерских обществ вести с ним прямой диалог, лично убеждая одного французского священника поступать именно так, “вместо того чтобы прибегать к прессе, что всегда неприятно (*toujours désagréable*)”. Затем он искусно сочетал обещания и угрозы. Поддерживая хорошие отношения с их руководителями, он не забывал напоминать миссионерским обществам о способности Конголезского государства вводить налоги или отказывать в разрешении на строительство новых миссий. Южнопресвитерианская миссия, где работал Шеппард, постоянно сталкивалась с трудностями при получении новых земель для строительства.

Шведский баптистский миссионер Э. В. Шьоблом, пожалуй, был самым решительным критиком Леопольда в конце 1890-х годов. Он говорил всем, кто был готов его слушать, и в 1896 году опубликовал в шведской прессе подробное разоблачение каучукового террора в Конго — разоблачение, которое вскоре подхватили газеты в других странах. На публичной встрече в Лондоне в следующем году Шьоблом рассказал, как африканских солдат *Force Publique* поощряли в зависимости от количества собранных кистей. «[Один] агент сказал мне, что сам видел, как государственный чиновник на одном из форпостов платил солдатам определённое количество медных прутков (местная валюта) за принесённые кисти. Один из солдат сказал мне...

“Комиссар пообещал нам, что если у нас будет много кистей, он сократит срок нашей службы. Я уже принёс много кистей и ожидаю, что моя служба скоро закончится”». В самом Конго государственные чиновники угрожали Шьоблому и быстро организовали ответную атаку в бельгийской и британской прессе.

Ещё одним знающим противником Леопольда был Х. Р. Фокс Бёрн, секретарь Общества защиты аборигенов — организации, которая стала куда более мудрой с тех пор, как десятью годами ранее избрала Леопольда своим почётным президентом. Сам король, как сообщалось, лично посетил редакцию газеты The Times в Лондоне, чтобы попытаться убедить её не публиковать статьи Фокса Бёрна.

Публично, однако, Леопольд занимал возвышенную позицию, заявляя, что глубоко потрясён сообщениями о злоупотреблениях в его владениях. Большинство обвинений он сумел пережить без особого ущерба, так как они касались зверств, совершённых против африканцев. Но в 1895 году он столкнулся со своей первой серьёзной неприятностью в Европе, когда один особенно жестокий офицер Конголезского государства, как выразился один потрясённый британский журналист, «осмелился убить англичанина».

Жертвой оказался ирландец: Чарльз Стокс, яркий и эксцентричный торговец, который, как любили говорить британцы, «обафриканился» [в значении «принял местный образ жизни»], женившись на африканке. Торговля слоновой костью Стокса конкурировала с прибыльной монополией, которую Леопольд пытался установить в восточном Конго. Его также обвиняли в продаже оружия афро-арабам. Экспедиция Force Publique отправилась на поиски Стокса у восточной границы государства,

нашла его и повесила на месте. Лондонская пресса громогласно выразила возмущение. В Германии также поднялась волна протеста, поскольку базой Стокса была Германская Восточная Африка, а Конголезское государство якобы было открыто для немецких торговцев. В тщетной попытке приглушить скандал правительство Конго признало свою ошибку и выплатило крупные компенсации британскому и немецкому правительствам. Но на этом дело не закончилось. Одна немецкая газета заявила, что если Конго столь легкомысленно казнит белого человека, то представьте, что оно должно делать с туземцами. Европейская пресса начала уделять больше внимания сообщениям о зверствах в Конго.

Леопольду пришлось действовать. В 1896 году он назначил Комиссию по защите туземцев, состоявшую из шести известных конголезских миссионеров: троих бельгийских католиков и троих иностранных протестантов. Комиссия была повсюду в Европе встречена как положительное начинание, особенно в Англии, где король более всего опасался критики. «Это целиком к чести короля Леопольда, что он так прямо столкнулся с фактами ситуации», — писала *Manchester Guardian*.

Мало кто заметил, что ни один из членов комиссии не находился в основных районах добычи каучука, откуда поступали сообщения о зверствах; что сами комиссары были разбросаны на расстоянии более тысячи миль; что король не выделил средств для их поездок на заседания; что один из британских членов ранее советовал своим коллегам-миссионерам не публиковать никаких сообщений о зверствах; что другой занимался съемкой границы между Конго и Анголой по поручению Леопольда; и что у комиссии не было никаких полномочий, кроме как «информировать» власти Конго о злоупотреблениях.

Комиссия собралась лишь дважды, и каждый раз, из-за расстояния и расходов, только трое из шести её членов смогли присутствовать. Но для Леопольда этот шаг стал настоящей пиар-победой, и он закрепил свой триумф визитами в Англию, Германию и Швецию летом 1897 года. В последующие несколько лет внимание британцев было отвлечено Англо-бурской войной, и нападки на Леопольда почти полностью исчезли из европейской прессы. Критики короля продолжали вести редкий «огонь», но, казалось, их никто не слушал. Они отчаялись вновь привлечь к себе сколько-нибудь серьёзное внимание.

Если бы в то время в Европе существовали рейтинги одобрения, то в последние годы века Леопольд находился бы на пике популярности — как за рубежом, так и на родине. В Бельгии колониальный шовинизм начал проявляться даже в стихах:

Sur les plages où les entraîne
 La voix d'un sage Souverain,
 Nos soldats vont l'âme sereine,
 Affrontant un climat d'airain,
 De l'Africain briser la chaîne
 En domptant l'Arabe inhumain
 На берегах, куда их влечёт
 Голос мудрого Государя,
 Наши солдаты идут с душой спокойной,
 Бросая вызов железному климату,
 Чтобы разбить цепи Африканца
 И укротить бесчеловечного Араба.

Однако голос государя скорее толкал, чем влек его солдат к побережьям, ибо, хотя Конго было главной страстью его жизни, сам Леопольд туда никогда не ездил.

А зачем ему было туда ехать? В воображении Леопольда Конго было не страной голодающих носильщиков, изнасилованных заложниц, исхудавших рабов на каучуковых промыслах и отрубленных рук. Это была империя его мечтаний — с гигантскими деревьями, диковинными животными и жителями, благодарными за его мудрое правление. Вместо того чтобы отправиться туда, Леопольд перенёс Конго — то самое Конго, театральную постановку его воображения — к себе. Красное махагони из этой земли облицевало спальню его личного железнодорожного вагона, животные из Конго появились в бельгийских зоопарках, а к ряду огромных оранжерей в Лакене король добавил «Конголезскую оранжерею» (и поныне полную пальм), увенчанную четырьмя стеклянными куполами и восьмигранным куполом с эмблемой звезды его частного государства.

Из той спокойной, живописной конголезской сцены, созданной его воображением, Леопольд привёз к себе даже её народ. В 1897 году, когда в Брюсселе проходила Всемирная выставка, самым обсуждаемым павильоном оказался тот, что находился на окраине города, в Тервюрене. Более миллиона посетителей пришли посмотреть на это прославление Конго. Экспонаты варьировались от того великого орудия цивилизации, столь превозносимого Стэнли (который дважды посетил выставку), — пулемёта «Максим», до большого набора льняных гобеленов, изображавших Варварство и Цивилизацию, Фетишизм и Христианство, Многожёнство и Семейную жизнь, Рабство и Свободу. Самой необычной картиной, однако, стала живая: 267 чернокожих мужчин, женщин и детей, привезённых из Конго.

С большой помпой их привезли поездом на брюссельский

вокзал Гар-дю-Нор, а затем провели через центр города, чтобы посадить на трамвай до Тервюрена. Там, в парке, их разместили в трёх специально построенных деревнях: речной деревне, лесной деревне и «цивилизованной» деревне. Для полноты представления добавили пару пигмеев. «Нецивилизованные» африканцы из первых двух деревень пользовались орудиями, барабанами и глиняными горшками, привезёнными из дома. Они танцевали и плавали на выдолбленных каноэ по пруду. Днём их выставляли напоказ в «аутентичных» бамбуковых африканских хижинах с нависающими соломенными крышами. Европейцы, надеявшиеся увидеть легендарные обнажённые груди Африки, уходили разочарованными, ибо женщин заставили носить хлопковые халаты во время ярмарки. «Одежда, — отмечал местный журнал, — это, в конце концов, первый признак цивилизации».

В редком проявлении интереса к конголезским проектам своего мужа королева Мария Генриетта вместе со свитой пришла посмотреть на конголезцев — воплощённую мечту Леопольда. Когда королю сообщили, что некоторые африканцы страдают несварением из-за конфет, которые им давала публика, он распорядился поставить эквивалент таблички из зоопарка «животных не кормить». На плакате было написано: «ЧЕРНОКОЖИЕ КОРМЯТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ».

Местная пресса щекотала любопытство своих читателей, рассуждая о том, представляют ли «нецивилизованные» африканцы опасность. Репортёр подошёл к их кругу. «В центре, сидя на бревне, находился вождь — неподвижный и священный. Сначала прозвучал одинокий голос певца; затем хор подхватил припев, сопровождаемый хлопками в ладоши, ударами палок по

металлическим предметам и покачивающимися движениями этих присевших тел. А о чём же пели солист и хор? О великих деяниях [капитана Force Publique Юбера] Лотэра, великого воина». Всё было в порядке.

Африканцы из «цивилизованной» деревни включали девяносто солдат Force Publique, часть из которых составляла военный оркестр. Солдаты маршировали, оркестр играл, и, под конец их пребывания, они были приглашены на банкет. Один чернокожий сержант поднялся и произнёс тост в честь короля Леопольда II. Когда африканцы отплыли домой, одна газета восторженно писала: «Душа Бельгии следует за ними и, подобно щиту Юпитера, защищает их. Да будем мы всегда являть миру пример человечности!»

Корабль, который отвёз конголезцев обратно на родину, вероятно, вернулся в Бельгию с грузом каучука, ведь богатства Конго теперь регулярно поступали в Европу. Каждые несколько недель в Антверпен прибывал новый роскошный пароход, оснащённый электрическим освещением и холодильниками, полный каучука, слоновой кости и других товаров. Эти суда принадлежали дочерней компании Elder Dempster — судоходной линии из Ливерпуля, чьи пароходы уже давно курсировали вдоль западного побережья Африки. У фирмы был контракт на перевозку всех грузов в Конго и из Конго. Для любого, кого интересовало Свободное Государство Конго, мало какая работа в Европе могла дать лучший наблюдательный пункт, чем должность в Elder Dempster. Это было так, словно в 1942 или 1943 году кто-то, начавший задаваться вопросом, что происходит

с евреями, устроился бы на работу в штаб-квартиру нацистской железнодорожной системы.

Elder Dempster требовался сотрудник, который бы регулярно ездил в Бельгию и контролировал прибытие и отправку судов на конголезской линии. Эту задачу компания поручила умному и трудолюбивому молодому человеку из своего штата — Эдмунду Дину Морелю. Морель, которому тогда было около двадцати пяти лет, к тому же удобно владел двумя языками. Его мать была англичанкой; отец — низкоранговым французским чиновником, который умер молодым, не оставив вдове и маленькому сыну пенсии. Проведя детство на грани нищеты и в Англии, и во Франции, Морель в пятнадцать лет оставил школу, чтобы работать в Париже и поддерживать больную мать. Спустя несколько лет он получил должность клерка в Ливерпуле в компании Elder Dempster.

Поначалу не имея возможности как следует содержать мать и себя на скромное жалованье клерка, молодой Морель также давал уроки французского по два шиллинга и шесть пенсов в час. Затем он нашёл более удовлетворяющий приработок: писал внештатные статьи по вопросам африканской торговли для таких изданий, как *Shipping Telegraph* и *Liverpool Journal of Commerce*. Эти материалы отражали точку зрения бизнесмена: они восхваляли рост производства хлопка и тоннажа перевозок и редко ставили под сомнение господствующие догмы того времени. Некоторые восхваляли режим Леопольда. «Великое будущее ждёт Конго, — писал Морель в одной из статей, — и эти обширные территории, обеспеченные его стране дальновидностью короля Леопольда II, однажды станут великолепным полем для [бельгийского] предпринимательства».

Именно с таким воодушевлением Морель в конце 1890-х годов начал регулярно пересекать Ла-Манш, выступая представителем своей компании при чиновниках Свободного Государства Конго. Вот как он позднее описал сцену, которую наблюдал один-два раза в месяц:

«Набережная в Антверпене; пришвартованный пароход; музыкальный звон колоколов со старинного собора; звуки Брабансонны — бельгийского гимна. На набережной и на палубах парохода толчея, пёстрая толпа. Военные мундиры, колыхание женских платьев. Офицеры судна скользят туда и обратно. Люки задраиваются. Пар поднимается. Окружённые группами родственников или дружков, пассажиры, направлявшиеся в Конго. Мужчины, пригодность которых для проживания и управления в тропической Африке вызвала бы сомнение даже у новичка. В основном молодые, и в основном дурного типа: низкорослые, бледные, пропойцы. Одни сотрясались от рыданий; другие шатались в полуопьянении. Многие носили широкополые тропические фетровые [шляпы] и имели ружья, перекинутые через плечо — впервые в жизни гордые обладатели того или другого. Здесь и там попадался старший, загорелый человек — тот, кто явно уже проходил через всё это раньше. Лица этих людей явно были неприятны для взгляда: изуродованные жестокостью, с жестокими и похотливыми глазами; лица, от которых человек невольно отворачивается с содроганием от отвращения».

Будучи представителем Elder Dempster в Бельгии, Морель имел дело не только с работой на пристани, но и с высшими конголезскими чиновниками Леопольда. Позднее он вспоминал, как один эпизод в офисе самого высокопоставленного из них пробудил у него подозрения:

«Комната, окна которой выходят на заднюю часть Королевского дворца в Брюсселе. Мрачная комната, с толстым ковром и тяжёлыми шторами: комната гнетущих теней. В её центре — человек за письменным столом. Человек, худой до истощения, с узкими сутулыми плечами; с покатым лбом, высоким изогнутым носом, большими ушами, посаженными далеко назад: с фонарными челюстями, холодными глазами. Лицо в покое — пассивно бесчеловечное, бескровное, окаменевшее, всё из острых костей и глубоких впадин: лицо тогдашнего «госсекретаря» Свободного Государства Конго... Физиономия госсекретаря претерпевает поразительное и тревожное превращение. На неё накатывает своего рода непроизвольная судорога... Это уже лицо другого человека смотрит на нас. Маска безупречной официальности срывается, словно напудренная перчатка с руки. Он наклоняется вперёд и стремительной отрывистой речью жалуется, что конфиденциальная информация о грузе последнего парохода, уходившего в рейс, просочилась в прессу... Указывается абзац. Он кажется вполне невинным, представляя собой список основных товаров на борту. Но этот список включает перечень ящиков с винтовочными патронами, ящиков с ружьями и ящиков с капсюльными ружьями [военными мушкетами] ... Вот в чём ошибка. Вот в чём нарушение профессиональной тайны. Когда говорится о чудовищности этой неосторожности, выступающий поднимается, мертвенно-бледные щёки заливаются краской, голос дрожит... длинные костлявые руки размахивают в воздухе. Он не хочет слышать оправданий; не допускает возражений. Снова и снова он с пылким нажимом повторяет слова *secret professionnel*. Его жесты становятся бурными... Самый молодой из присутствующих выходит из комнаты, задаваясь вопросом, зачем требуется столь

большое количество военного снаряжения... почему его экспорт должен держаться в секрете и почему правительство Конго столь сильно обеспокоено этой «неосторожностью»».

На пристани в Антверпене Морель видел, что перевозили суда Elder Dempster. Но вскоре он заметил, что записи, которые он тщательно составлял для своего работодателя, не совпадали со статистикой торговли, публикуемой Свободным Государством Конго. Изучая расхождения между этими двумя наборами цифр, он начал раскрывать сложную сеть мошенничества. Три открытия потрясли его.

Первым открытием было то, что груз оружия, отправленный в Конго и разглашение которого так взволновало госсекретаря, не был исключением; это было правилом: «Пароходы Elder Dempster, занятые в конголезской торговле, в течение последних нескольких лет регулярно перевозили огромные количества винтовочных патронов и тысячи ружей и капсюльных ружей, предназначенных либо самому Государству, либо различным бельгийским „торговым“ компаниям... Для каких целей использовалось это вооружение?»

Вторым открытием Мореля было то, что кто-то присваивал себе внушительные прибыли. В пересчёте на десятки миллионов современных долларов: «Количество каучука и слоновой кости, доставленное из Конго на судах Elder Dempster... значительно превышало объёмы, указанные в отчётах правительства Конго... В чей карман уходил этот неучтённый излишек?»

Его последнее открытие отчётливо предстало перед ним на доках, когда он наблюдал за погрузкой и разгрузкой судов, и оно подтвердилось в записях Elder Dempster. Там он обнаружил самое зловещее сообщение: «Из импорта, поступавшего в Конго,

примерно 80 % составляли товары, совершенно далекие от торговых целей. Однако Конго всё больше экспортировало каучука и слоновой кости, за которые, судя по импортной статистике, туземцы не получали ничего или почти ничего. Каким же образом добывались этот каучук и слоновая кость? Уж, конечно, не путём коммерческой торговли. В Конго ничего не ввозилось для оплаты того, что из него вывозилось».

Морель был прав. Теперь мы знаем, что стоимость каучука, слоновой кости и других богатств, ежегодно поступающих в Европу на судах Elder Dempster, была примерно в пять раз выше стоимости товаров, отправляемых в Конго и предназначавшихся для африканцев. В обмен на каучук и слоновую кость, как понимал Морель, африканцам Конго невозможно было платить деньгами — которыми им, как он знал, пользоваться не разрешалось — или товарами, поступающими откуда-то ещё, ведь Elder Dempster имела монополию на грузоперевозки. Очевидно, им не платили вовсе.

Позднее в жизни Э. Д. Морель стал хорошим другом сэра Артура Конан Дойла, создателя Шерлока Холмса. Но молодой Морель сделал вывод, более далёкий по последствиям, чем всё, чего достиг Холмс. Из того, что он видел на пристани в Антверпене, и из изучения записей своей компании в Ливерпуле, он сделал вывод о существовании — на другом континенте, в тысячах миль отсюда — рабства.

«Эти цифры говорили сами за себя... Принудительный труд ужасного и непрерывного характера один только мог объяснить такие неслыханные прибыли... принудительный труд, в котором непосредственным выгодоприобретателем было правительство Конго; принудительный труд, направляемый ближайшими

соратниками самого короля... Я был ошеломлён и потрясён совокупным значением своих открытий. Достаточно ужасно натолкнуться на убийство. А я натолкнулся на тайное общество убийц, во главе которого стоял король-преступник».

С этим блестящим прозрением малоизвестного служащего судоходной компании король Леопольд II приобрёл своего самого грозного врага.

ЧАСТЬ II

КОРОЛЬ В ОСАДЕ

ДАВИД И ГОЛИАФ

В то время, когда Э. Д. Морель сделал свои открытия, большинство людей в Европе и Соединённых Штатах знали удивительно мало о механизме эксплуатации Леопольда. Немногие европейцы, вернувшиеся из Конго, говорили публично о кровопролитии, в котором участвовали. За исключением Джорджа Вашингтона Уильямса почти за десять лет до этого, журналисты, ездившие в Конго, обычно подражали Стэнли, восхваляя режим короля. (например, Двадцать шесть из них отправились туда, чтобы восхищаться открытием железной дороги в 1898 году.) Иностранные миссионеры, которые видели так много жестокостей, не обладали ни медийной хваткой, ни политическим весом. Критики Леопольда из британских гуманитарных обществ легко отвергались общественностью как пережитки прошлых сражений, вроде аболиционизма, и как люди, которые всегда были недовольны чем-то в каком-нибудь дальнем уголке мира.

Морель изменил бы всё это. До этого ни один из противников Леопольда не имел доступа к фактам и цифрам из конголезской администрации в Европе, которые Морель почерпнул из своего положения инсайдера в Elder Dempster. И до этого никто, кроме преждевременно умершего Уильямса, не обладал ещё одним качеством, которое вскоре проявил Морель: редким умением доносить своё послание до публики.

Сделав свои драматические открытия, Морель отказался хранить молчание. Сначала он обратился к своему начальнику, сэру Альфреду Джонсу, главе линии Elder Dempster, президенту

Ливерпульской торговой палаты — и почётному консулу Свободного Государства Конго в Ливерпуле. «Он был не из тех людей, к которым легко подойти. Ему не нравилось, когда ему сообщали неприятные факты... На следующий день он уехал в Брюссель. По возвращении он сохранял молчание, по крайней мере со мной, и я заметил явную холодность в его манере... Он сказал мне, что встречался с королём, и король пообещал ему, что реформы будут проведены, а бельгийцы делают великие дела и им нужно время, чтобы привести в порядок свой африканский дом».

Работодатели Мореля сильно рисковали. Если бы он сделал свою информацию публичной и разгневал Леопольда, компания могла потерять прибыльный конголезский судоходный контракт. Теперь руководители компании не знали, как справиться с этим дерзким младшим служащим, который говорил им, что обнаружил нечто ужасное об их лучшем клиенте — и, что ещё хуже, требовал, чтобы они что-то предприняли.

В Бельгии Морель внезапно понял: «атмосфера изменилась, и сотней тонких способов мне дали понять, что моё присутствие нежелательно». В штаб-квартире Elder Dempster в Ливерпуле с ним стали обращаться холодно; затем компания попыталась заставить его замолчать. Ему предложили более высокую зарплату и повышение на должность в какой-нибудь другой стране. Когда это не сработало, Джонс предложил ему 200 фунтов в год за работу консультантом по одному часу в день — плохо завуалированную попытку подкупить его. Морель снова отказался. В 1901 году он уволился и занялся писательским трудом на полную ставку, исполненный «решиности сделать всё возможное, чтобы разоблачить и уничтожить то, что я тогда понимал как узаконенное бесчестье... сопровождаемое

невообразимыми зверствами и ответственное за уничтожение колоссального количества человеческих жизней».

Морель понимал, что сделал судьбоносный шаг. «Я спустил лодку на воду, — писал он, — и уже не могло быть возврата назад». Ему было двадцать восемь лет.

Из-под пера Мореля теперь потоком лились нападки на Леопольда. Сначала он работал в одной британской газете, занимавшейся вопросами Африки, но её редактор ограничивал, что он мог говорить о Конго. Поэтому в 1903 году, при финансовой поддержке из разных источников, включая Джона Холта — ливерпульского бизнесмена, известного своей порядочностью и бывшего своего рода наставником Мореля, — он основал собственное издание. The West African Mail — «Иллюстрированный еженедельный журнал, основанный для удовлетворения стремительно растущего интереса к вопросам Западной и Центральной Африки» — стал форумом, где никто не мог подвергать его цензуре.

Морель был цельной натурой: его густые усы «руль» и высокий, широкогрудый стан излучали силу; его тёмные глаза пылали негодованием. Миллионы слов, которые будут исходить из-под его пера до конца жизни, ложились почерком, мчавшимся по странице дерзкими, наклонёнными вперёд линиями, уплощёнными скоростью, словно у них не было времени задерживаться на пути к своей цели.

В некоторых отношениях Мореля труднее понять, чем некоторых других фигур конголезской истории. Например, легко увидеть, как болезненное детство Стэнли в приюте для бедных

могло породить его жестокость и стремление оставить свой след в мире. Истоки же пламенной страсти к справедливости, которая питала Мореля, менее очевидны. Свою юность он провёл в деловом мире, а не в социалистическом движении, вдохновившем многих борцов начала XX века. В молодости он не был активен ни в какой-то политической партии, ни в общественном движении. Хотя у него были предки-квакеры, он, возможно, открыл их для себя лишь позже, так как нет сведений, что в детстве он получал квакерское воспитание. Формально он был безынициативным членом Англиканской церкви, но в глубине души, подобно другому великому бунтарю квакерского происхождения Томасу Пейну, мало ценил любые формы организованной религии. В своей кампании против короля Леопольда ему нечего было приобрести, только потерять - многообещающую карьеру в Elder Dempster. У него была больная мать, жена и вскоре должна была появиться большая семья, которую нужно было содержать. Во всех отношениях он казался маловероятным лидером великого нравственного крестового похода. Его поразительная способность к негодованию, по-видимому, была врождённой, так же как у некоторых людей врождённый великий музыкальный талант. После того, что он узнал в Брюсселе и Антверпене, он писал: «сидеть спокойно... было бы темпераментно невозможно».

Именно это тлеющее чувство возмущения привело Мореля в кратчайшие сроки к тому, что он стал величайшим британским журналистом-расследователем своего времени. Как только он решил выяснить всё, что возможно, о механизме функционирования Конго и раскрыть это миру, он создал огромный, хотя порой и повторяющийся, корпус трудов по этой теме: три полные книги и части двух других, сотни статей

почти для всех ведущих британских газет, а также многие — на французском языке для изданий во Франции и Бельгии, сотни писем в редакцию и несколько десятков брошюр (он выпустил шесть за один шестимесячный период, одну из них на французском). Всё это он делал, продолжая редактировать *The West African Mail* и писать в него значительную часть материалов. Помимо статей, опубликованных под его именем, многие колонки, подписанные «Африканус» или «Наблюдатель», по-видимому, тоже принадлежали перу самого редактора. Вскоре Морель также начал редактировать специальное ежемесячное приложение к газете, целиком посвящённое разоблачению несправедливости в Конго. И, несмотря на бешеный темп работы, он находил время для хобби — коллекционирования различных видов мотыльков.

Письмо Мореля сочетало сдержанную ярость с доскональной точностью. Каждая деталь в его книгах основывалась на тщательном исследовании, а доказательства собирались так же кропотливо, как материалы для юридической защиты. На протяжении лет и сторонники, и враги пытались найти в его трудах фактические ошибки — без особого успеха. Даже сегодня почти в любом исследовании каучуковой системы в Конго Леопольда, если проследить статистику и цитаты до их источников, многие из них окажутся впервые опубликованными Морелем.

Хотя вскоре его голос стал самым энергичным в Британии, направленным против зверств в Конго, он был не единственным. Несколько членов парламента, особенно сэр Чарльз Дилк — один из самых красноречивых защитников прав человека своего времени — выступали решительно. Были также гуманитарные группы, такие как Общество против рабства и Общество защиты аборигенов; они проповедовали христианский гуманизм,

который, хотя сегодня он звучит несколько патерналистски, они применяли для осуждения жестокостей, где бы те ни происходили — в колониях Британии или в других местах. Морель отличался от них не только своей бурной энергией, но и пламенной верой в то, что Конго представляет собой особый случай — целое государство, преднамеренно и систематически основанное на рабском труде. Гуманитарии, писал Морель, подчёркивали «чудовищный характер совершённых деяний, в то время как моё стремление с самого начала заключалось в том, чтобы показать, что, при определённых предпосылках [присвоении Леопольдом себе земли и всех её благ] ... эти деяния должны были неизбежно иметь место».

Важное влияние на Мореля оказала писательница Мэри Кингсли, ставшая его подругой незадолго до своей смерти в 1900 году. Её книга *Travels in West Africa* (1897) является одновременно жизнерадостной классикой тревел-литературы и одной из первых книг европейского автора, в которой африканцы представлены как люди. Она видела их не «дикарями», нуждающимися в цивилизации, а людьми, живущими в цельных обществах, которые разрушались колонизаторами и миссионерами, не имевшими никакого понимания африканской жизни.

Указ Леопольда о том, что «пустующие» земли принадлежат государству, как понял Морель, полностью разрушил традиционные системы общинного владения землёй и её благами. Он узнал от Кингсли, что большая часть земли в Африке традиционно принадлежала сообществу одной деревне, клану или племени. Если она не использовалась под посевы, то служила охотничьим угодьем, источником древесины для строительства, железа для орудий и оружия или других материалов.

Помимо того, что это было воровством, захват земли не оставлял африканцам ничего для обмена, что особенно возмущало Мореля, имевшего страстную веру в свободную торговлю. Подобно Кингсли, он был убеждён, что только свободная торговля сможет гуманно ввести Африку в современную эпоху. В некотором смысле удивительно традиционным для такого бунтаря образом Морель полагал, что то, что полезно для ливерпульских торговцев, полезно и для Африки. Его вера понятна, поскольку несколько его друзей-бизнесменов из Ливерпуля были квакерами, которые серьёзно относились к своей деловой этике и беззаветно поддерживали его.

Теперь Морель энергично выступал с книгами, речами, статьями и брошюрами о Конго. О его поездке туда не могло быть и речи, ведь Леопольд регулярно запрещал въезд враждебным журналистам. Но это его не смущало. Как только Морель утвердил себя как самый осведомлённый и самый откровенный критик Свободного Государства Конго, посвящённые знали: если у них есть разоблачающие документы для утечки, то именно к нему нужно идти. И чем больше он публиковал, тем больше документов к нему поступало. Его умение добывать инсайдерскую информацию постоянно приводило в ярость Леопольда и его окружение. Пока отполированная версия Конго, созданная королём, демонстрировалась на всемирных выставках, в оранжереях и музеях, совсем другое Конго становилось видимым на страницах *The West African Mail*.

Когда, например, представители Леопольда с негодованием отрицали, что происходили похищения женщин для того, чтобы заставить их мужей собирать каучук, Морель опубликовал бланк на французском языке, где каждый агент концессионной

компании A.B.I.R. должен был указывать «туземцев, находящихся под телесным заключением в течение месяца — 1903 года». На странице были графы, которые предстояло заполнить для каждого заложника: «Имя», «Деревня», «Причина ареста», «Дата начала», «Дата окончания», «Примечания». И не оставалось сомнений, почему людей держали «под телесным заключением»; он также опубликовал приказ администрации A.B.I.R., инструктировавший агентов о «содержании и кормлении заложников».

Несогласные государственные или корпоративные служащие в Конго не могли писать Морелю напрямую, так как *cabinet noir* — цензурное бюро в Боме — отслеживало их переписку. Но когда эти люди возвращались домой, они привозили документы. В течение многих лет одним из тайных источников Мореля был Реймонд Де Грез, награждённый ветеран *Force Publique*, несколько раз раненный в бою, который тихо снабжал Мореля потоком инсайдерской информации из Брюсселя. Кто-то в бельгийском головном офисе крупной конголезской компании — той самой, что наняла Джозефа Конрада капитаном парохода —, по-видимому, передал Морелю подборку писем агентов компании в Конго. А если какой-нибудь разочарованный конголезский ветеран возвращался домой и давал интервью газете — будь, то в Бельгии или Германии, Швеции или Италии, — контакты Мореля присылали ему вырезку, и он следил за тем, чтобы критическая информация попадала в британскую прессу. Однажды он даже насмеялся над конголезской администрацией, опубликовав на французском языке длинный подробный список конфиденциальных меморандумов, писем и других документов, которые кто-то предложил ему продать.

Его кампания подстегнула оппозицию Леопольду в Бельгии, особенно среди социалистов в парламенте. И когда в бельгийских

парламентских дебатах всплывала компрометирующая информация, Морель быстро перепечатывал её для куда более широкой аудитории в Англии. Одним из показательных документов, которые он опубликовал, был, например, секретный приказ чиновникам Свободного Государства Конго на местах о премиях, которые они получали за мужчин, призванных в *Force Publique*: «90 франков за каждого здорового и крепкого мужчину, признанного годным к военной службе и рост которого превышает 1 метр 55 сантиметров; 65 франков за каждого юношу ростом не менее 1 метра 35 сантиметров; 15 франков за каждого мальчика. Мальчики должны быть ростом не менее 1 метра 20 сантиметров и достаточно сильны, чтобы выдерживать тяготы дороги... Премия будет выплачена только тогда, когда люди будут переданы в штабы различных округов». Временно исполняющий обязанности генерал-губернатора Конго добавил предупреждение местным чиновникам, что этот приказ «ни под каким предлогом не должен быть изъят из ваших архивов. Вы передадите своим подчинённым все необходимые объяснения, связанные с этой циркулярной бумагой, устно». Морель с удовольствием опубликовал и это предупреждение.

Из других материалов, процитированных в бельгийских парламентских дебатах, Морель привёл письмо офицера *Force Publique* лейтенанта Эдуарда Тилкенса, написанное его командиру: «Я ожидаю общего восстания. Думаю, я предупреждал вас об этом, майор... Мотив всегда один и тот же. Туземцы устали от... транспортных работ, сбора каучука, поставки скота... В течение трёх месяцев я воевал, имея лишь десять дней отдыха... У меня 152 пленника. Два года я веду войну в этой стране, всегда сопровождаемый сорока или пятьюдесятью альбини [солдатами,

вооружёнными казнозарядными винтовками Альбини]. И всё же я не могу сказать, что покори́л народ... Они предпочитают умереть... Что я могу сделать?»

Другими важными источниками информации стали британские, американские и шведские миссионеры. Цензоры Свободного Государства Конго не могли читать их письма, так как у них были собственные пароходы и коллеги, которые могли лично доставить почту обратно в Европу. На протяжении многих лет миссионеры были беспомощными свидетелями пороковых наказаний шикоттой, рейдов Force Publique, сожжённых деревень и других проявлений каучукового рабства на практике. И вдруг появился кто-то, кто был не только готов публиковать их свидетельства, но и передавать их в руки британского парламента. Морель засыпал миссионеров просьбами о дополнительной информации. Те охотно соглашались и также начали присылать то, что оказалось мощными орудиями в кампании Мореля: фотографии — разорённых деревень, отрубленных рук, детей с отрубленными руками и ногами.

Миссионеры предоставили некоторые из самых ужасающих рассказов, опубликованных Морелем. Американец описал, как видел, что солдаты Свободного Государства Конго отрубили кому-то руку, «в то время как бедное сердце билось достаточно сильно, чтобы выбрасывать кровь из перерезанных артерий на расстояние целых четырёх футов». Британский баптист описал, как чиновник Свободного Государства Конго наказывал нескольких мужчин за кражу каучука: «За это он приказал привязать их прямо на солнцепёке к кольям на день и ночь... Они были нагими и весь день без пищи и воды, и их мучения были столь велики, что языки их свисали наружу».

Иногда миссионеры присылали Морелю имена погибших, и он тоже публиковал их — словно списки потерь на войне. Больше нигде, разумеется, эти имена никогда не появлялись в печати:

1. Bokangu	Chief	Killed with blows with butt of gun
2. Mangundwa	"	" " " " " " "
3. Ekunja	"	" " " " " " "
.		
21. Ekumba	Man	Shot
22. Monjangu	"	"
23. Gili	Woman	"
24. Akaba	Boy	"

Морель также разоблачал сеть обманов — крупных и мелких, — которую непрерывно плели Леопольд и его союзники. Немного ускользало от его внимания. Например, король приложил большие усилия, чтобы расположить к себе сэра Хью Гилзина Рида, известного британского баптиста, владельца газеты и бывшего члена парламента. Леопольд несколько раз приглашал Гилзина Рида во Дворец, вручил ему Орден Леопольда и сделал его командором ордена Короны. В ответ Гилзин Рид в 1903 году возглавил делегацию Баптистского миссионерского общества в Брюссель. Там, на обеде с королём и другими видными бельгийцами, общество преподнесло «меморандум благодарности», выразивший надежду, что «народы Конго всегда будут пользоваться преимуществами справедливого и честного правления». Морель быстро указал в печати что, когда Гилзин Рид передал эту новость в London Morning Post, он переписал баптистское послание, чтобы выразить королю надежду, что «народы Свободного Государства Конго будут всё более осознавать преимущества вашего просвещённого правления».

Нападки Мореля вскоре вызвали ответ со стороны королевского дворца. Однажды вечером в Лондоне сэр Альфред Джонс, бывший начальник Мореля, пригласил его на званый ужин. Отношения между двумя мужчинами были, мягко говоря, напряжёнными, но за столом всё сопровождалось улыбками, и, как писал Морель, «вина были отборные и в изобилии». После ужина Джонс и другие гости удалились, оставив Мореля наедине с приехавшим из Антверпена судоходным управляющим по имени Аэртс, который ясно дал понять, что действует как представитель Леопольда.

После последней попытки убедить Мореля в том, что король имел добрые намерения и что реформы были на подходе, гость избрал, как описывает Морель, иной подход (многоточие в оригинале):

«Что мне были конголезцы? Какой толк в стремлении к неосуществимому идеалу? Я был молодым человеком. У меня была семья — не так ли? Я подвергал себя серьёзным рискам. А затем — тонкий, очень тонко завуалированный намёк на то, что мои постоянные интересы были бы лучше обеспечены, если бы... «Взятка?» Ах нет, что вы, ничего столь вульгарного, столь унижительного. Но всегда имелись способы всё уладить. Всё можно было устроить с честью для всех сторон. Это было чрезвычайно занимательное интервью и продолжалось до очень позднего часа. «Значит, ничто не поколеблет вашей решимости?» — «Боюсь, что нет». Мы расстались с взаимными улыбками. Но мой собеседник, как мне показалось, был слегка раздражён. Что же до меня, то я получил истинное удовольствие».

Одной из атак очевидцев на режим Леопольда, опубликованных Морелем, стала серия статей американца, чьи свидетельства, более полно изложенные в книге 1903 года, были сокрушительными. Во время своей последней службы в Конго Эдгар Канизиус

формально был коммерческим агентом компании Société Anversoise du Commerce au Congo, одной из крупных каучуковых концессионных компаний, но фактически выступал как командир антипартизанского отряда. Когда тридцатичетырёхлетний Канизиус прибыл на свой пост у северо-западной границы Конго в начале 1900 года, компания уже несколько лет собирала каучук, и лианы становились всё более редкими. Сборщики из племени буджа, пишет он, «превратились в простых рабов компании, так как производство каучука занимало всё их время, жертве приходилось искать повсюду гигантские лианы, из которых добывается сок. Их даже не кормили надсмотрщики, их единственным вознаграждением были товары или митаки [кусочки латунной проволоки] в смехотворно малых количествах... Туземцы горько сетовали на нехватку каучуконосных лиан и жалобно умоляли разрешить им выполнять какую-либо другую работу, кроме сбора каучука».

Мятежные буджа убили тридцать солдат, и против них было отправлено несколько карательных экспедиций. Одну из них возглавили Канизиус и два других белых офицера, сопровождаемые отрядом из пятидесяти чёрных солдат и тридцати носильщиков. Отряд вступал в деревни, покинутые бежавшими буджа, и оставлял после себя выжженную землю. «Когда наш отряд продвигался через деревню за деревней... Группа людей была выделена с факелами, чтобы поджечь каждую хижину... По мере нашего продвижения над джунглями на многие мили тянулась линия дыма, возвещавшая туземцам повсюду, что наступает цивилизация».

Носильщики перевозили припасы солдат. «Мы... маршировали... через расчищенные туземцами поляны, где сотни стволов больших деревьев лежали поперёк нашего пути. Через них нам приходилось перелезать, тропа, казалось, вела на вершину

каждого высокого термитника поблизости. Носильщикам было особенно тяжело, так как многие из них были скованы за шею... Они несли наши ящики, подвешенные к шестам, и когда один падал, он обычно увлекал за собой всех своих товарищей по той же цепи. Многие из бедняг настолько изнемогали от такого марша, что их можно было заставить двигаться дальше лишь ударами прикладов винтовок. У некоторых плечи были так натёрты шестами, что они буквально кричали от боли».

От военного поста в глубине страны войска Канизиуса прочёсывали джунгли в поисках повстанцев, и когда они захватывали их, то доводили до смерти работой: «Все были вынуждены нести тяжёлые грузы, каждый из которых ранее требовал для переноски двух человек... пока они, наконец, не умирали от голода и оспы».

По мере того, как бои становились ожесточённые, войска начали убивать своих пленных, в одном случае — сразу тридцать человек. К моменту завершения кампании «мы прошли через шесть недель мучительных маршей и убили более девятисот туземцев — мужчин, женщин и детей». Стимулом, а также причиной этих смертей, была возможность «прибавить целых двадцать тонн каучука к ежемесячному урожаю».

К 1903 году, после нескольких лет упорной работы, Морелю и его союзникам в парламенте и гуманитарных обществах удалось вывести «конголезский вопрос» на британскую общественную повестку заметнее, чем когда-либо прежде. В мае, после крупных дебатов, Палата общин единогласно приняла резолюцию с призывом к тому, чтобы конголезские «туземцы управлялись с человечностью». В резолюции также выражался протест против того, что Леопольд не выполнил свои обещания относительно

свободной торговли. Морель проявлял себя как проницательный лоббист. За кулисами он снабжал информацией выступавших в поддержку резолюции депутатов; он делал это и во время многих последующих парламентских дебатов о Конго.

Леопольд встревожился. Британия была сверхдержавой того времени и наиболее влиятельной колониальной державой в Африке. Если бы она направила всю силу своего влияния против Свободного Государства Конго, его прибыли оказались бы под угрозой. Был ли журналист вроде Мореля способен запустить такой процесс? Морель сумел организовать шквал критики в печати и вдохновить принятие парламентской резолюции, но заставить неохотное британское правительство оказать давление на дружественного монарха было, конечно, совсем иным делом. Леопольд и его окружение прекрасно осознавали эту разницу: один бельгийский редактор однажды метко заметил, что лорд Солсбери, давний премьер-министр Британии, «не тот человек, которому есть большое дело до судьбы чёрных».

Правление Леопольда было полностью разоблачено таким, каким оно было, но оно оставалось на месте. На данный момент он и Морель находились в тупике. Ни один из них не знал, что вскоре этот тупик будет нарушен человеком, который на следующий день после завершения британских парламентских дебатов отправился в путешествие на пароходе вверх по реке Конго.

ВЗЛОМ ВОРОВСКОЙ КУХНИ

КОГДА СОЮЗНИКИ МОРЕЛЯ в парламенте добились принятия резолюции протеста по Конго в мае 1903 года, Форин-офис отправил телеграмму Его Величества консулу в Конго с приказом «как можно скорее выехать во внутренние районы и присылать отчёты».

Консул, получивший эту телеграмму, был ирландец по имени Роджер Кейсмент, ветеран с двадцатилетним стажем работы в Африке. Впервые мы встречаем его в связи с Конго, собственно, на фотографии, сделанной двумя десятилетиями ранее. На ней изображена группа из четырёх молодых друзей, отправившихся работать в эти края в самые ранние годы режима короля Леопольда. На них пальто, галстуки и высокие накрахмаленные воротники. У троих — открытые, жизнерадостные британские лица, словно сошедшие с тысячи других постановочных групповых снимков кадетов или игроков в регби. Но четвёртый мужчина — с красивой чёрной бородой, чёрными волосами и густыми бровями — имел ироничный наклон головы и задумчивый взгляд, которые выделяли его среди остальных троих. «Фигура и лицо, — писал ирландский писатель Стивен Гвинн, познакомившийся с Кейсментом только позже, — он казался мне одним из самых красивых созданий, которых я когда-либо видел; его облик отличали обаяние, благородство и высокая рыцарственность. Он был истинным странствующим рыцарем».

Именно в 1883 году девятнадцатилетний Роджер Кейсмент впервые отправился в долгое плавание в Конго, работая, как

оказалось, кладовщиком на судне компании Elder Dempster. Он вернулся на следующий год и оставался в этих краях до конца 1880-х годов. Он управлял базой снабжения для злополучной Сэнфордской исследовательской экспедиции и работал с топографами, прокладывавшими маршрут железной дороги в обход порогов. По его словам, он стал первым белым человеком, который когда-либо переплыл кишашую крокодилами реку Инкиси. Когда он служил светским управляющим делами баптистской миссии, его работодатель высказывал мягкое неодобрение, считая, что он недостаточно торгуется при покупке еды. «Он очень добр к туземцам, слишком добр, слишком щедр, слишком готов всё раздавать. Он никогда не смог бы разбогатеть как торговец».

Когда Стэнли пробирался через Конго во время своей Экспедиции по спасению Эмина-Паши, Кейсмент сопровождал его в течение недели. «Хороший образец способного англичанина», — отметил путешественник в своём дневнике, не заметив, что Кейсмент был ирландцем. Кейсмент был лучшим судьёй Стэнли, ибо, хотя путешественник оставался для него в какой-то мере героем, Кейсмент распознавал садистские наклонности Стэнли. Будучи сам любителем собак, Кейсмент позже с ужасом узнал, что Стэнли отрезал хвост собственной собаке, сварил его и накормил им её же.

Кейсмент видел куда больше жестокости со стороны других белых людей в Африке. Трудно сказать, был ли для него какой-то определённый нравственный переломный момент, подобно тому, что пережил Э. Д. Морель, сделав свои открытия в Антверпене и Брюсселе. Таким моментом для Кейсмента мог стать 1887 год, когда он плыл вверх по реке Конго на пароходе, где также

находился офицер Force Publique по имени Гийом ван Керкховен. Этот офицер был вспыльчивым, печально известным агрессивным командиром с лукавой улыбкой и усами с восковыми кончиками; одну из его экспедиций даже генерал-губернатор Конго назвал «ураганом, который прошёл по сельской местности, оставив после себя лишь разорение». Кейсмент слушал в ужасе, как Ван Керкховен весело объяснял, что он платил своим чёрным солдатам «пять латунных прутьев (2½ пенса) за каждую человеческую голову, которую они приносили ему во время любых военных действий, которые он проводил. Он сказал, что это было для того, чтобы стимулировать их доблесть перед лицом врага».

В 1890 году, когда Джозеф Конрад прибыл в Матади, он записал в своём дневнике: «Познакомился с мистером Роджером Кейсментом, что я счёл бы большим удовольствием при любых обстоятельствах... Думает, говорит хорошо, весьма умен и очень симпатичен». Грубоватый и неустроенный Матади — жаркое, влажное скопление построек из гофрированного железа на склоне холма с видом на реку Конго — был наполнен пьяными моряками, африканскими проститутками и молодыми европейскими и американскими авантюристами, надеявшимися быстро разбогатеть на буме слоновой кости. И Кейсмент, и Конрад чувствовали себя чужими в этой «золотой лихорадке»; они делили комнату около десяти дней, пока Конрад ждал отправки вглубь страны, и вместе посещали близлежащие деревни.

Все находили Кейсmenta впечатляющим собеседником. «Его главным обаянием был голос, очень музыкальный», — вспоминал коллега. «Кейсмент не разговаривает с вами, — говорил другой, — он мурлычет вам». Разговаривая или «мурлыча», Кейсмент обладал множеством историй, которые, по-видимому, омрачили

взгляд Конрада на колониализм в Африке. Когда Конрад покидал Конго в конце своих шести месяцев пребывания там, он увидел Кейсмента ещё раз. Двое снова встретились на ужине в Лондоне позднее в том же десятилетии, и, по словам Конрада, «ушли оттуда вместе в Sports Club и проговорили там до трёх утра». Романист написал другу: «Он мог бы рассказать вам такие вещи! Вещи, которые я пытался забыть, вещи, которых я никогда не знал». Одной из этих вещей — и, возможно, ещё одним источником образа Курца и его частокола из человеческих черепов — вполне могла быть история о Ван Керкховене, собирателе африканских голов.

В 1892 году Роджер Кейсмент поступил на службу в британскую колониальную администрацию на территории нынешней Нигерии. Однако у него уже формировался взгляд на несправедливость, хотя он и служил ведущей колониальной державе своего времени. Его первый зафиксированный публичный протест содержался в возмущённом письме, которое он написал в 1894 году в Общество защиты аборигенов, и был направлен против казни. Жертвами стали двадцать семь африканских солдат-призывников и их жёны в немецкой колонии Камерун; мужчины взбунтовались после того, как женщин высекли. «Надеюсь, вы сможете предпринять что-то, чтобы поднять протестующий голос в Англии, — писал Кейсмент, — против чудовищного поведения немцев. Хотя эти мужчины были их солдатами, у нас всех на земле есть поручение и право защищать слабых от сильных и протестовать против жестокости в любой форме».

Вскоре Кейсмент перешёл на службу в британское консульство; после работы на нескольких постах в южной Африке в 1900 году его направили для открытия первого британского

консульства в *État Indépendant du Congo*. Когда он проезжал через Брюссель по пути к новой должности, король Леопольд, зорко высматривавший любого, кто мог бы помочь его делу, пригласил его на обед. Скромный консул оказался за столом во дворце с королём, королевой Марией-Генриеттой, их дочерью принцессой Клементиной и французским принцем Виктором Наполеоном.

Леопольд пригласил Кейсмента прийти снова на следующий день, и тот пришёл, слушая, как король полтора часа рассуждал о «цивилизаторской» и «возвышающей» работе, которую он якобы ведёт в Конго. Хотя Леопольд признал, что некоторые его агенты могли быть виновны в «излишествах», как отметил Кейсмент, король также утверждал, что «невозможно всегда иметь в Африке только лучших людей; и, действительно, африканский климат, похоже, часто вызывает ухудшение характера». Как всегда, король стремился к тому, чтобы в случае появления какой-либо компрометирующей информации именно он узнавал о ней первым. «Его Величество, прощаясь со мной, — писал Кейсмент, — попросил меня писать ему лично в любое время и писать откровенно, если появится что-то, о чём я мог бы, неофициально, его проинформировать». В отличие от большинства посетителей, Кейсмент, по-видимому, не был очарован Леопольдом. Он уже слишком многое видел в Конго.

На своём посту консула Кейсмент оставался очарован Африкой, но это было беспокойное время в его жизни. Ему приближалось к сорока, и он казался застрявшим на захолустной должности, которая не использовала его талантов. Консульский корпус был «бедным пасынком» британской дипломатической службы. Кроме того, ответственность за Конго была несоизмерима с работой британского консула в Париже или Берлине — постом,

который куда чаще доставался выходцам из хорошо связанных семей в Англии, чем из среднего класса в Ирландии. Кейсмент чувствовал, что он всегда в самом низу списка. Его повседневная жизнь была непрекращающейся борьбой с протекающими крышами, москитами, дизентерией и скукой бесславной работы — «иногда даже приходилось вставать с постели во время болезни, чтобы выслушать жалобу пьяного моряка».

У Кейсмента были и другие разочарования. Его возмущение несправедливостью колониального правления не находило выхода в работе консула. У него был смутный интерес к ирландской истории, но он не мог развивать его в тропиках. У него были амбиции писателя, но не было других возможностей, кроме многословных отчётов, которые забавляли сотрудников Министерства иностранных дел в Лондоне; немногие другие консулы регулярно отправляли двадцатистраничные донесения из западноафриканских портов. Он написал большое количество посредственных стихов, но опубликовать сумел почти ничего.

Другие белые люди в Конго считали нового британского консула чудачком. Когда он впервые отправился в путь как консул из Матади в Леопольдвиль, например, Кейсмент не воспользовался новой железной дорогой; он прошёл пешком более двухсот миль — в знак протеста против высоких тарифов на проезд. В последующих поездках он всё же пользовался железной дорогой, как сообщал в Брюссель один озадаченный чиновник Конго, но «он всегда ездил вторым классом. Во всех своих передвижениях его всегда сопровождал большой бульдог с мощными челюстями».

В глубине души у Кейсмента было нечто ещё, чем он не мог поделиться даже с близкими друзьями или родственниками, хотя у нескольких были подозрения. Он был гомосексуалом. В

стихотворении, которое никогда не могло быть опубликовано при его жизни, он написал:

«Я стремился лишь любовью идти
Туда, где Бог начертал страшное «нет»

...

Я лишь знаю, что не могу умереть
И оставить эту любовь, созданную Богом, а не мной».

Кейсмент жил в эпоху, когда разоблачение означало позор или нечто ещё худшее. В 1895 году Оскар Уайльд, его соотечественник-ирландец, был приговорён к двум годам каторжных работ за «совершение грубой непристойности с другими мужчинами». Весной 1903 года, когда Кейсмент возвращался в Конго из отпуска в Европе, другой случай попал в заголовки газет: генерал-майор сэр Гектор Макдональд, один из самых награждённых британских солдат своего времени. Будучи разоблачённым как гомосексуал и ожидая военного суда, покончил с собой в гостиничном номере в Париже.

«Новость о самоубийстве сэра Гектора Макдональда в Париже!» — записал Кейсмент в своём дневнике 17 апреля 1903 года. «Причины, приведённые [в газетах], до жалости печальны. Самый печальный случай, это уж наверняка, в своём роде». Двумя днями позже он добавил: «Очень жаль ужасный конец Гектора Макдональда». Ещё через одиннадцать дней, в конголезском порту Банана, мысли о Макдональде преследовали Кейсмента в бессонную ночь: «Ужасный номер в гостинице. Мушки-песчанки. Не сомкнул глаз. Смерть Гектора Макдональда очень печальна».

Кейсмент, должно быть, понимал, что если у него когда-либо появятся влиятельные враги, он станет уязвим для шантажа. И всё же, с оттенком бессознательной саморазрушительности, он

вёл тщательно подробный дневник своих свиданий, почти все из которых были оплачены.

В мае 1903 года, в месяце после его дневниковых записей о самоубийстве Макдональда, Кейсмент нашёл повод для радости; более того, это сулило серьёзный скачок в его карьере. В течение двух лет он отправлял отчёты в Министерство иностранных дел о жестоких условиях в Конго при Леопольде. Теперь, когда резолюция протеста по Конго была единогласно принята Палатой общин, британское правительство должно было предпринять ответный шаг с высоким политическим резонансом.

В предыдущем году Кейсмент отправил в Лондон телеграмму с предложением совершить исследовательскую поездку в районы добычи каучука во внутренних областях. Он получил разрешение, но отпуск в Англии и Ирландии задержал поездку. Парламентские дебаты немедленно вернули этот вопрос в повестку, и вскоре после возвращения в Конго Кейсмент уже был в пути.

Он знал, что путешествие будет тяжёлым; позже, написав другу, Кейсмент процитировал африканскую пословицу: «Человек не идёт в колючки, если только змея не гонится за ним — или он сам не гонится за змеей». И добавил: «Я охочусь за змеей, и, даст Бог, я её прикончу».

Чтобы провести своё расследование, Кейсмент мог бы воспользоваться новой железной дорогой до Стэнли-Пула и провести несколько недель, объезжая районы, находившиеся в лёгкой досягаемости от удобного кирпичного дома, где он остановился. Но он этого не сделал. Вместо этого он провёл более трёх с половиной месяцев во внутренних районах. Чтобы не

зависеть от властей в вопросах передвижения — главного рычага, который они имели над многими посетителями, — он арендовал у американских миссионеров узкий железный однопалубный пароход и отправился далеко вверх по реке Конго. Он провёл семнадцать дней на озере Тумба, где государство вело каучуковое рабство без посредников; он посетил территорию концессионных компаний; направлял свой пароход по притокам и шёл пешком, когда реки заканчивались; пересчитал точное количество людей, удерживаемых в заложниках в деревне, не выполнившей каучуковую квоту; переплыл реку на каноэ и прошёл несколько миль через затопленный лес, чтобы встретиться с одной жертвой и лично осмотреть его раны.

Иногда Кейсмент оставался на ночь на миссионерской станции; иногда он ночевал на поляне у реки или на острове. («Бегемот вниз по течению. Видел трёх пеликанов, кормившихся рядом с нами. Также видел прекрасного египетского ибиса: чёрное тело, белые крылья; чудесный парень пролетел прямо над нами».) Он путешествовал, как всегда, со своим любимым бульдогом Джоном и взял с собой в качестве повара и помощника некоего человека, который в его дневнике фигурирует только как Хэри Билл. «Бедный старый Хэри Билл. Странная жизнь». Репертуар Хэри Билла как повара, по-видимому, ограничивался тремя блюдами: курицей, заварным кремом и чем-то, известным как варёный или тушёный сахар. «Курица, курица, заварной крем, заварной крем... каждый день... Чёрт возьми», — пишет Кейсмент. Иногда он становился саркастичным: «У нас снова был варёный сахар для разнообразия, плюс заварной крем». Или: «Тушёный сахар и заварной крем снова дважды в день в течение месяца — и это меня окончательно доконало».

Кейсмент отправлял в Министерство иностранных дел нескончаемый поток донесений. «В МИДе будут меня проклинять», — с удовлетворением отметил он. Несомненно, его проклинали и другие. Он писал потоки писем чиновникам Конго, осуждая конкретные злодеяния и — крайне недипломатично — всю систему управления колонией. «Эта система, месье генерал-губернатор, порочна — безнадёжно и полностью порочна... Вместо того, чтобы возвышать коренное население, которому она навязана и от которой оно страдает, она, если сохранится, приведёт лишь к его окончательному вымиранию и всеобщему осуждению со стороны цивилизованного человечества». Нет ничего удивительного в том, что до встревоженного Леопольда дошли слухи: его режим не будет благосклонно описан в отчёте британского консула. Подобные слухи достигли и Э. Д. Мореля, который с нетерпением ждал возвращения Кейсмента. Британскому министру иностранных дел Кейсмент с восторгом, в самой недипломатичной манере, заявил, что он «взломал воровскую кухню».

Он был человеком, охваченным одержимостью. Его гнев от увиденного производил сильное впечатление на многих других европейцев, которых он встречал; казалось, что его явное возмущение давало им разрешение действовать, исходя из собственных подавленных чувств. Двое миссионеров, которых посетил Кейсмент, были настолько вдохновлены его примером, что немедленно отправились в собственные расследовательские поездки; один начал писать критические письма генерал-губернатору. Спускаясь вниз по реке, Кейсмент встретил пароход британского миссионера-ветерана Джорджа Гренфелла, шедшего вверх, и они остановились, чтобы поговорить. После разговора с Кейсментом Гренфелл немедленно вышел из фиктивной

Комиссии по защите туземцев Леопольда (жест бессмысленный, впрочем: король позволил мандату комиссии истечь несколькими месяцами ранее, не уведомив ни одного из её членов). Итальянский консул в Конго, встревоженный рассказом Кейсмента, отказался от планов провести отпуск в Европе и предпринял собственное расследовательское путешествие, подтвердившее выводы Кейсмента.

Ежедневные дневниковые записи Кейсмента куда более трогательны для чтения, чем его тщательно сформулированный официальный отчёт; его ужас пульсирует сквозь эти краткие страницы.

5 июня: Страна — пустыня, туземцев больше нет.

25 июля: Я вошёл в деревни и увидел ближайшую — население ужасно уменьшилось — осталось только 93 человека из многих сотен.

26 июля: Бедные, хрупкие люди... прах к праху, пепел к пеплу — где же доброе сердце, жалостливая мысль — исчезли вместе.

6 августа: Сделал подробные записи от туземцев... Их жестоко порют за опоздание с корзинами [каучука]... Очень устал.

13 августа: Пришёл А. и сказал, что пятеро людей со стороны Бикоро с отрубленными руками дошли до Мьянги, намереваясь показать мне.

22 августа: Болонго совсем мёртв. Я хорошо помню его в ноябре 1887 года, тогда он был полон народа; теперь всего 14 взрослых. Я бы сказал, что люди жалки, горько жаловались на каучуковый налог... В 6:30 прошёл мимо пустынного берега Бокуты... Музеде говорит, что всех людей силой увели в Мампоко. Бедные несчастные души.

29 августа: Бонганданга... видел «рынок» каучука, а там только ружья — около 20 вооружённых людей... Население: 242 человека с каучуком, все охранялись как каторжники. Называть это «торговлей» — верх лжи.

30 августа: Шестнадцать мужчин, женщин и детей связаны из деревни Мбое близ города. Позорно. Мужчин посадили в тюрьму, детей отпустили по моему вмешательству. Позорно. Позорно, постыдная система.

31 августа: Вечером был организован танец в мою честь; все местные вожди и их жёны и т. д. пришли (по приказу Л.) на него. Бедные души. Мне было жаль их; из всех принудительных увеселений, какие я видел, это было худшим.

2 сентября: Видел, как 16 женщин захвачены часовыми Питерса и уведены в тюрьму.

9 сентября: В 11:10 прошёл мимо Болонго снова. Бедные люди подплыли на каноэ, чтобы умолять о помощи.

Живя уже спустя долгое время после движения против рабства и задолго до появления организаций вроде Amnesty International, Кейсмент в своём дневнике писал в духе аболиционистов: «Позорно. Позорно, постыдная система». Но официальный отчёт, который он составил впоследствии, был написан на языке, который позднее сделают своим Amnesty и подобные группы: формальном и сдержанном, оценивающем достоверность различных свидетелей, наполненном ссылками на законы и статистику и сопровождаемом приложениями и показаниями.

В конце 1903 года Кейсмент отплыл обратно в Европу, чтобы подготовить свой отчёт. Он провёл несколько недель в Лондоне,

диктуя и исправляя текст, а окончательные правки сделал в поезде по дороге из загородного дома Джозефа Конрада, где гостил у него и его семьи. Сведения в отчёте Кейсмента были в основном знакомы людям вроде Э. Д. Мореля и его небольшой группы сторонников, но впервые они должны были быть изложены с авторитетом консула Его Британского Величества. Доклад был тем более весом, что Кейсмент был ветераном Африки и часто сравнивал Конго, которое он когда-то знал, с тем же краем во времена каучукового террора.

Снова и снова Кейсмент описывает, как у трупов отрубали руки. Иногда это были не руки. В его отчёте приводятся слова одного свидетеля:

«Белые говорили своим солдатам: “Вы убиваете только женщин; вы не можете убить мужчин.” Тогда солдаты, когда они убивали нас (здесь П. П., отвечавший, остановился и замялся, а затем, указывая на половые органы моей собаки-бульдога — она лежала спящей у моих ног), отрезали именно это и несли белым, которые говорили: “Это правда, вы убили мужчин.”»

Несмотря на сдержанный тон и тщательную документацию, описания в отчёте об отрубленных руках и половых органах были куда более наглядными и жёсткими, чем ожидало британское правительство. Форин-офис, уже и без того испытывавший беспокойство, начал получать срочные просьбы отложить публикацию от сэра Константина Фиппса, яро про-леопольдовского британского министра в Брюсселе. Фиппс, самодовольный человек с ограниченными умственными способностями, не мог поверить, «что бельгийцы, представители культурного народа, среди которого я жил, могли, даже под тропическим небом, совершать акты утончённой жестокости». Единственной причиной, по которой

компании использовали «часовых», он объяснял государственному секретарю, была необходимость охранять сборщиков каучука во время их работы. «Пожалуйста, постарайтесь не допустить публикации отчёта Кейсмента до 10-го числа текущего месяца, даты, когда я неизбежно должен встретиться с королём бельгийцев», — телеграфировал Фиппс. «Публикация неизбежно поставит меня в неловкое положение при дворе».

Дополнительное давление исходило и из другого источника. По настоянию встревоженного Леопольда сэр Альфред Джонс из компании Elder Dempster Line дважды навещал Форин-офис, пытаясь смягчить содержание отчёта или хотя бы получить его предварительную копию для короля.

Кейсмент был настолько потрясён тем, что он увидел в Конго, что Форин-офис не мог его контролировать, и он дал несколько интервью лондонской прессе. Их публикация сделала невозможным цензурирование или отсрочку выхода его отчёта, хотя чиновники Форин-офиса всё же смягчили его, убрав все имена. Когда отчёт наконец был опубликован, в начале 1904 года, читатели обнаружили в нём показания свидетелей, начинавшиеся так: «Я — N. N. Эти двое рядом со мной — O. O. и P. P.» Или: «Белый человек, который это сказал, был главным белым в Ф. F. ... Его звали A. B.» Это придавало отчёту странно обезличенный тон, словно ужасные вещи совершались, но не с реальными людьми и не реальными людьми. Это также лишало Кейсмента возможности защищаться, ссылаясь на конкретных людей и места, когда сотрудники Леопольда выпустили пространственный ответ. Бельгийские газеты, связанные с конголезскими деловыми интересами, присоединились к атаке; одна из них, *La Tribune Congolaise*, писала, что люди, которых Кейсмент видел без рук,

«были несчастными, страдавшими раком кистей, из-за чего руки пришлось ампутировать в качестве простой хирургической операции».

Кейсмент был одновременно разгневан и разочарован. Человек вспыльчивый (он сам поначалу хотел защитить своих свидетелей, опустив их имена, но потом передумал) и легко обижающийся, он отправил в Форин-офис восемнадцатистраничное письмо-протест и пригрозил отставкой. В своём дневнике он написал, что его начальство — это «шайка глупцов»; одного, в частности, он назвал «ничтожным пустословом». В письме же он называл их «жалкой шайкой некомпетентных болванов».

Но затем, наконец, Кейсмент нашёл человека, с которым мог поделиться своими чувствами. Ещё находясь в Конго, он с жадностью читал труды Мореля, и оба они с нетерпением ждали встречи. «Человек честный, как день», — написал Кейсмент в своём дневнике после того, как состоялась долгожданная встреча. «Поздно поужинали в Comedy [ресторан], а затем болтали до двух часов ночи. М. спал в кабинете». Кейсмент остановился в доме друга на Честер-сквер; Морель уехал после завтрака на следующее утро.

Легко представить себе разговор двух мужчин той ночью: высокого, чернобородого Кейсмента, кипевшего от ярости из-за увиденного, и Мореля с его усами «руль», почти на десятилетие моложе, тоже крупного, но коренастого, переполненного своей серьёзной яростью по поводу доказательств, которые он раскрыл в Европе. В каком-то смысле каждый из них видел лишь половину того, что составляло «Свободное Государство» Леопольда. Вместе они обладали наиболее полной версией истории из всех возможных. Морель вспоминал эту встречу всю свою жизнь:

«Я увидел перед собой мужчину моего роста, очень гибкого и жилистого, с выставленной грудью и высоко поднятой головой — словно у того, кто прожил жизнь в бескрайних просторах. Чёрные волосы и борода покрывали щеки, иссушенные тропическим солнцем. Чётко очерченные черты. Тёмно-синие пронзительные глаза, глубоко посаженные в глазницах. Длинное, худое, смуглое лицо в стиле Ван Дейка, высеченное властью и вместе с тем великой мягкостью. Исключительно красивое и завораживающее лицо. С того момента, как наши руки соприкоснулись и взгляды встретились, родилось взаимное доверие и уверенность, и чувство изоляции спало с меня, словно плащ. Вот был человек, воистину — тот, кто сумел бы убедить власть имущих в гнусности преступления, совершённого над беззащитным народом. ... Я часто вижу его теперь в воображении таким, каким увидел тогда, на той памятной встрече: он сидел у огня в тёмной комнате ... и разворачивал мягким, почти ровным, музыкальным голосом, языком особого достоинства и проникновенной силы, историю гнусного заговора. ... Временами он вставал и быстрыми, бесшумными шагами прохаживался по комнате; затем снова принимал свою сгорбленную позу у огня, его великолепный профиль резко выделялся в отблесках пламени.

Я в основном оставался молчаливым слушателем, крепко сжимая подлокотники кресла. По мере того как монолог ужаса продолжался ... я истинно верил, что вижу этих загнанных женщин, прижимающих к себе детей и в панике бегущих в лес: кровь, струившуюся из дрожащих чёрных тел под ударами хлыста из бегемотовой кожи, который снова и снова обрушивался; свирепых солдат, мечущихся туда-сюда среди горящих деревень; жуткий счёт отрубленных рук...

Кейсмент читал мне отрывки из своего отчёта, который он тогда писал, и смысл которых был почти идентичен часто повторяемым мною фразам. Он сказал, что был поражён, обнаружив: я, находясь за пять тысяч миль, пришёл к выводам, во всём совпадающим с его собственными. ... С меня словно свалился огромный груз.

Было далеко за полночь, когда мы расстались. Листы его обширного отчёта были разбросаны по столу, стульям и полу. И среди обломков этого отчёта — отчёта, которому суждено было ... сорвать завесу с величайшего обмана и злодеяния, известных нашему поколению, — я заснул в одежде на диване, в то время как его автор отправился наверх, в спальню».

Несколько недель спустя Кейсмент посетил дом Мореля в Хавардене, маленькой валлийской деревне недалеко от границы с Англией; он записал в дневнике: «Почти всю ночь говорили, жена хорошая женщина». Он пытался убедить Мореля основать организацию, посвящённую исключительно кампании за справедливость в Конго, но Морель поначалу колебался. Общество защиты аборигенов настороженно отнеслось к перспективе появления новой группы, которая могла бы посягнуть на его сферу деятельности и, возможно, уменьшить поступления от сбора средств. Но жена Мореля, Мэри, согласилась с Кейсментом, и, возможно, именно по её настоянию Морель отправился в Ирландию для дальнейших переговоров с Кейсментом. Он писал: «План Кейсмента нашёл горячую поддержку у моей жены, и если я переправился через Ирландский канал ... чтобы встретиться с ним ..., то в значительной степени благодаря её влиянию. ... Именно ... на той ирландской земле ... удобренной столькими человеческими слезами, мы с Кейсментом продолжили заговор ... [и] обсуждали пути и средства и наметили общий план кампании».

Мужчины беседовали за ужином в отеле «Слив Донард» в Ньюкасл-апон-Даун, где Морель убедился, что «конголезское зло было особым и исключительным злом, требующим особых средств нападения. ... Если британский народ удастся по-настоящему поднять, можно будет поднять и весь мир. ... Британия уже играла эту роль прежде [в кампании против рабства]. ... Сможем ли мы пробудить трепет в её великом сердце?»

Хотя Кейсмент находился между назначениями, он всё ещё числился в консульской службе, поэтому возглавить новую организацию должен был Морель. «Но как преодолеть грубые житейские детали? Я объяснил Кейсменту, что у меня нет денег. ... У него тоже не было. ... Не колеблясь ни мгновения, он выписал чек на 100 фунтов». Для Кейсмента это было больше месячного дохода.

Вскоре после этого Кейсмент написал Морелю: «С каждым днём нас будет становиться всё больше, пока с просторов всей Англии не вознесётся одно мощное „Нет!“».

Через несколько недель после их ужина в Ирландии Морель основал Ассоциацию за реформу в Конго. На часть пожертвования Кейсмента он приобрёл первые принадлежности, включая пишущую машинку. Он заручился публичной поддержкой впечатляющего списка — графов, виконтов, бизнесменов, священнослужителей, членов парламента и, чтобы напомнить о наследии борьбы против рабства, правнука знаменитого британского аболициониста Уильяма Уилберфорса. На своё первое собрание, состоявшееся 23 марта 1904 года в Ливерпульском филармоническом зале, Ассоциация за реформу в Конго привлекла более тысячи человек.

Хотя у Кейсмента и Мореля у каждого был свой колючий

характер, их дружба возникла сразу и оказалась прочной. «Я думаю, Кейсмент — настолько близок к тому, чтобы быть святым, насколько это возможно для человека», — писал Морель другу. Теперь у каждого был идеальный союзник. Отношения углублялись с годами; в многочисленных письмах, которыми они обменивались, Кейсмент становился «Дорогим Тигром», а Морель — «Дорогим Бульдогом». Леопольд же был «Королём зверей».

Хотя он мог быть лишь «молчаливым партнёром» в кампании за реформы, Кейсмент подталкивал «Бульдога», давая воодушевлённые советы о политической стратегии, о том, на кого оказывать давление, и даже о том, какую одежду носить. Без ведома Форин-офиса он помогал собирать деньги для кампании. Морель, в свою очередь, побуждал Кейсмента вернуться в Конго для проведения нового расследования. Консул ответил, что чиновники могут «повесить меня, как они повесили Стокса, — и нельзя было бы найти лучшей участи, чем быть повешенным, чтобы положить конец этому логову дьяволов». Это не последний раз, когда мы услышим от Кейсмента намёк на стремление к мученичеству.

Эту встречу «Бульдога» и «Тигра», когда они замыслили нападение на «Короля зверей», их сторонники позднее сравнивали с легендарной беседой под раскидистым деревом между Уильямом Уилберфорсом и Уильямом Питтом Младшим более чем за сто лет до того — шагом на пути к началу британского движения против рабства. Но, как и британские аболиционисты, Морель и Кейсмент в тот момент были в безопасности в Англии; при всём своём благом стремлении они сами не подвергались ударам шикотты или тяжести кандалов. Они были белыми людьми, пытавшимися остановить других белых людей от зверств над африканцами. Большинство африканцев, сражавшихся в этой битве в Конго,

погибли, их имена так и не были записаны. В некотором смысле мы чтим Мореля и Кейсмента вместо них.

Однако эти двое были гораздо больше, чем «диванные благодетели». Это были люди убеждений — и оба в итоге заплатили высокую цену. Когда они встретились и разделили свою страсть к делу Конго в декабре 1903 года, Морель и Кейсмент не знали, что более чем через десять лет у них появится ещё одна общая черта. Каждый из них будет проведён под стражей через ворота лондонской тюрьмы Пентонвилл. Один никогда больше не выйдет оттуда.

ОБНАЖИТЬ ЕГО ДЕЛА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД, который теперь возглавил Э. Д. Морель через Ассоциацию за реформу в Конго, оказывал неослабное и нарастающее давление на правительства Бельгии, Британии и США. Редко, когда один человек, не обладавший ни богатством, ни титулом, ни официальным постом, доставлял столько хлопот правительствам сразу нескольких крупных стран. Морель знал, что такие чиновники, как министр иностранных дел сэр Эдвард Грей, будут действовать только тогда, «когда их пинают, и если процесс пинания прекратится, он ничего не сделает». Этому «пинанию» Морель посвятил более десяти лет своей жизни.

Помимо руководства Ассоциацией за реформу в Конго, Морель продолжал тратить часть каждого рабочего дня, который иногда растягивался до шестнадцати–восемнадцати часов, на редактирование своей газеты *West African Mail*. «Люди, кажется, не вполне понимают, что — помимо всего прочего — я выпускаю еженедельную газету, — писал он одному из активистов, — плюс ежемесячный орган Ассоциации за реформу в Конго, объём которого иногда был очень велик и занял бы обычного человека почти на целый месяц. Только потому, что я исключительно быстрый работник, я смог справиться со всем этим».

Ещё одной причиной, позволявшей Морелю справляться со всем, была его преданная жена, которая вела хозяйство. В самом деле, он был одним из немногих людей во всей этой истории, кто был счастливо женат. Мэри Ричардсон Морель вырастила их пятерых детей и всячески поддерживала дело своего мужа.

Она особенно расположилась к Кейсменту, соглашаясь с ним, что её мужу следует создать организацию, сосредоточенную исключительно на Конго. Как и в случае со многими супружескими парами того времени, мы не знаем, сколькими из памятных достижений Мореля она тоже заслуживает быть признана. «Я всегда думаю о ней как о части тебя, — писал ему Джон Холт, его давний и верный сторонник и доверенное лицо, — вы двое вместе и составляете реформы Мореля в Конго».

Морель не был лишён недостатков. Он мог быть упрямым; он редко признавал свои ошибки; а в своей газете он помещал то и дело собственные фотографии, восторженные рецензии на свои книги, резолюции с благодарностью за его труд, перепечатанные из других газет интервью с самим собой и даже редакционную заметку с пожеланием «счастливого пути мистеру Морелю в его путешествии», когда он отправлялся за границу агитировать за реформу в Конго. Иногда он вступал в конфликты с коллегами, которые, как он чувствовал, получали слишком много внимания, — хотя редко с Кейсментом, которого он почитал. Как и многие исключительно продуктивные люди, он переживал периоды депрессии и жалости к себе. «Моя домашняя жизнь сведена к микроскопическим размерам... Лично я на пределе своих сил», — писал он в 1906 году Марку Твену, заявляя, что тем не менее продолжит свою работу по Конго, потому что «у тех несчастных людей там, в конце концов, нет никого, кроме нас. А у них есть право жить».

Его политические взгляды тоже имели свои ограничения. Некоторые из них он разделял с большинством европейцев своего времени — от веры в магию свободной торговли до убеждённости, что африканские мужчины обладают более

сильным половым влечением, чем белые, и могут представлять опасность для белых женщин. Другие особенности были более глубоко связаны с его одержимой страстью остановить зверства в Конго короля Леопольда. Картина, которую Морель рисует в своих трудах об африканцах в Конго до прихода белых, — это образ идеализированного Руссо «Благородного дикаря»: описывая традиционные африканские общества, он сосредотачивается на мирном и мягком и игнорирует любые жестокие стороны — которые изредка включали, например, задолго до того, как Force Publique сделала это повседневной практикой, отсечение рук у поверженных врагов.

Что ещё более важно, Морель был настолько возмущён злодеяниями Леопольда, что игнорировал использование принудительного труда собственной страной — широкое, хотя и гораздо менее смертоносное — в её африканских колониях, особенно на востоке и юге. Он считал, что в колониализме нет ничего предосудительного, если его управление является справедливым и честным. Он верил, что так обстоят дела в британских колониях в Западной Африке, где, конечно, не было каучукового террора и массового захвата всех так называемых «пустующих земель». На более поздних этапах своей кампании против конголезского режима он даже нашёл время съездить в Нигерию и написал в целом одобрительную книгу о британском правлении там.

Но каковы бы ни были его недостатки, когда дело касалось борьбы с несправедливостью в Конго, Морель обладал непоколебимым, заразительным чувством правоты и неправоты. Будучи выдающимся оратором, он регулярно выступал перед тысячными аудиториями без всяких записей. Только в 1907–1909

годах он выступил примерно на пятидесяти массовых митингах по всей Великобритании. «Иногда... — писал он, — на меня накатывали вспышки ярости... когда какой-нибудь рассказ, более чудовищный, чем остальные, особенно меня задевал, и тогда я был готов на всё, если бы рядом оказался хоть кто-то из команды Леопольда... [Я испытывал] воодушевление, когда удавалось нанести сильный удар или когда-то нечто, что трудно назвать, овладевало мной на трибуне, и я чувствовал, что держу огромную аудиторию в своих руках».

Морель считал своё движение частью великой традиции британских гуманитарных крестовых походов — таких, как праведное возмущение. Прежде всего он видел в себе морального наследника аболиционистского движения. Свою обличительную книгу Красный каучук: история работорговли каучуком, процветающей в Конго в благодатный год 1906 он начал эпиграфом великого американского аболициониста Уильяма Ллойда Гаррисона:

«Знамя освобождения развёрнуто...

Я не буду уваливать,

Я не буду оправдываться,

Я не отступлю ни на дюйм:

И я буду услышан,

Потомки засвидетельствуют, что я был прав».

Традиция британского радикализма, из которой вышел Морель, имела корни в неконформистских — то есть протестантских, но не англиканских — церквях и в «клапемской группе» (Clapham Sect), гуманитарном евангелическом объединении, к которому принадлежал лидер аболиционистов Уильям Уилберфорс. В начале XIX века эти гуманитарии

сосредоточили своё рвение на улучшении положения самых разных угнетённых групп: заключённых, фабричных рабочих, детских работников, душевнобольных. Их политическая позиция, однако, не была «снизу вверх», как у марксистов и профсоюзов, а представляла собой реформизм «сверху вниз», свойственный людям относительно высокого происхождения. Их целью было упразднение смертной казни, телесных наказаний и жестокого обращения с животными. Когда они обращали своё внимание за пределы Британии, то добивались отмены работорговли и направляли миссионеров для «просвещения туземцев» в самых отдалённых уголках мира. (Именно нонконформистские церкви, особенно баптисты, отправили британских миссионеров в Конго.)

Показательно, что гуманитарные политические предшественники Мореля, в отличие от его социалистических современников, твёрдо верили: улучшение участи угнетённых людей везде полезно для торговли. Более гуманное обращение с колониальными подданными будет «способствовать гражданским и коммерческим интересам Великобритании...» — заявлял специальный комитет парламента в 1830-х годах. «Дикари — это опасные соседи и невыгодные покупатели, и если они остаются в роли униженных обитателей наших колоний, они становятся бременем для государства».

Такие гуманитарии никогда не видели себя в конфликте с имперским проектом — по крайней мере, пока речь шла о британском империализме. «Морально освобождение поставило британцев на особую ступень...» — так подытоживает Джеймс Моррис в своей истории Британской империи. «Если столь многого можно было достичь агитацией на родине, то чего же нельзя было бы добиться, если бы моральный авторитет Англии был распространён по

всему миру — чтобы искоренять зло рабства, невежества и язычества в их источнике, учить простые народы преимуществам Пара, Свободной торговли и религиозного Откровения, и создать не мировую империю в дурном наполеоновском смысле, а Моральную империю более возвышенного замысла? Так была выработана химия евангелического империализма».

Это была та традиция, в которой Морель чувствовал себя как дома, и она идеально соответствовала его организаторскому таланту. Хотя он и не имел старых связей с этими кругами, у него был дар заставлять богатых, влиятельных и знаменитых верить, что они делают честь самим себе, поддерживая его крестовый поход за Конго. Месяц за месяцем на первой полосе периодического издания Ассоциации за реформу в Конго публиковался портрет на целую страницу какого-нибудь известного сторонника — графа, мэра, члена парламента, усатого отставного колониального губернатора. После основания ассоциации в Ливерпуле Морель позаботился о том, чтобы первое заседание исполнительного комитета группы состоялось в помещении, которое обеспечил сочувствующий депутат Палаты общин. Почти на каждом крупном публичном собрании Ассоциации за реформу в Конго после этого на трибуне присутствовал хотя бы один епископ. Имея на виду очевидное благословение и церкви, и государства, Морель обнаружил, что немногие влиятельные британцы могли устоять перед его просьбами одолжить свои имена делу реформы в Конго.

Ограниченность его политических взглядов на деле стала источником его огромного успеха как организатора. Если бы он считал, как мы можем заключить сегодня, что изнасилование Конго Леопольдом было отчасти логическим следствием самой идеи колониализма — убеждения, что нет ничего предосудительного

в том, что страной управляют не её собственные жители, — Мореля сочли бы маргиналом. В Британии никто не обратил бы на него серьёзного внимания. Но он так не думал; он всем сердцем верил, что система правления Леопольда представляла собой уникальную форму зла. Поэтому люди в правящих кругах Британии могли поддерживать его крестовый поход, не чувствуя угрозы собственным интересам.

И всё же, несмотря на определённые слепые зоны, Морель находился на крайнем рубеже гуманитарной традиции. Его взгляды были неявно более подрывными, чем он сам готов был признать. Он видел жестокость в Конго не как отдельный изъян, который можно устранить — подобно тому, как можно запретить детский труд или смертную казнь, просто приняв соответствующий закон, — а как часть сложной, глубоко укоренившейся «Системы», как он её называл: системы принудительного труда и массового захвата европейцами африканских земель. Такой угол зрения гораздо ближе к марксизму, чем к гуманизму, направленному на «возвышение угнетённых», хотя сам Морель, вероятно, никогда не читал ни слова Маркса. Он так и не разрешил противоречия между этими двумя способами взгляда на мир, и значительная часть драмы его последующей жизни заключалась в постоянном напряжении между ними.

«Морелю не было равных как организатору и лидеру диссидентского движения, — пишет историк А. Дж. П. Тейлор. — Он точно знал, где искать богатых сторонников, и принимал их деньги, не изменяя демократического характера [своего движения]. Миллионеры и фабричные рабочие одинаково признавали его

руководство». Среди этих миллионеров были квакеры, такие как состоятельный, но скромно живший шоколадный магнат Уильям Кэдбери. Субсидии от этих сторонников поддерживали существование газеты West African Mail, и именно газета, а не Ассоциация за реформу в Конго, выплачивала Морелю жалованье. Парадоксально, но сэр Альфред Джонс из компании Elder Dempster также вложил небольшие средства в издание, надеясь смягчить позицию своего бывшего сотрудника. Однако его надежды оказались тщетными: Морель неоднократно безжалостно нападал на Джонса, разоблачая его действия как главного британского союзника Леопольда. Когда Джонс понял, что не имеет влияния, он снял свою рекламу со страниц газеты.

Морель прекрасно знал, как приспособить своё послание к аудитории. Он напоминал британским бизнесменам, что монополистическая система Леопольда, скопированная Францией, вытеснила их из значительной части торговли с Конго. Членам духовенства он говорил о христианской ответственности и цитировал мрачные отчёты миссионеров. А для всех британцев и их представителей в парламенте он вызывал в памяти широко распространённое, хотя и невысказанное вслух, убеждение, что именно Британия несёт особую ответственность за то, чтобы добропорядочность восторжествовала во Вселенной.

Одним из самых удивительных аспектов «крестового похода» за Конго было то, что, за исключением выездов для выступлений на собраниях, Морель вел его главным образом из своего кабинета. В течение первой половины девятилетнего существования Ассоциации реформы в Конго он даже не жил в Лондоне. До декабря 1908 года главный офис А.Р.К. находился в Ливерпуле; оттуда, а также из своего дома в соседнем Хавардене, Морель

поддерживал обширную переписку. Так, только за первые шесть месяцев 1906 года он написал 3700 писем. Ещё важнее то, что его колоссальный поток книг, брошюр и газетных статей о Конго побуждал людей писать ему. Он тщательно перепроверял газетные заметки на точность, изучал газеты и документы из Бельгии, а также переписывался с государственными чиновниками, журналистами и торговцами в Европе и Африке. К 1908 году он подсчитал, что накопил около двадцати тысяч писем, касающихся Конго. Они послужили основой для значительной части его опубликованных работ.

Несмотря на своё презрение к организованной религии, его тон напоминал проповедь евангелического проповедника. Для него Леопольд и его сторонники, такие как «пресса рептилий-конгофилов Брюсселя и Антверпена», олицетворяли Дьявола; администрация Конго представляла собой «порочную и злую систему, наносящую страшный ущерб туземным народам». Морель умело говорил в унисон с настроением своего времени, потому что сам его разделял: оптимизм, безграничную уверенность общества, которое ещё не знало и не могло представить мировых войн, убежденность в том, что человечество способно быстро устранить все преграды на пути прогресса. «Наши предки уничтожили заморскую работоторговлю, — заявил он в своей книге Правление короля Леопольда в Африке, — и мы искореним современную внутреннюю работоторговлю в Конго».

Он стремился поднять движение за реформу в Конго над партийной политикой и религиозными различиями. На трибуне во время его крупных мероприятий всегда присутствовали депутаты парламента от трёх основных партий, представители духовенства как Англиканской церкви, так и неконформистских церквей, а

также целый ряд уважаемых лиц — почётные правители, лорд-мэры, лорд-провосты и другие важные-персоны. Он обладал выдающимся чутьём на то, как подготовить почву к событию: крупный региональный митинг протеста против режима в Конго часто предварялся дневной встречей с местным мэром и сановниками в городском совете. Вечером мэр затем выходил на сцену. К концу 1905 года более шестидесяти массовых собраний приняли резолюцию, осуждающую правление Леопольда как возрождение африканской работорговли и призывающую «правительство Его Величества созвать собрание христианских держав... с целью выработать и ввести в действие схему хорошего управления территориями Конго». В Ливерпуле аудитория переполнила зал, рассчитанный почти на три тысячи человек, и заняла два соседних помещения. Крики «Позор! Позор!» раздавались на подобных массовых собраниях по всей Англии и Шотландии.

Будучи мастером всех средств массовой информации своего времени, Морель особенно эффективно использовал фотографию. Центральной частью почти каждого собрания протеста против режима в Конго было слайд-шоу, включавшее около шестидесяти ярких снимков жизни при правлении Леопольда; полдюжины из них изображали изувеченных африканцев или их отрубленные кисти. Эти фотографии, которые в конечном счёте увидели на митингах и в прессе миллионы людей, служили доказательством, которое никакая пропаганда не могла опровергнуть.

Слайды также демонстрировали диаграммы и графики, оценивающие прибыли Леопольда от Конго; на них даже показывались стихотворения, которые восполняли недостаток художественного мастерства силой страсти:

«Ни рвение, ни вера не влекли этого Леопольда,
Ни безумие, рождённое наполовину славой.
С холодным взором он спустил псов, что рвут и убивают,
Лишь бы его сундуки переполнились золотом.
О, время, забальзамируй его! Земля, не забудь его!
Труби его имя и освещай его дела при свете дня».

Чтобы осветить дела Леопольда светом дня, Морелю требовалось мобилизовать своих коллег-журналистов. Он знал редакторов большинства ведущих британских журналов и газет и регулярно писал для многих из них, включая самую престижную — The Times. Когда редактору нужно было отправить корреспондента в Бельгию или Конго, Морель всегда имел подходящую кандидатуру. Он, по его словам, с удовольствием устроил «падение» брюссельского корреспондента The Times, которого считал слишком благожелательным к Леопольду. Он снабжал информацией симпатизировавшие ему газеты в Бельгии и через свои связи в агентстве Press Association мог распространять материалы по всему миру. Когда знаменитый американский журналист Ричард Хардинг Дэвис был отправлен в Африку журналом Collier's, он поехал, вооружённый последними данными Мореля, и повторял их в своих публикациях.

Благодаря мощному импульсу, полученному от доклада Кейсмента, международная кампания, развёрнутая Морелем, достигла газет по всему миру. В его тщательно хранимых архивах за десять лет, начиная с 1902 года, насчитывается 4 194 газетные вырезки, связанные с движением за реформу в Конго. При этом он не ограничивался одними газетами: автор приключенческого романа для юношества 1906 года Самба: История рабов каучука в Конго поблагодарил в предисловии сотрудников Ассоциации за

реформу Конго «за их доброту при чтении рукописи и вычитке корректур этой книги, а также за множество самых полезных советов и замечаний».

Морель описывал себя как «одержимого Конго». Письмо его квакерскому покровителю, Уильяму Кэдбери, написанное в 1906 году, показывает, почему:

Книга выходит на этой неделе... [речь шла о Red Rubber] Глазго. Лорд-провост созвал городское собрание. Вероятно, придётся ехать. Организую создание местного отделения А.Р.К. [Ассоциации за реформу Конго] ... Нет ли в Глазго влиятельных квакеров, которым вы могли бы написать? Франция. Французская А.Р.К. будет образована в этом месяце... Подъём. Требования присылать литературу буквально идут потоком... От двенадцати до двадцати писем в день с просьбами о литературе, информации и т. п.

Подобно аболиционистам до него, Морель понимал, что каждая национальная организация должна иметь местные отделения, поэтому у А.Р.К. были «филиалы» по всей Англии и Шотландии. Эти группы организовывали своих членов на сбор средств, написание писем своим представителям в парламенте и создание непрерывного потока писем в местные газеты. Женское отделение имело двух представителей в Исполнительном комитете А.Р.К. Такими средствами Морель оказывал постоянное давление на британское правительство. Он и его сторонники никогда не сомневались, что если бы Британия только решила действовать, она могла бы заставить Леопольда изменить свои порядки или вовсе вырвать Конго из его рук.

Самыми эффективными пропагандистами, как понимал Морель, были те, кто обладал личным опытом. Начиная с 1906

года, вернувшиеся баптистские миссионеры — преподобный Джон Харрис и его жена, Элис Сили Харрис (именно она сделала почти все фотографии, которые использовал Морель) — начали работать в Ассоциации на постоянной основе. Рвение супругов Харрисов соперничало с усердием самого Мореля. За первые два года работы в А.Р.К. один или оба из них выступили публично шестьсот раз. Женщина на одном из больших собраний в Уэльсе была так тронута, что передала Элис Харрис свои драгоценности для продажи в пользу движения. Супруги Харрисы демонстрировали шикотту и кандалы, а по всей Британии они организовывали специальные церковные песнопения в так называемые «воскресенья Конго». Потрясённым аудиториям они рассказывали о личных пережитых случаях, один из которых Джон Харрис позднее записал на бумаге:

«Выстроились... сорок истощённых сынов африканской деревни, каждый со своей маленькой корзинкой каучука. Дань каучуком взвешена и принята, но... четыре корзины не дотянули до нормы. Приказ звучит жестоко коротко и резко — провинившегося тут же хватают четверо рослых «палачей», бросают на голую землю, приковывают руки и ноги, в то время как пятый выходит вперёд с длинным кнутом, сплетённым из бегемотовой кожи. Быстро и без передышки кнут обрушивается, и острые ребристые края глубоко врезаются в плоть — по спине, плечам и ягодицам брызжет кровь из десятка ран. Напрасно жертва извивается в хватке палачей: кнут рассекает и другие части дрожащего тела — и, в случае одного из четверых, самую чувствительную часть человеческого тела. «Сто ударов каждому» оставили на ослепительном песке каучукового поста четыре окровавленных и трепещущих неподвижных тела».

Сразу за этим решающим случаем последовал другой. Завтрак только что закончился, когда африканский отец взбежал по

ступеням веранды нашего глиняного дома и положил на землю кисть и стопу своей маленькой дочери, которой не было и пяти лет.

Когда кампания Мореля набирала силу в Европе, из Брюсселя в столицу Конго, Бому, а оттуда в самые отдалённые посты текли отчаянные донесения. Рядом с британской миссией, где работали супруги Харрисы, государство назначило заместителя прокурора. Генерал-губернатор написал ему:

«Основная причина вашего назначения в Барингу состоит в том, чтобы регулярно информировать правительство обо всём, что представляет интерес в регионе Баринга в связи с агитацией миссионеров... [Вам] вероятно придётся иметь нескольких чернокожих помощников, которые могли бы собирать полезную информацию в деревнях региона, особенно когда миссионеры отправляются в поездки.

Я уполномочиваю вас нанять пятерых работников для этой цели; я дал указания комиссару-генералу округа Экватор выделить вам необходимые средства. Вы будете использовать эти средства так, как сочтёте нужным — будь то для найма «чёрных рабочих» ... или для даров отдельным туземцам, живущим в деревнях, которые могут держать вас в курсе событий...

Разумеется, это должно быть сделано с величайшей осторожностью».

В последующие месяцы прокурор в Боме написал своему заместителю в Баринге, поручив ему выяснить, какие планы собираются обсуждать на предстоящем собрании протестантских миссионеров. Несколькими неделями позже это письмо сопровождалось подборкой семи месяцев номеров газеты Мореля

West African Mail и сообщением о том, что дальнейшие выпуски будут пересылаться сразу по их прибытии в столицу:

«Я особенно обращаю ваше внимание на важность для правительства фиксировать все неточности в обвинениях миссионеров, чтобы показать злой умысел, который питает их нападки на Государство. Важно, чтобы каждый из этих выпусков... стал предметом вашего самого тщательного рассмотрения и отчёта, который вы пришлёте мне с указанием неточностей...»

По мере того, как нападки на Леопольда усиливались, режим всё более тщательно следил за союзниками Мореля в Конго. Никто не подвергался большему риску, чем Хезекия Эндрю Шану.

Британия основала свои колонии в Африке задолго до Леопольда, и на раннем этапе существования Свободное государство Конго обращалось к этим территориям за опытными рабочими, солдатами и другими кадрами. Шану родился и получил образование на территории современной Нигерии и стал школьным учителем. В 1884 году он начал работать на режим Леопольда; одной из его задач был набор солдат из его родины для Force Publique. Позднее он стал клерком и переводчиком с французского и английского в штабе генерал-губернатора в Боме и перевёз в Конго жену, шурина и других членов семьи из Лагоса. В 1893 году он покинул государственную службу и занялся собственным бизнесом. Год спустя он отправился в Бельгию, где заказал себе пианино и паровой катер, а сына отдал в школу. Во всех странах с колониями всегда находится благодарная аудитория, и Шану был встречен с большим энтузиазмом, когда читал лекции о Конго и благодарил бельгийцев за их добрые дела. Одна газета одобрительно отметила, что Шану «выражается по-французски с величайшей правильностью»; другая, в покровительственном тоне, назвала

его «ярким примером совершенствуемости негритянской расы». Статный на вид мужчина, Шану на официальных мероприятиях носил накрахмаленный белый воротник и на лацкане пиджака ленту с медалью Свободного государства Конго.

После поездок в Англию, Францию и Германию Шану вернулся в Конго и, сделав поразительный шаг в государстве, созданном европейцами ради собственной выгоды, стал успешным предпринимателем. В Боме он открыл хорошо укомплектованный магазин, где продавались консервированные продукты и другие товары из Европы; кроме того, он содержал ателье и прачечную, а также небольшие гостиницы как в Боме, так и в железнодорожном узлом городе Матади. Он увлекался фотографией, и некоторые из его снимков были опубликованы в брюссельском журнале *Le Congo Illustré*. Когда он сдал в аренду свой дом одному из первых британских вице-консулов, тот был настолько впечатлён, что рекомендовал Шану в Форин-офис в качестве своего замещающего на время отпуска. Шану пользовался уважением и у своих бывших работодателей. Во время мятежа *Force Publique* в Боме в 1900 году государственные чиновники с благодарностью приняли его помощь в предотвращении распространения восстания среди западноафриканцев, работавших в городе. Он даже предложил взяться за оружие против мятежников. «Месье Шану в эти тревожные минуты проявил доказательство своей искренней верности Государству», — писал один из высокопоставленных чиновников Конго.

До этого момента Шану полностью связывал свою судьбу с правителями Конго. Но нечто — мы не знаем, что именно — изменило его взгляды, и он перешёл в лагерь противников Леопольда. Для чернокожего человека, жившего в столице Конго,

это был опасный шаг. Одним из признаков перемены стало то, что он, по-видимому, передал Роджеру Кейсменту сведения о жестоком обращении с западноафриканскими рабочими в Конго. В свою очередь, Кейсмент, как кажется, рассказал Шану о кампании, которую Морель разворачивал в Европе. Когда в 1903 году Кейсмент находился во внутренней части страны с инспекцией, Шану отправил Морелю чек с просьбой выслать ему копии его трудов. Морель, обрадованный тем, что у него появился африканский союзник прямо в столице противника, немедленно ответил, выслал Шану подписку на свою газету, книгу и несколько брошюр. «Я не знаю, каковы ваши взгляды по конголезскому вопросу, — писал он, — но если они совпадают с моими, я буду очень рад, если вы время от времени сможете присылать мне информацию». Несколько недель спустя Морель снова написал, предложив Шану обходить цензуру почты в Боме, адресуя письма его тестю в Девон. Вскоре Шану действительно нашёл полезную информацию, которую смог отправить.

После того как в Европе начались протесты против правления Леопольда, администрация Конго время от времени устраивала показательные процессы над низкоранговыми белыми чиновниками за жестокости против африканцев. Иногда осуждённые действительно приговаривались к тюремным срокам, хотя большинство выходило на свободу после того, как отбывало лишь малую часть наказания. Но судебные процессы опасны для репрессивных режимов: они могут вынести на публичное обозрение компрометирующие материалы. Как и другие мелкие козлы отпущения в тираниях по всему миру, обвиняемые в массовых расправах в Конго обычно заявляли, что всего лишь выполняли приказы — и нередко могли предъявить свидетелей

или документы в подтверждение. Поэтому власти тщательно скрывали протоколы этих процессов, и в течение нескольких лет практически ничего не просачивалось наружу. Морель, понимая, что материалы этих дел станут ценным оружием для кампании за реформу Конго, попросил Шану разузнать всё, что ему удастся.

Особенно показательное дело достигло кульминации в начале 1904 года. Главный обвиняемый, вспыльчивый агент каучуковой компании по имени Шарль Кодрон, был обвинён в ряде преступлений, включая убийство как минимум 122 африканцев. Отчасти его судили для того, чтобы колониальная администрация могла заявить, что она защищает права человека, но у властей были и другие мотивы. Кодрон оскорбил командира Force Publique в своём районе, который считал, что именно он должен руководить любыми военными операциями там. Кроме того, Кодрон настолько широко распространил свой террор, что сорвал заготовку каучука в весьма прибыльном округе.

Суд показал многоеоправительственныхприказах,допускавших практику взятия заложников. Более того, апелляционный суд смягчил приговор Кодрону из-за «смягчающих обстоятельств». Ссылаясь на привычный мотив «ленивого туземца», суд отметил «великие трудности, в которых [Кодрон] оказался, выполняя свою миссию среди населения, абсолютно сопротивлявшегося любым представлениям о труде, признававшего не иной закон, кроме силы, и не знавшего иного средства убеждения, кроме террора».

Шану удалось заполучить часть судебных документов, и он тайно переслал их Морелю, который немедленно опубликовал их, заявив, что это был «самый сокрушительный удар, когда-либо нанесённый по Конго». Это было преувеличением, но материалы действительно оказались разрушительными. И наиболее

компрометирующим в них были слова самих чиновников Конго. Документы привлекли внимание британского Форин-офиса и были перепечатаны в официальном отчёте. Следующий вклад Шану в антиконголезскую кампанию закончился трагически. Он выступал посредником между Морелем и одним из чиновников Конго — начальником полиции в Боме, который утверждал, что располагает информацией, которую готов передать или продать реформаторам. Но этот человек оказался предателем: он обрушился с нападками на Мореля на страницах бельгийской прессы и выдал Шану как его сообщника. Морель, считавший Шану человеком «безупречной репутации и большого мужества», опасался за его жизнь и просил британского консула в Боме сделать всё возможное для его защиты. Он отправлял Шану предложения о помощи и с тревогой ждал вестей. Когда они пришли, новости оказались плохими. Так как Шану был британским подданным, власти Конго не решились его арестовать, чтобы не спровоцировать международный скандал. Вместо этого его стали постоянно преследовать, даже лишили медали, ранее вручённой за службу государству. Затем последовал приказ всем государственным служащим бойкотировать его предприятия. Это гарантировало их крах. В июле 1905 года Хезекия Эндрю Шану покончил с собой.

На рубеже веков отель «Элизе-Палас» неподалёку от Триумфальной арки был одним из самых элегантных в Париже. Однажды один из постояльцев заметил молодую женщину, также жившую в этом отеле, — её имя, как и другие детали её прошлого, остаются неясными: то ли Каролина, то ли Бланш Делакруа, а может быть, Лакруа. Несмотря на юный возраст, Каролина была

любовницей Антуана-Эммануэля Дюррьё, бывшего офицера французской армии. Он пытался содержать их обоих, делая ставки на скачках. Когда удача изменяла, Дюррьё, по-видимому, подрабатывал сутенёром Каролины. Их жильё в «Элизе-Палас» служило удобной базой для этих дел, но счета они часто оставляли неоплаченными. Неожиданное решение их проблем появилось, когда к Каролине в отеле подошла женщина и сказала: «Мадам, меня к вам прислал господин, который обратил на вас внимание. Это очень высокий сановник, но его высокое положение обязывает меня скрыть его имя».

На следующий день была устроена встреча. Согласно мемуарам Каролины, достоверность которых весьма сомнительна, Дюррьё — в цилиндре, жемчужно-серых перчатках и с биноклем на шее — отправился на ипподром, будто ничего не подозревая. (Скорее всего, он прекрасно всё знал и был заранее вознаграждён.) Каролина же пришла в уединённую комнату в доме на близлежащей улице Лорд-Байрон. Высокий сановник явился в сопровождении двух помощников. Те уселись по обе стороны от девушки и начали задавать вопросы. «Это не был настоящий разговор; скорее, череда банальных вопросов, которые поочерёдно задавал то один, то другой... Эти вопросы вынуждали меня поворачивать голову то вправо, то влево. Я отвечала не задумываясь, ибо единственная цель их, как я поняла позднее, заключалась в том, чтобы продемонстрировать мои оба профиля молчаливому сановнику». Осмотрев свою новую «находку», высокий гость улыбнулся в бороду и объявил, что доволен. Он пригласил Каролину поехать с ним в Австрию, и на следующий день ей доставили крупную сумму денег, а вместе с ней — пустые сундуки, которые следовало наполнить платьями по собственному выбору. Поклонник нашёл

ключ к её сердцу: больше всего на свете Каролина любила покупать наряды. Ей было шестнадцать лет; королю Леопольду II — шестьдесят пять.

Тогда, как и теперь, ничто королевское долго не оставалось тайной. Придворные сплетничали, слуги перешёптывались, и вести о скандальном романе вскоре заполнили прессу Европы. Давно было известно, что Леопольд питал слабость к крайне юным женщинам, но потерять голову из-за шестнадцатилетней девушки лёгкого поведения было делом совершенно иного порядка. Его новая фаворитка годилась ему во внучки. Хаотичная семейная жизнь и сексуальные вкусы Леопольда были куда более значимы для истории Конго, чем может показаться на первый взгляд. По иронии судьбы, именно они, вероятно, стоили ему большей популярности в Бельгии, чем все жестокости, которые он совершал в Африке. А это, в свою очередь, означало, что немногие его соотечественники были готовы встать на его защиту, когда он стал мишенью международного протестного движения.

Личные слабости короля также сделали его неотразимой мишенью для мировой прессы, взбудораженной Морелем. Большая борода, теперь уже поседевшая, была настоящей находкой для карикатуристов. Его грузная фигура в плаще шествовала по страницам европейских газет: борода капала кровью, руки сжимали усохшие головы из Конго, глаза жадно пожирали танцовщиц балетной труппы. Он садился обедать за стол с отрубленной африканской головой, украшенной штыками. Царь Николай II жаловался, что его кнут не действует, и тогда его кузен Леопольд, одетый в тигровую шкуру, рекомендовал шикотту. Отвергнутые дочери Леопольда с грустью просили у отца поношенные наряды Каролины.

Через несколько лет после начала романа короля с его новой возлюбленной умерла его многострадальная жена Мария Генриетта, любившая лошадей и музыку. С этого момента увлечение Леопольда Каролиной стало вызывающе открытым. Он поселил её в роскошном особняке, на вилле Вандерборхт, напротив королевского комплекса в Лакене, и построил пешеходный мост через улицу, чтобы беспрепятственно переходить туда для визитов.

Леопольд был безумно ревнив к Каролине — и, по-видимому, не без оснований; однажды он застал её в брюссельской вилле с Дюррьё, бывшим офицером, у которого, как он считал, «увёл» её. Каролина пыталась выдать Дюррьё за своего брата, но, судя по всему, тот появлялся и в другие разы. В одной газете сообщалось, что Каролина и Дюррьё установили во всех её резиденциях тайные электрические звонки, чтобы слуги могли предупредить их о приближении Леопольда.

После переезда в Брюссель Каролина продолжала часто ездить в Париж к своему портному и модистке. (В этот период, как она хвасталась, однажды она купила платьев на три миллиона франков в одном-единственном магазине — у Калло.) Когда она пожаловалась королю, что вечерний экспресс в Брюссель отправляется слишком рано и оставляет ей слишком мало времени на покупки, Леопольд, не желая рисковать тем, что она останется в Париже на ночь вне поля его зрения, поговорил с главой железной дороги. С тех пор поезд отходил на час позже.

Каролина быстро научилась пользоваться причудами Леопольда, например его ипохондрией. «Однажды, когда мне понадобилось несколько свободных часов для себя, я получила их, просто чихнув. Сколько раз я отваживала интригующих женщин от государя, просто сказав ему, что у них простуда!»

Леопольд повсюду брал Каролину с собой. Формально она путешествовала инкогнито, но с постоянно расширявшейся свитой слуг это становилось затруднительно. К всеобщему шоку, в 1901 году она сопровождала короля в Лондон на похороны его кузины, королевы Виктории. Интерес к другим молодым женщинам король не утратил: в Брюсселе, Париже и других местах он время от времени посылал своего камердинера или другого посредника на поиски кандидаток, соответствующих его подробным физическим требованиям, — но Каролина находилась в иной категории. Они словно демонстративно подчёркивали, а не скрывали разницу в возрасте: она называла его *Très Vieux* («Очень Старый»), а он её — *Très Belle* («Очень Красивая»). Насколько человек вроде Леопольда вообще был способен на любовь, именно эта юная проститутка оказалась любовью всей его жизни.

Но потерю популярности среди бельгийцев Леопольду принесла не только его связь с Каролиной. До его народа постепенно стало доходить, что страна почти не получает финансовой выгоды от Конго: основная часть прибыли уходила прямо на платья и виллы Каролины и, в куда больших масштабах, на строительные проекты короля. Поскольку Леопольд мало интересовался благотворительностью, литературой или театром — и был хорошо известен своей неприязнью к музыке, — он тратил деньги главным образом на строительство, причём чем грандиознее, тем лучше.

На протяжении многих лет король жаловался на бедность, но когда по всей стране начали вырастать его триумфальные арки, музеи и памятники, он уже не мог поддерживать эту видимость. Бельгийцев ещё больше возмутило то, что значительную часть своих новых богатств король тратил за границей. Вскоре он стал

одним из крупнейших землевладельцев на Лазурном Берегу, где построил причал для своей яхты «Альберта» водоизмещением в полторы тысячи тонн и пригласил архитекторов из Ниццы спроектировать и возвести ряд великолепных вилл. Его владения включали почти всю землю на живописном мысе Кап-Ферра — тогда, как и сейчас, одном из самых дорогих прибрежных районов в мире.

Свою юную возлюбленную Леопольд осыпал замками и особняками. Когда она забеременела, он вместе с французским правительством оплатил строительство новой дороги возле её виллы на Кап-Ферра, чтобы её экипаж ехал по более ровному пути. Когда родился её сын, он получил титул герцога Терверенского, а она сама стала баронессой де Воган. Король возил её по Средиземному морю на своей яхте, но бельгийская публика ненавидела её, и однажды её экипаж забросали камнями на улицах Брюсселя. В сознании европейцев к тому времени личная и публичная жизнь короля были полностью переплетены. Когда у Каролины родился второй сын с деформированной рукой, в журнале Punch появилась карикатура: Леопольд держит новорождённого ребёнка, а вокруг лежат трупы конголезцев с отрубленными руками. Подпись гласила: «МЕСТЬ СВЫШЕ».

Что же чувствовал Леопольд, став мишенью такого гнева? Очевидно, это раздражало его; однажды он написал своему помощнику: «Я не позволю запятнать себя кровью или грязью». Но тон его высказываний всегда оставался в духе досады или жалости к себе — никогда стыда или вины. Когда он как-то увидел в немецкой газете карикатуру, где изображался он сам, отсекающий мечом руки, он, по словам военного адъютанта, фыркнул и сказал: «Отрубать руки — это глупо! Я бы отрубил всё остальное, но

только не руки. Это единственное, что мне нужно в Конго!» Неудивительно, что когда король в шутку представил премьер-министра Огюста Бернара собравшимся как «величайшего циника в королевстве», Бернар невозмутимо ответил, что не осмелился бы поставить себя выше Его Величества.

РАСПЛАТА

Когда Э. Д. Морель, Роджер Кейсмент и их союзники привлекли внимание Европы к сообщениям о геноциде в Центральной Африке, газеты и журналы публиковали изображения сожжённых деревень и изуродованных тел, а миссионеры-свидетели рассказывали о вымирании целых округов. Взгляд на эти письменные и фотографические свидетельства сегодня немедленно вызывает ключевой вопрос: каков был уровень смертности в Конго при Леопольде? Сейчас самое подходящее место в нашем повествовании, чтобы попытаться ответить на него.

Вопрос этот далеко не прост. Прежде всего, в данном случае история не позволяет провести чёткие границы, как это можно сделать, скажем, когда мы спрашиваем, сколько евреев нацисты уничтожили в период с 1933 по 1945 год. Личное владение короля Леопольда II — *État Indépendant du Congo* — официально существовало двадцать три года, начиная с 1885-го, однако многие конголезцы уже умирали не своей смертью к началу этого периода, а важные элементы системы эксплуатации, созданной королём, сохранялись ещё многие годы после её формального окончания. «Каучуковый бум», ставший причиной самых страшных кровавых жертв в Конго, начался при Леопольде в середине 1890-х и продолжался ещё несколько лет после конца его личного правления.

Более того, хотя убийства в Конго носили масштабы, сопоставимые с геноцидом, строго говоря, это не был геноцид. Государство Конго не стремилось сознательно стереть какую-

либо одну этническую группу с лица земли. Напротив, как и работорговцы, веками опустошавшие Африку, люди Леопольда искали рабочую силу. Если в процессе поиска и эксплуатации этого труда гибли миллионы, для них это было лишь побочным явлением. Немногие чиновники вели статистику того, что считалось столь незначительным, как жизни африканцев. Поэтому оценка числа жертв сегодня требует значительной исторической «детективной работы».

При потерях населения в таких масштабах число жертв обычно складывается из четырёх тесно связанных источников: (1) убийства; (2) голод, истощение и непосильные условия; (3) болезни; и (4) резкое падение рождаемости. В самый тяжёлый период в Конго — во время продолжительного «каучукового бума» — всё это проявлялось в изобилии сразу по всем четырём направлениям:

1. Убийства. Хотя прямые убийства не были главной причиной смертей в Конго при Леопольде, именно они задокументированы наиболее ясно. Когда деревня или округ не выполняли норму по сдаче каучука или оказывали сопротивление режиму, солдаты Force Publique или «стражники» каучуковых компаний часто убивали всех, кого могли найти. Те редкие случаи, когда очевидец наталкивался на груду скелетов или отрубленных рук и сохранился письменный отчёт, представляют собой, разумеется, лишь малую долю совершённых массовых расправ — всего несколько искр от огненного шторма. Но среди этих разбросанных искр есть такие, что горят особенно отчётливо:

- В 1896 году немецкая газета *Kölnische Zeitung* опубликовала — со ссылкой на «высокоуважаемого бельгийца» — сообщение о том, что в один лишь день было передано 1308 отрубленных рук

печально известному окружному комиссару Леону Фьевезу. Газета дважды повторила эту историю, и Конголезское государство её не оспорило. Несколько дополнительных сообщений о событиях того дня, включая донесения как протестантских, так и католических миссионеров, приводили ещё более высокие цифры числа рук. Позднее сам Фьевез признал, что практика отрубания рук у трупов существовала; он лишь яростно отрицал, что когда-либо приказывал отрубать руки живым людям.

- В 1899 году государственный чиновник Симон Руа, вероятно, не понимая, что один из его собеседников был американским миссионером, хвастался расстрельными отрядами под своим командованием. Миссионер Эллсворт Фэрис записал этот разговор в своём дневнике: «Каждый раз, когда капрал отправляется добывать каучук, ему выдают патроны. Он обязан вернуть все неиспользованные; а за каждый использованный он должен принести правую руку! ... Что касается масштаба происходящего, [Руа] сообщил мне, что за шесть месяцев они, Государство, на реке Момбойо израсходовали 6000 патронов, что значит — убиты или искалечены 6000 человек. На самом деле больше 6000, потому что люди неоднократно говорили мне, что солдаты убивают детей прикладами своих ружей».

- В карательных экспедициях против восставших буджа в общей сложности убили более тринадцати сотен их соплеменников. Сообщения об этом появились в различных бельгийских газетах в 1900 году, одна из которых финансировалась Конго. В течение следующего десятилетия по всей территории вспыхнули десятки других восстаний против сбора каучука. Подсчитать число

погибших при их подавлении невозможно, но иногда случайная цифра несёт ужасающий смысл, если помнить, что солдаты строго наказывались за «напрасную трату» пуль на нечеловеческие цели. Среди множества разоблачающих документов концессионной компании A.B.I.R., оказавшихся у Мореля, есть реестр, показывающий, что в 1903 году только на один из тридцати пяти каучуко-заготовительных постов на территории A.B.I.R. было отправлено 159 единиц огнестрельного оружия и 40 355 патронов.

Список зафиксированных массовых расправ можно продолжать и продолжать. Территория была наводнена трупами, иногда в буквальном смысле. Там, где река впадает в озеро Тумба, шведский миссионер Э. В. Шьёблом писал: «Я видел... мёртвые тела, плывущие по озеру с отрубленной правой рукой, и офицер сказал мне, когда я вернулся, почему они были убиты. Это было ради каучука... Когда я переправился через поток, я увидел несколько мёртвых тел, свисающих вниз с ветвей в воде. Когда я отвёл лицо от этого ужасного зрелища, один из туземных капралов, шедший за нами, сказал: “О, это пустяки, несколько дней назад я вернулся из боя и принёс белому человеку 160 рук, и их бросили в реку.”»

Массовые убийства фиксировали не только миссионеры и приезжие. Многие офицеры Force Publique вели поразительно откровенные дневники о смерти и разрушениях, которые они оставляли после себя.

- В деревне Бикоро на озере Тумба шведский офицер Force Publique, лейтенант Кнут Свенссон, возможно, был причиной тех изуверченных тел, которые видел его соотечественник Шьёблом. Свенссон отметил в своём дневнике число жертв — 527 человек за четыре с половиной месяца после введения каучукового режима в

1894–1895 годах. (По местной устной традиции, сохранившейся до наших дней, Свенссон собирал жителей непокорной деревни под предлогом подписания договора или набора носильщиков, а затем просто открывал огонь.)

- Дневник другого офицера, Шарля Лемера, поражает своей беспечностью: «28 марта 1891 года: ... Деревня Боканга сожжена. ... 4 апреля 1891 года: Остановка в Болебо. ... Так как они встретили нас только с копьями и ружьями, деревня была сожжена. Один туземец убит. ... 12 апреля 1891 года: Атака на деревни Икенго. ... Большой вождь Эжелé из Этшиманджанду был убит и брошен в воду. ... 14 июня 1891 года: Экспедиция против Лолива, отказавшихся прийти на станцию. Ужасная погода; атака произведена под проливным дождём. Группа деревень была велика; уничтожить их все не удалось. Около 15 чёрных убито. ... 14 июня 1891 года: В 5 часов утра послан занзибарец Мечуди с примерно 40 людьми ... сжечь Нколé. ... Операция была успешной, и всё сожжено. ... 4 сентября 1891 года: В 4 часа утра приготовления к атаке на Ипеко. ... Вся деревня сожжена и банановые деревья вырублены. ... 13 июля 1892 года: Деревни Бомпопо были атакованы 7 июля лейтенантом Сарразеном; 20 туземцев убито; 13 женщин и детей взяты в плен».

- Из дневника Луи Леклерка, ещё одного офицера Force Publique: «21 июня 1895 года. ... Прибыл в Ямбиси в 10:20 утра. Деревня заброшена. ... Мы отправили несколько групп солдат прочесывать местность; они вернулись через несколько часов с 11 головами и 9 пленными. Каное, посланное вечером на охоту, также принесло несколько голов. 22 июня 1895 года: утром нам

привели трёх пленных, к вечеру — ещё троих, а также три головы. Человек из Бауманех, бегущий по лесу и кричавший, разыскивая жену и ребёнка, подошёл слишком близко к нашему лагерю и получил пулю от одного из часовых. Нам принесли его голову. Никогда не видел такого выражения отчаяния, страха. ... Мы сожгли деревню».

Дневники Лемера и Леклерка — как и других — продолжают в том же духе день за днём, неделю за неделей.

Любое сопротивление, даже попытки уклониться от правил, карались смертью. Э. Д. Морель перепечатал сообщение, которое окружной комиссар Жюль Жак послал одному из своих подчинённых, обнаружив, что некоторые жители деревни рубили лианы (и при этом их убивали), чтобы добыть каучук, вместо того чтобы просто надрезать лиану, как следует: «Месье начальник поста. Решительно: эти люди из [Инонго] — плохая публика. Они только что приходили и срезали некоторые каучуковые лианы... Мы должны бороться с ними, пока не будет достигнуто их полное подчинение или их полное уничтожение... Сообщите туземцам, что если они ещё раз срежут хоть одну лиану, я истреблю их до последнего человека.»

Конрад мало приукрашивал, когда заставил мистера Курца нацарапать печально известную фразу: «Истребите всех тварей!»

2. Голод, истощение и воздействие стихии. Когда вести о терроре распространялись, сотни тысяч людей бежали из своих деревень. В ответ солдаты часто забирали их скот и сжигали хижины и посевы, оставляя людей без пищи. Такая практика утвердилась ещё до «каучукового бума», когда солдаты Леопольда искали главным образом слоновую кость, а также носильщиков и провизию для себя. Шведский лейтенант описывает подобный

набег в 1885 году в районе порогов Нижнего Конго: «Когда мы приближались, в деревне поднялся страшный шум. Туземцы... были застигнуты врасплох. Мы видели, как они хватали что могли из своих пожитков и убегали в густые тёмные джунгли... Перед тем как уйти, я велел разграбить деревню — там оказалось множество коз, кур и уток... Затем мы покинули деревню и отступили в более удобное место, чтобы устроить полуденный привал».

Когда жители спасались бегством от этих экспедиций, они порой оставляли маленьких детей, опасаясь, что их плач выдаст место укрытия. В результате многие дети умирали от голода. Небольшой части населения повезло жить близ границ Конго — они сумели покинуть страну. По оценке французского колониального губернатора, к 1900 году около тридцати тысяч беженцев перешли во французскую территорию. Другие бежали в земли, принадлежавшие Британии, хотя некоторые из них утонули в реке Луапула, которая образовывала часть границы с британской Северной Родезией. Но для большинства людей не существовало иного пути бегства, кроме как углубляться в тропический лес или болота, где не было ни укрытия, ни пищи. Американец-авантюрист Эдгар Канизиус видел беженцев после своих карательных рейдов «живущими, словно дикие звери, в лесу, питающимися корнями, муравьями и прочими насекомыми». Один из пресвитерианских миссионеров, коллега Уильяма Шеппарда, писал в 1899 году: «Все жители деревень бегут в леса, когда слышат, что приближаются государственные офицеры. Сегодня ночью, в разгар сезона дождей, в радиусе 75 миль от Луэбо, я уверен, что будет заниженной оценкой сказать, что 40 000 человек — мужчины, женщины, дети, больные — спят в лесах без всякого укрытия».

Примерно в то же время молодой британский исследователь

по имени Эварт С. Гроган прошёл пешком всю Африку и был потрясён тем, что увидел, пересекши «обезлюдённый и разорённый» участок площадью 3000 квадратных миль на северо-востоке Конго: «Каждая деревня была сожжена дотла, и когда я бежал из этой страны, я видел повсюду скелеты, скелеты; а их позы — какие истории ужаса они рассказывали!»

Голод поражал и тех жителей деревень, которые не уходили в лес, потому что, если они жили рядом с каучуковым постом, им приходилось отдавать большую часть своих бананов, маниоки, рыбы и мяса на прокорм солдат. Так, деревня Бумба в концессии A.B.I.R., например, насчитывала всего сотню семей, но от неё ежемесячно требовали доставлять пятнадцать килограммов ямса или подобных овощей, а также пять свиней или пятьдесят кур. Более того, такие деревни обычно должны были поставлять всё продовольствие тогда, когда трудоспособные мужчины находились в лесу, отчаянно разыскивая каучук. Не имея рабочей силы для расчистки новых земельных участков, что было жизненно необходимо при возделывании хрупкой почвы тропического леса, женщины часто пересаживали изношенные поля. Урожаи снижались, и в старом регионе A.B.I.R. этот период до сих пор помнят под названием лонкали — время голода.

Несметное количество людей — женщин, детей и стариков — погибло в качестве заложников. Солдаты держали их в земляных загонах, часто в цепях, почти не кормили, пока мужчины из деревни не приносили требуемое количество каучука — на что могли уйти недели. В одном загоне в 1899 году выяснилось, что узники умирали со скоростью от трёх до десяти человек в день.

3. Болезни. Как и в случае с истреблением американских индейцев, болезни унесли гораздо больше жизней конголезцев,

чем пули. Европейцы и афро-арабские работорговцы занесли вглубь Конго множество ранее неизвестных там заболеваний. У местного населения не было времени выработать иммунитет — как это в значительной степени произошло к малярии, например. И новые, и старые болезни распространялись стремительно, поскольку огромное количество конголезцев теперь было вынуждено путешествовать на большие расстояния: мужчины, мобилизованные в качестве дальних носильщиков, для работы в пароходных командах (для обслуживания крупного судна требовалось от двадцати до шестидесяти дровосеков) или в качестве солдат, насильственно зачисленных в Force Publique. Наиболее известными убийцами были оспа и сонная болезнь, хотя и менее заметные легочные и кишечные инфекции также уносили множество жизней.

Оспа на протяжении веков была эндемичной в некоторых районах прибрежной Африки, но массовые переселения эпохи империализма распространили болезнь по всей внутренней части, оставляя деревню за деревней, наполненные мертвыми телами. Один из королей Куба — преемник того, который когда-то принимал Уильяма Шеппарда в королевстве, — умер от этой болезни. Оспа вселяла особый ужас. Африканцы называли её «болезнью свыше» или «болезнью небес», потому что эта страшная хворь, казалось, исходила не из какого-то знакомого источника. Один путешественник в Конго наткнулся на заброшенный город, где пятиметровый удав поедал тела жертв оспы, а в другом — на стервятников, так обожравшихся, что они были слишком тяжелы, чтобы летать.

Сонная болезнь также смертоносно распространялась вверх по рекам. По оценкам, только в 1901 году от неё умерло полмиллиона

конголезцев. Болезнь вызывается паразитом, впервые переданным через укусы розово-полосатой мухи цеце, размером примерно с овод, с характерным высоким жужжанием. После заражения человека сонная болезнь становится крайне заразной. Она может вызывать лихорадку, опухание лимфатических узлов, странную тягу к мясу и чувствительность к холоду. Наконец наступает глубокая вялость, давшая болезни её название.

Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами массовой убыли населения, апологеты Леопольда — тогда и теперь — обвиняют сонную болезнь. И действительно, сонная болезнь и другие заболевания, несомненно, унесли бы множество жизней даже в том случае, если бы Конго вступило в XX век под властью иного режима, а не Леопольда. Но история куда сложнее, ибо болезни редко действуют сами по себе. Эпидемии почти всегда наносят значительно более тяжёлый и быстрый удар по недоедающим и травмированным: нацистам и советам не требовались ни отравляющий газ, ни расстрельные команды, чтобы довести до смерти многих заключённых в их лагерях. Сегодня, отчасти благодаря веку голода и колючей проволоки, эпидемиологи слишком хорошо понимают точные механизмы того, как это происходит. Даже в Конго не нужно было быть врачом, чтобы увидеть: те, кто умирал от болезней, умирали не только от болезней. Шарль Гребан де Сен-Жермен, магистрат в Стэнли-Фолс, писал в 1905 году: «Болезнь с разрушительной силой косит истощённое население, и именно этой причине, по моему мнению, следует приписать неуклонный рост сонной болезни в этом регионе; вместе с подённой повинностью и отсутствием продовольственных запасов она быстро уничтожит эту страну. Я нигде в Конго не видел столь печального зрелища, как по дороге из

Касонго в Кабамбаре. В деревнях в большинстве своём осталось мало людей; многие хижины в руинах; мужчины, женщины и дети худы, слабы, безжизненны, очень больны, лежат неподвижно, и прежде всего — нет пищи».

4. Стремительное падение рождаемости. Нет ничего удивительного в том, что когда мужчины неделями, год за годом, отправлялись в леса за каучуком, а женщины удерживались в заложниках и полуголодном состоянии, рождалось меньше детей. Католический миссионер, много лет работавший в районе озера Май-Ндомбе, крупном центре каучукового промысла, заметил эту закономерность. Когда он прибыл туда в 1910 году, его поразило почти полное отсутствие детей в возрасте от семи до четырнадцати лет, хотя представители других возрастов имелись в большом числе. Это указывает на период с 1896 по 1903 год — как раз тогда, когда кампания по заготовке каучука достигла пика в этом районе. Свидетелем в соседней местности в то же самое время был Роджер Кейсмент, находившийся там с инспекционной миссией. Он оценивал, что численность населения сократилась на 60 %, и писал: «Остатки жителей лишь теперь, во многих случаях, возвращаются в свои разрушенные или заброшенные деревни. ... Более низкий процент рождаемости сокращает население. ... Женщины отказываются рожать детей и прибегают к средствам, чтобы избежать материнства. Они объясняют это тем, что если „война“ застанет женщину „с большим животом“ или с младенцем на руках, „ей“ будет трудно убежать и спрятаться от солдат». Таким образом, часть убыли населения Конго произошла и потому, что семьи, запуганные и разрушенные каучуковой кампанией, просто перестали заводить детей.

В Конго не проводилось всеобщей переписи населения до тех пор, пока ужасы каучукового террора не остались далеко позади. Но бельгийский антрополог Даниэль Вангруневеге, работавший в 1970-е годы в одном из бывших каучуковых районов, обнаружил убедительные демографические свидетельства того, что огромное количество мужчин было загнано на смерть в качестве «каучуковых рабов» или убито в карательных экспедициях — и доказательства он нашёл в самих статистических данных режима. Ничто иное не может объяснить странный узор, проходящий через деревенские переписи, проведённые в колонии задолго до первой территориальной переписи. Эти местные переписи неизменно показывают, что женщин значительно больше, чем мужчин.

В Инонго в 1907 году, например, насчитывалось 309 детей, 402 взрослых женщин, но лишь 275 взрослых мужчин. (Это был тот самый город, для которого примерно десятью годами ранее окружной комиссар приказал: «абсолютное подчинение ... или ... полное истребление».) В соседнем Ибоко в 1908 году было 322 ребёнка, 543 взрослых женщин, но только 262 взрослых мужчины. Статистика из многочисленных других деревень показывает ту же картину. Перебирать такие цифры сегодня — всё равно что перебирать руины крематория Освенцима. Они не дают точного числа жертв, но от них веет массовым убийством.

Во времена правления Леопольда, насколько — по всем четырём причинам — сократилось население Конго? Точно так же, как в случае с подсчётом потерь населения от Чёрной смерти в Европе XIV века, историки могут быть более уверены в процентах, чем в абсолютных цифрах. Ведь у них, в конце концов, нет данных переписи. Любопытно, что некоторые оценки убыли

населения Конго, сделанные очевидцами, совпадают с теми, которые получены сегодня более научными методами.

Официальная бельгийская правительственная комиссия в 1919 году подсчитала, что с тех пор, как Стэнли начал закладывать основы государства Леопольда, население территории «сократилось наполовину». Майор Шарль К. Либрехтс, высокопоставленный администратор конголезского государственного аппарата на протяжении большей части его существования, пришёл к тому же выводу в 1920 году. Наиболее авторитетная оценка сегодня принадлежит Яну Вансине, эмериту-профессору истории и антропологии Висконсинского университета и, возможно, крупнейшему ныне живущему этнографу народов бассейна Конго. Он основывает свои подсчёты на «бесчисленных локальных источниках из разных районов: священниках, отмечавших сокращение паствы, устных преданиях, генеалогиях и многом другом». Его оценка та же: между 1880 и 1920 годами население Конго было «сокращено как минимум наполовину».

Половина от чего? Лишь в 1920-е годы были предприняты первые попытки всеобщей переписи населения. В 1924 году численность населения оценивалась в десять миллионов — эта цифра подтверждается последующими подсчётами. Это означает, согласно оценкам, что во времена правления Леопольда и в непосредственные годы после него население территории сократилось примерно на десять миллионов человек.

Сожжённые деревни, голодающие заложники, перепуганные беженцы, умирающие в болотах, приказы об «истреблении» — даже в грубо-денежных терминах разве это не неэффективные

методы ведения дела? Массовые убийства огромного числа людей могут и напугать выживших, заставив их собирать каучук, но разве это не уничтожает рабочую силу? Да, именно так и есть. Бельгийские администраторы распорядились провести перепись населения в 1924 году, потому что их серьёзно тревожила нехватка доступных рабочих. «Мы рискуем однажды увидеть, как наше туземное население рухнет и исчезнет», — с тревогой заявлял в том году постоянный комитет Бельгийского колониального конгресса. «Так что мы окажемся перед лицом своего рода пустыни».

Почему же тогда убийства продолжались так долго? Та же иррациональность лежит в основе многих других массовых убийств. В Советском Союзе, например, расстрел или заключение политических противников поначалу помогли Коммунистической партии, а затем Иосифу Сталину установить абсолютную власть. Но после того, как видимых противников не осталось, было казнено ещё около миллиона человек, а многие миллионы погибли в разбросанных по стране лагерях ГУЛАГа. Было арестовано столько инженеров, что заводы остановились; погибло столько железнодорожников, что некоторые поезда перестали ходить; расстреляли столько полковников и генералов, что почти обезглавленная Красная армия оказалась на грани разгрома в результате немецкого вторжения 1941 года.

В Конго, как и в России, массовые убийства имели собственную инерцию. Власть соблазнительна, и ничто не даёт такой силы, как возможность отнять у кого-то жизнь. Как только процесс начинался, остановить массовые расправы было трудно; это превращалось в нечто вроде спорта, сродни охоте. Анналы Конго полны случаев вроде дела Рене де Перментье, офицера в Экваториальном округе в конце 1890-х годов. Африканцы прозвали

его Баджуну (от французского *bas genoux* — «на коленях»), поскольку он всегда заставлял людей становиться на колени перед собой. Он вырубил все кусты и деревья вокруг своего дома в Бокатоле, чтобы с веранды использовать прохожих для стрельбы по мишеням. Если он находил лист во дворе, который подметали пленённые женщины, он приказывал отрубить голову дюжине из них. Если он обнаруживал плохо протоптанную тропинку в лесу, он приказывал убить ребёнка в ближайшей деревне.

Два офицера *Force Publique*, Клеман Брассер и Леон Серкель, однажды приказали подвесить человека за ноги на пальме, развести под ним огонь и зажарить его до смерти. Двое миссионеров обнаружили один пост, где узников убивали, обливая им головы смолой и поджигая. Этот список можно продолжать ещё очень долго.

Майкл Херр, самый блестящий репортёр Вьетнамской войны, передаёт тот же угар в словах одного американского солдата, с которым он встретился: «Мы вырывали живые изгороди, жгли лачуги, взрывали все колодцы и убивали каждую курицу, свинью и корову во всей этой грёбаной деревне. То есть, если мы не можем стрелять в этих людей, какого чёрта мы вообще здесь делаем?» Когда другой американец, Фрэнсис Форд Coppola, попытался перенести эту кроважность войны на экран, к кому он обратился за сюжетом своего Апокалипсиса сегодня? К Джозефу Конраду, который видел всё это за столетие до того — в Конго.

«ЖУРНАЛИСТЫ НЕ ВЫДАЮТ КВИТАНЦИЙ»

Когда движение за реформы в Конго достигло своего Капогея, человек в Англии, чьё имя навсегда срослось с этим краем, незаметно отошёл в тень. Сэр Генри Мортон Стэнли, избравшийся в парламент, быстро понял, что служебная рутина ему в тягость. Яркие истории о путешествиях, которыми он пленял публику на лекциях, никак не могли заменить холодной и точной риторики палаты. К тому же ему не хватало ещё одного важного качества — иронии. Он вскоре сложил с себя полномочия.

Долгие годы борьбы с малярией, дизентерией и прочими тропическими напастями не прошли даром. Едва перевалив за шестьдесят, невысокий человек с коротко остриженными седыми волосами и усами, с обветренным, румяным лицом двигался всё медленнее. Он увлечённо следил за событиями англо-бурской войны, негодуя по поводу мятежников, посмеявших бросить вызов британскому господству. В минуты саможалости называл себя «человеком, который отдал жизнь своей стране и Африке». Работал он урывками над автобиографией, но, хотя всю жизнь писал стремительно и легко, эту книгу так и не довёл до конца. Вероятно, опасался, что на бумаге расползётся паутина противоречивых баек, которые он сам столько лет рассказывал о своём детстве и юности. С женой Доротой и приёмным сыном Стэнли жил то в лондонском доме, то в нарядном «псевдотюдоровском» особняке в Суррее. В своём поместье они называли пруд, ручей и сосновую рощу в честь далёких африканских мест его славы: Стэнли-Пул, река Конго, лес Итури.

Говорили, что Стэнли был недоволен тем, во что превратилось Конго — в настоящий «зал ужасов», — однако немногие его публичные заявления звучали исключительно в защиту Леопольда. Его здоровье всё ухудшалось, вероятно, из-за множества навязчивых врачей, спешивших применить к своему знаменитому пациенту самые новые методы лечения: инъекции стрихнина, аммиак, эфир и электрические импульсы.

10 мая 1904 года Стэнли услышал, как в ночной тишине пробили часы Биг-Бена, и прошептал: «Как странно! Так вот что такое время... Странно!» Это были его последние слова.

Стэнли был одним из самых прославленных англичан своего времени, и пока он был жив, его открытая верность Леопольду стоила королю куда дороже любой купленной рекламы. Но со смертью Стэнли, с публикацией доклада Кейсмента и нарастающими нападками Мореля Леопольду понадобились новые средства защиты. Первые их признаки проявились в неожиданном месте.

В первые годы XX века роскошные железнодорожные путешествия достигли апогея. Европейские столицы связывала сеть удобных спальных вагонов *Compagnie Internationale des Wagons-Lits* («Международная компания спальных вагонов»). Для состоятельных пассажиров посадка в ночной экспресс означала клубы пара на платформе, носильщика с чемоданами и проводника, заботливо раскладывающего постель. К середине десятилетия эта элита путешественников могла рассчитывать ещё на один маленький ритуал: на столике в купе лежал ежемесячный журнал в трёх колонках — на английском, французском и немецком — под названием «*The Truth about the Congo*». Его бесплатное распространение среди богатой публики было пределом мечтаний

для любого пиарщика. А одним из крупнейших акционеров Compagnie Internationale des Wagons-Lits был сам король Леопольд II. Так началась его контрнаступательная кампания.

Подогреваемые Морелем удары по Леопольду звучали со всех сторон. В течение десятилетия отделения Ассоциации за реформы в Конго возникали в Германии, Франции, Норвегии, Швейцарии и других странах. Восемь депутатов шведского парламента подписали декларацию в поддержку Ассоциации. Среди сторонников Мореля оказались князь Борис Четвертинский, знаменитый романист Анатоль Франс и нобелевский лауреат Бьёрнстjerne Бьёрнсон. В Швейцарии, по словам очевидца, мужчины бледнели, а у женщин наворачивались слёзы, когда на собрании показывали фотографии искалеченных детей, сделанные миссионеркой Элис Харрис. В Австралии оратор обрушился на конголезскую администрацию перед многочисленной публикой, а в Новой Зеландии был прочитан целый цикл лекций. В Италии критик Леопольда выступал столь громогласно, что генеральный консул Конго в Генуе Джованни Элиа вызвал его на дуэль. Оба получили лишь лёгкие ранения: консул — в нос, оппонент — в руку. Для Леопольда всё это выглядело как международный заговор Мореля и его союзников. А значит, бороться с ним нужно было в мировом масштабе.

Отсутствие у Бельгии статуса великой державы вынуждало Леопольда уповать на хитрость, прежде всего на умение управлять прессой. В своей контркампании он проявил себя мастером массовых коммуникаций, не уступающим своему заклятому врагу Морелю. Он отправил доверенное лицо в британскую Африку искать злоупотребления, сопоставимые с теми, что описал Кейсмент в Конго. В «Правде о Конго» одна за другой

появлялись статьи вроде «Опий в Британской Индии» и заметки о порках в Южной Африке, жертвоприношениях в Нигерии, злоупотреблениях в Сьерра-Леоне и Австралии. Призывая к ответу друзей, Леопольд пригрозил лишить своего друга сэра Альфреда Джонса выгодного контракта на перевозки, если тот не сумеет приглушить британскую критику.

Джонс немедленно взялся за дело, заплатив 3000 фунтов стерлингов за длительные поездки в Конго двум путешественникам. Один из них — его друг Уильям, виконт Маунтморрес, молодой человек, который косвенно обязан Джонсу своей должностью. Маунтморрес любезно опубликовал благожелательную книгу о Конго в 1906 году: «Поражает тот горячий энтузиазм, с которым чиновники... предаются своему делу». Хотя он признавал отдельные злоупотребления, Маунтморрес считал, что большая часть Конго «управляется справедливо и гуманно». Его книга напоминает оптимистический отчёт Беатрис и Сидни Вебб о Советской России: подобно Веббам, Маунтморрес принимал за истину всё, что написано в законах и инструкциях, полагая, что их неукоснительно соблюдают. Он с серьёзным видом подчёркивал, что шикотта может применяться лишь после официального разбирательства, на котором обвиняемый имеет право вызывать свидетелей, и только по ягодицам; кроме того, «не более двадцати ударов может быть нанесено в любом случае, за исключением привычного воровства, когда допускается максимум пятьдесят ударов, но и тогда наказание должно быть распределено на несколько дней, причём не более двадцати ударов за раз». На практике, разумеется, это правило соблюдалось примерно с той же строгостью, что и ранний советский декрет, запрещающий смертную казнь.

Другим путешественником, спонсированным Джонсом, была Мэри Френч Шелдон — лондонский издатель и путешественница. Попав в Конго, она полностью зависела от пароходов, предоставленных государством и его союзными компаниями (в отличие от Кейсmenta, который сознательно этого избегал), и чиновники не жалели сил, чтобы показать ей «прелести» территории. Повсюду, куда бы она ни приехала, заложников временно освобождали, чтобы она не увидела никого в заключении. По словам одного миссионера, в Бангала на реке Конго государственный агент даже «снес старую тюрьму, выровнял землю и всё благоустроил, потому что она приезжала». Серьезная накладка произошла лишь однажды, когда начальник местной станции перепутал указания. Приняв миссис Шелдон за важного гостя из Ливерпульской школы тропической медицины, он собрал для неё на поляне самых тяжело увечных и больных людей, каких только смог найти. Но это не испортило впечатления: миссис Шелдон влюбилась в капитана парохода и прекрасно провела время. На обратном пути Леопольд даровал ей аудиенцию, а Джонс помог разместить её восторженные статьи в газетах. «Я видела больше жестокостей на улицах Лондона, чем в Конго», — писала она в *The Times* в 1905 году. Вернувшись, она устроила лекцию с показом слайдов для пятисот человек в лондонском отеле *Savoy*, расходы на которую оплатил сам Леопольд. Позже король назначил ей жалованье в полторы тысячи франков в месяц (примерно 7500 долларов по современному эквиваленту) за лоббирование членов парламента.

«Выступая с громкими контратаками против своих британских критиков, Леопольд в то же время не переставал тайно искать пути к примирению с ними и даже покровительству, действуя

всегда через посредников, чтобы не выдать себя. Так, парижский адвокат обратился к одному из членов правления Ассоциации реформ в Конго: если организация представит проект реформ и предполагаемый бюджет для колонии, он, дескать, может ручаться, что Его Величество ознакомится с ними с самым живым интересом. Морель отверг это предложение как «в высшей степени дерзкое». Близкий к королю британский баптист, сэр Хью Гилзиан Рид предпринял аналогичную попытку через Общество защиты аборигенов, но и она была решительно отвергнута.

Однако король сумел изощённо отыгаться на другом противнике — влиятельном французском публицисте Пьере Милле, союзнике Мореля, который неустанно и с яростью клеймил Леопольда на страницах газет. Однажды придворный донёс, что Милль тайно прибыл в Брюссель с дамой, не являвшейся его супругой. Король тут же разузнал, где они остановились, и прислал приглашение посетить знаменитые оранжереи в Лакенском замке. Милль и его спутница охотно приняли его, и, столь очевидно наслаждаясь визитом, показались Леопольду почти завоёванными. Но вскоре журналист возобновил свои беспощадные нападки. Тогда Леопольд велел через бельгийское посольство в Париже выяснить домашний адрес Милля. Туда и был отправлен огромный букет цветов с карточкой, украшенной королевским гербом и словами: «Месье и мадам Пьеру Миллю — в память о визите в Лакен».

Пиар-кампанию Леопольда вела целая разветвлённая команда. В сентябре 1904 года он собрал группу своих ближайших советников и наметил создание Пресс-бюро. Штаб-квартира должна была скрываться от посторонних глаз за фасадом нескольких безобидных прикрытий: германского Комитета по

защите интересов в Африке, брюссельского Бюро сравнительного законодательства и Федерации защиты бельгийских интересов за границей, действовавшей во многих странах.

Через год или два начали выходить новые книги в защиту Леопольда. Его Бюро прессы тайно субсидировало несколько бельгийских газет и журнал, издававшийся в Эдинбурге под названием *New Africa — The Truth on the Congo Free State* («Новая Африка — Правда о Свободном Государстве Конго»). Взяв пример с Мореля, Леопольд заказал более двух десятков брошюр. Его британский публицист Деметриус К. Булджер, получавший ежемесячное жалованье в 1250 франков плюс премии, написал одну из них под выразительным и, пожалуй, чрезмерно оборонительным названием: *The Congo State is NOT a Slave State* («Государство Конго — НЕ рабовладельческое государство»). Другая брошюра, *A Complete Congo Controversy, illustrating the controversial methods of Mr. Morel, Honorary Secretary of the Congo Reform Association* («Полная Конголезская полемика, иллюстрирующая спорные методы мистера Мореля, почётного секретаря Ассоциации реформы Конго»), вышла под подписью некоего подполковника Джеймса Харрисона, представленного как «человека совершенно независимого ума, джентльмена-землевладельца, спортсмена и путешественника, хорошо известного в лондонских общественных и политических кругах». Главной «квалификацией» Харрисона в качестве эксперта по Конго было то, что он совершил туда охотничью экспедицию на крупную дичь и обнаружил, что «туземцы были довольны и счастливы».

Основная же работа Пресс-бюро велась тайно. Его агенты скрытно передавали деньги редакторам и журналистам по всей

Европе; к 1907 году бруссельские корреспонденты и лондонской «Times», и немецкой «Kölnische Zeitung» уже получали от них жалование. Два редактора венской газеты получили суммы, равные более чем 70 тысячам долларов по нынешнему курсу. В Италии консул Элиа, известный своими дуэльными наклонностями, щедро развернул сеть влияния: он выплачивал деньги двум газетам, добивался публикации благоприятных статей в других изданиях, организовал написание памфлета и книги в защиту Леопольда и даже подкупил как минимум одного парламентария. Однако газета «Corriere della Sera» отвергла крупное предложение взятки и вместо этого развернула собственное расследование.

Особое внимание Пресс-бюро сосредоточило на Германии, ставшей к тому времени одной из ведущих держав в Африке. Эта страна представляла особую проблему, поскольку сам кайзер Вильгельм II лично ненавидел Леопольда; в какой-то момент он даже назвал его «Сатаной и Маммоной в одном лице». Пресс-бюро организовало привычный набор лекций и брошюр в защиту Леопольда на немецком языке, но этим дело не ограничилось. Людвиг фон Штойб, банкир и почётный бельгийский консул в Мюнхене, выступал в роли «казначея» Леопольда в Германии. В Берлине газета «National-Zeitung» ещё в 1903 году писала с ожесточением о «беспринципном дельце, живущем во дворце в Брюсселе». Однако фон Штойб, зная о её тяжёлом финансовом положении, действовал соответствующим образом. Уже к 1905 году издание заняло выжидательную позицию: «Немцу, безусловно, нелегко составить ясное мнение по вопросам, где сталкивается столь множество интересов, в особенности интересы британских торговцев каучуком». Позднее в том же году газета посвятила целую полосу восторженному очерку о процветающем

Конголезском государстве, которое, как утверждалось, было позорно оклеветано кликой иностранных торговцев и миссионеров, распространявших «бабы сказки» и «злые байки разносчиков». К 1906 году издание уже публиковало королевские декреты. В 1907-м его главный редактор был награждён самим королём.

Читатели заметили похожие загадочные превращения и в других немецких газетах. Так, *Münchener Allgemeine Zeitung*, ранее решительно выступавшая против правления Леопольда, внезапно начала публиковать материалы в его защиту — со ссылками на «самый надёжный источник», «конголезский источник» или «хорошо информированный источник». Брюссельский корреспондент издания, не посвящённый в махинации, продолжал посылать в редакцию критические репортажи, включая большой материал, который, по-видимому, был напечатан без предварительного одобрения главным редактором. Уже в следующем номере появилась редакционная приписка, начинавшаяся словами: «В отличие от мнений, опубликованных нами ранее, другой источник, несомненно лучше осведомлённый о положении дел в Конго, прислал нам следующий комментарий...».

Взятки, как правило, трудно отследить, но о подкупах Леопольда в Германии нам известно благодаря забавной цепочке событий. Разоблачения подорвали эффективность Пресс-бюро, и в 1908 году было приказано прекратить его немецкие операции по выплатам. Однако бедняга фон Штойб из Мюнхена либо не понял распоряжения, либо не решился отказаться от столь «интересной» работы. Он продолжал раздавать взятки — и вскоре возмутился тем, что ему не возмещают расходы. Тогда он стал забрасывать брюссельских чиновников заискивающими, жалобными

письмами, которые каким-то образом не были уничтожены и спустя более полувека были обнаружены в архивах. В этих письмах фон Штойб с каждым разом всё подробнее описывал свою деятельность всё более высоким должностным лицам. «По мнению всех колониальных экспертов, доброжелательное отношение германского правительства [к Конго] — в основном результат моей работы», — писал он бельгийскому министру иностранных дел. — «Бросить знамя в столь важный момент и уступить поле врагу казалось мне преступлением... 1 января и 1 апреля я произвёл все обычные выплаты и смею надеяться хотя бы на возмещение своих расходов». Позже, в отчаянии, он уже прямо упоминал свои «платежи органам прессы» и объяснял, почему не может предоставить подтверждающие документы: «При выдаче мне поручения господин Либрехтс [генеральный секретарь внутренних дел Конго] сказал: «Журналисты и писатели вам квитанций не выдадут, так что и не просите их об этом».

Несмотря на все усилия короля остановить поток обвинений, лавина критики лишь усиливалась. Как только движение за реформы в Конго набрало силу в Британии, Э. Д. Морель обратил взор на Соединённые Штаты. Эта страна, говорил он каждому американцу, кто готов был слушать, несёт особую ответственность за прекращение кровавого владычества Леопольда, ведь именно США первыми признали Конго.

В сентябре 1904 года, по приглашению группы американских миссионеров, уже громогласно осуждавших власть короля, Морель пересёк Атлантику. Вскоре после прибытия в Нью-Йорк он был принят в Белом доме президентом Теодором Рузвельтом.

Затем выступил на конференции по правам человека в Бостоне и вдохновил союзников на создание Американской ассоциации за реформы в Конго. Её первым президентом стал доктор Г. Стэнли Холл, глава Университета Кларка, впоследствии известный тем, что пригласил в США Зигмунда Фрейда. Вице-президентами ассоциации вскоре числились церковные деятели, президент Стэнфордского университета Дэвид Старр Джордан, Букер Т. Вашингтон и Марк Твен. Вашингтон повёл делегацию чернокожих баптистов в Белый дом, чтобы убедить Рузвельта оказать давление на Леопольда, агитировал сенаторов в комитете по иностранным делам, и по настоянию Мореля вместе с Твеном выступал на митингах о Конго в разных городах. «Доктор Вашингтон — враг, которого непросто одолеть», — писал один из агентов Леопольда в США. Король тщетно пытался отвлечь его от этой темы: сначала предлагал поездку в Конго за государственный счёт, затем — визит в Бельгию.

Глубоко впечатлённый встречей с Морелем в Нью-Йорке, Марк Твен трижды ездил в столицу, чтобы лично лоббировать реформу. «Думаю, я никогда не видел его [Твена] столь взволнованным каким-либо вопросом, как жестоким обращением с туземцами в Свободном государстве Конго...» — писал Вашингтон. «Я встречался с ним несколько раз в связи с его усилиями добиться реформ в Конго, и он никогда не уставал говорить об этом». Твен обедал с президентом Теодором Рузвельтом — о чём Морель поспешил сообщить британскому Форин-офису, — встречался с государственным секретарём и писал Морелю, что дело реформы Конго в Соединённых Штатах — это «гигантское предприятие, которому нужна организация вроде U.S. Steel». В 1905 году он написал памфлет «Монолог короля Леопольда» (King Leopold's

Soliloquy) — воображаемое монологическое выступление бельгийского монарха. Произведение многократно переиздавалось, а все гонорары Твен передал Ассоциации за реформу Конго. Значительная часть монолога посвящена медиакампании Леопольда: «За эти двадцать лет я потратил миллионы, чтобы заставить прессу двух полушарий молчать, и всё же эти утечки продолжаются», — в отчаянии восклицает Твеновский король, негодуя на «некоррупируемого кодака... единственного свидетеля, которого я не смог подкупить». В памфлете Твена Леопольд прямо нападает на Уильяма Шеппарда, клеймя вмешательство «назойливого чёрного миссионера-шпиона». Хотя текст отличается чрезмерной сатиричностью и не относится к лучшим произведениям Твена, «Монолог короля Леопольда» вызвал бурную реакцию пропагандистской машины монарха, которая вскоре поспешно выпустила анонимный 47-страничный ответный памфлет под названием «Ответ Марку Твену»

Как и в Британии, Морель умело адаптировал своё послание к разным американским аудиториям. Большинство его союзников были прогрессивные интеллектуалы вроде Твена, но он готов был и «ужинать с дьяволом», если это помогло бы делу. Он ловко использовал сенатора Джона Тайлера Моргана, бывшего генерала Конфедерации, который двадцатью годами ранее содействовал признанию Конго США. Морган, всё так же громогласно мечтавший о высылке афроамериканцев ради «белого Юга», теперь требовал немедленно покончить со злоупотреблениями в Конго. Иначе как убедить чернокожих переселиться туда? Он надеялся увидеть «десять миллионов» переселённых в Конго, как признался Морелю. Подталкиваемый Морелем, Морган поддерживал в Сенате обсуждение зверств.

Британские баптистские миссионеры Джон и Элис Харрис, прибывшие вслед за Морелем, провели более двухсот собраний в сорока девяти городах. На одном из них в Чикаго пожилая женщина, бывшая рабыня, попыталась пожертвовать все свои сбережения ради реформ, но реформаторы приняли лишь доллар. За ними последовали другие активисты с лекционными турами. Из Вашингтона Джон Харрис восторженно писал Морелю: «Телеграммы, петиции, частные письма идут тысячами... Президент.... После небольшого нажима предпримет действия».

Госсекретарь Элиу Рут, оказавшийся под шквалом требований, позже с досадой вспоминал: «Именно те, кто яростнее всего против любых союзов, фанатично требуют от нас ежегодно сотни действий из гуманитарных соображений... Протестантские церкви и множество достойных женщин требовали прекратить зверства в Конго... Люди буквально толпами вваливались в [Гос] департамент, требуя действий». Среди подписавших петиции были губернатор Массачусетса и все сенаторы штата, профессора Йеля, университетские президенты, деканы богословских школ, епископы и редакторы газет. Национальный союз христианских женских обществ воздержания принял резолюцию о Конго.

Хотя в Европе Морель имел лишь отдельных сторонников, именно в США движение за реформу Конго стало по масштабам равным британскому крестовому походу. Ужаснувшись распространению кампании на новый континент, Леопольд бросился в бой. Когда в 1904 году Морель выступал в Бостоне, сразу шесть ораторов от короля явились требовать равного времени. А в 1905-м, когда влиятельный сенатор Генри Кабот Лодж из Массачусетса приехал в Париж, король немедленно направил эмиссара пригласить его в Брюссель. «Он назвал шесть

разных дат, так что уйти было невозможно», — писал Лодж Рузвельту. Сенатор был впечатлён: «Леопольд — проницательный, энергичный и умелый бизнесмен, нечто среднее между Джимом Хиллом и Харриманом — организатором и промоутером, с одной стороны, и спекулянтом — с другой. Он знает всех и обо всех».

Владея «знаниями обо всех», Леопольд нацелился на ещё более могущественного сенатора — Нельсона Олдрича из Род-Айленда. Мультимиллионер, партнёр Дж. П. Моргана по карточным играм, тесть Джона Д. Рокфеллера-младшего и глава финансового комитета Сената, Олдрич считался вершиной Вашингтонской власти. «Я всего лишь президент, — признался Рузвельт журналисту Линкольну Стеффенсу, — а он повидал многих президентов».

Леопольд пытался расположить к себе Олдрича и других влиятельных американцев, обещая им долю в добыче. Он предоставил крупные концессии в Конго Олдричу, финансовым интересам семьи Гугенхайм, Бернарду Баруху, Джону Д. Рокфеллеру-младшему и финансисту Томасу Райану — близкому другу и бывшему клиенту госсекретаря Элиу Рута. В одном из писем, полученных королём от его американского агента, чётко излагалась стратегия, которой он придерживался: «Откройте полосу территории через всё Государство Конго с востока на запад для выгоды американского капитала. Возьмите нынешних концессионеров за горло, если потребуется, и заставьте их поделиться своими привилегиями с американцами. Таким образом вы создадите американский имущественный интерес в Конго, что сделает бессмысленным визг английских агитаторов и бельгийских социалистов». Кроме того, Леопольд подарил Американскому музею естественной истории более трёх тысяч

конголезских артефактов, прекрасно понимая, что Дж. П. Морган входил в состав его совета директоров.

С сенатором Олдричем щедрость Леопольда оказалась действенной. Государственный департамент подвергался постоянному давлению со стороны реформаторов, требовавших назначить в Конго американского генерального консула, который смог бы продолжить расследование Роджера Кейсmenta собственными средствами. Чтобы отвязаться от настойчивых требований, госсекретарь Рут выдвинул в качестве кандидата именно того человека, которого предлагали реформаторы. Но стоило Олдричу дать понять, что в Сенате он заблокирует эту кандидатуру, как Рут немедленно отозвал её.

Стремясь заручиться поддержкой ключевых американских этнических избирательных групп, Леопольд также умело играл роль «преследуемого католика». Его представители в Риме сумели убедить Ватикан, что этот католический монарх подвергается нападкам со стороны беспринципных протестантских миссионеров. Поток посланий на латыни направлялся из Святого Престола через Атлантику к назначенному католическому доверенному лицу Леопольда в Соединённых Штатах — кардиналу Джеймсу Гиббонсу из Балтимора, который, как оказалось, был ещё и партнёром сенатора Олдрича по карточным играм. Кардинал Гиббонс считал, что кампания за реформу в Конго — дело «лишь горстки недовольных людей, опирающихся главным образом на недостоверные слухи, исходящие от туземцев». Он активно выступал в защиту Леопольда, за что король наградил его Большим крестом ордена Короны.

У Леопольда была целая команда лоббистов в Соединённых Штатах. Профессор Джорджтаунского университета Альфред

Неринкс способствовал изданию нового англоязычного журнала о Конго, выступал с речами и обеспечивал появление благожелательных статей в уважаемых изданиях. Фредерик Старр, эксцентричный антрополог из Чикагского университета и убеждённый сторонник теории о «низшей природе» «примитивных» народов, получил одну из бесчисленных медалей Леопольда и годовое путешествие по Конго за счёт государства. В ответ он опубликовал серию из пятнадцати восторженных статей в *Chicago Daily Tribune* под заголовком «Правда о Свободном Государстве Конго», позднее изданных отдельной книгой. Юрист, работавший на фирму по производству патентованных лекарств, Генри Веллингтон Уэк, выпустил объёмный труд, вскоре появившийся в тысячах американских библиотек. Из Брюсселя ему было дано указание «действовать так, будто он не состоит на службе у государства, а всего лишь выступает как беспристрастный публицист». Однако другой американский агент оказался куда менее надёжным: организуя своё лоббистское предприятие в США, король допустил редкую и роковую ошибку.

Для любого обеспеченного калифорнийца, оказавшегося на скамье подсудимых в 1904 году, вероятным адвокатом защиты мог стать полковник Генри И. Ковальски из Сан-Франциско. Ковальски был классическим американским типом — блестящим адвокатом-шоуменом, балансировавшим на грани закона и окружённым толпой знаменитых друзей и знакомых. Жизнелюб, рассказчик, транжира с легендарными счетами в отелях, он поражал окружающих масштабом своей личности и мастерством в зале суда. Его клиентами становились и боксёры, и представители

криминального мира, и «вновь обнаруженные» родственники или сожительницы — особенно когда появлялось завещание, которое можно было оспорить. Как и многие «полковники» той эпохи, он не служил в армии, но европейцам позволял верить в обратное.

Не только характер Ковальски был «крупнее жизни». Он был ещё и известным любителем готовить и с аппетитом поедал собственные и чужие блюда. «По сравнению с ним, — заметил один журналист, когда грузный Уильям Тафт занимал Белый дом, — президент Тафт выглядит канатоходцем-акробатом». Толстая шея Ковальски нависала над воротником, голос сипло хрипел, а на рождественский опрос газетчиков о любимых рецептах он лукаво прислал рецепт жареных свиных щёк.

Он также страдал нарколепсией — заболеванием, вызывающим внезапные и неконтролируемые приступы сна. «Пожалуй, не найдётся человека, знакомого с жизнью Сан-Франциско, который не видел бы, как Ковальски засыпает прямо на улице, в гостиничном вестибюле, во время судебного заседания или сидя в театральной ложе», — отмечал один журналист. Впрочем, возможно, у него было больше контроля над этой проблемой, чем он давал понять: репортёр, присутствовавший на одном из процессов, заметил, что «он просыпается как раз вовремя, чтобы заявить наиболее уместное юридическое возражение против вопроса».

«И именно эти внезапные пробуждения, — продолжал рассказ репортёр, — приносили немалый ущерб мебели в зале суда судьи Грэма. Когда человек весом в триста фунтов — и это ещё скромная оценка — вздрагивает при пробуждении, даже самое прочное кресло начинает трещать по швам. ... Ещё несколько таких раз, и вот уже слышен зловещий скрип, затем треск и грохот. “Очередное сдалось”, — бормочет судебный пристав МакДжениги, пока

полковник покидает развалившееся кресло и усаживается в новое, ещё целое». В завершение этого процесса Ковальски эффектно преподнёс суду специальное кресло, изготовленное по его заказу: из цельного дуба, стянутое железными болтами, с ножками, укреплёнными металлическими скобами.

Когда Ковальски оказался по другую сторону ожесточённого судебного спора с легендарным стрелком Уайаттом Эрпом, вспыльчивый Эрп пригрозил застрелить его при первой встрече. Вскоре судьба свела их в одном из салунов Сан-Франциско. Эрп загнал Ковальски в заднюю комнату, выхватил револьвер и велел юристу готовиться встретиться с Создателем. Но тяжёлое лицо Ковальски опустилось на грудь, и он задремал. Эрп, бушуя от ярости, вышел из комнаты со словами: «Что поделаешь с человеком, который засыпает именно в тот момент, когда ты собираешься его убить!»

Глаз на выгодных клиентов у Ковальски был отменный. Так он вычислил наследника бельгийского престола, принца Альберта, прибывшего в Калифорнию инкогнито. Завёл знакомство, и вскоре, в 1904 году, получил приглашение в Бельгию. Там его приняли на королевской яхте в Остенде и представили Леопольду.

Глядя на Ковальски, король видел перед собой американца, деятельно вовлечённого в Республиканскую партию, находившуюся тогда у власти, и человека, представлявшего себя выдающимся лоббистом, способным ослабить натиск назойливых гуманистов, грозивших доставить Его Величеству немало хлопот. Поскольку Морель начинал возбуждать общественное мнение в США, медлить было нельзя. Король нанял Ковальски, снабдил его подробными инструкциями и выделил средства на обустройство роскошного офиса на Уолл-стрит. Когда Ковальски готовился

к переезду в Нью-Йорк, его друзья в Сан-Франциско — судьи, бизнесмены, адмирал и несколько соперничающих адвокатов, которые, быть может, радовались его отъезду, — устроили ему прощальный банкет, наверняка добавивший ещё пару фунтов к его и без того внушительным габаритам. «Я не стану строго придерживаться текста тоста, который мне поручен, — заметил мэр Сан-Франциско. — Подобно нашему гостю, это слишком уж крупная тема». Другой оратор пошутил, что хорошо ещё Леопольд не отправил Ковальски прямо в Конго, где «африканские людоеды с удовольствием полакомились бы столь изысканным кусочком».

Сам Ковальски ответил пафосно: «Я покидаю вас лишь потому, что услышал трубный зов долга во имя человечности и цивилизации». Этот «трубный зов» выражался в жалованье в 100 000 франков в год — около полумиллиона долларов на нынешние деньги. В новой роли он был принят президентом Рузвельтом, которому преподнёс портрет Леопольда в серебряной рамке, альбом фотографий из Конго и меморандум с просьбой не поддаваться «клевете миссионеров и ливерпульских купцов».

Всю эту историю врасплох застал барон Людовик Моншёр, бельгийский посланник в Соединённых Штатах. Он только что опубликовал восторженную статью под названием «Положение в Свободном Государстве Конго» в авторитетном North American Review и был уверен, что возглавляет американскую пропагандистскую кампанию Леопольда. Появление же Ковальски, имевшего безошибочный облик проходимца, повергло его в ужас. В день пышного прощального банкета Ковальски в Сан-Франциско Моншёр с досадой узнал, что тот в зале суда сцепился в драке с одним из своих кредиторов. Барон и его помощники немедленно засыпали Брюссель отчаянными донесениями.

В Королевском дворце ни один подчинённый не осмелился бы открыто возражать новому любимцу короля, однако Моншёр всё же получил зашифрованную телеграмму от одного из высших руководителей по делам Конго: «Я получил ваши сведения о Ковальски. Считаете ли вы, что ситуация такова, что нам следует отменить его миссию? — хотя это было бы для нас затруднительно. Не лучше ли попытаться поручить ему другую миссию — в Африке или Китае?»

Один из сотрудников Моншёра заметил с сарказмом: «Посылать его в Конго бесполезно... разве что можно надеяться, что он оттуда не вернётся». Сам Моншёр предупредил: «Если он решит, что я виноват в его опале, может устроить скандал в прессе».

Осторожно действуя, чиновники Конголезского государства пригласили Ковальски в Брюссель, где попросили его взяться за срочную миссию в Нигерии. Ковальски проявил интерес, даже купил себе тропический шлем и ружьё для охоты на слонов, но затем отказался от назначения, вероятно, догадавшись, что его просто хотят убрать с дороги. Поскольку он знал слишком много, встревоженные помощники Леопольда не решились уволить его и отправили обратно в Соединённые Штаты с новыми инструкциями по лоббированию, в которых с трудом скрывалась их растущая тревога: «Миссия полковника Ковальски состоит в том, чтобы просветить сенаторов и конгрессменов относительно справедливости нашего дела и предотвратить принятие ими неблагоприятных резолюций». Однако: «Он должен быть осторожен и не посещать Белый дом, кроме случаев абсолютной необходимости... Он не должен выступать публично без предварительного совета с бельгийским министром».

Ковальски окончательно оказался за бортом, и спустя год после того, как Леопольд нанял его, король позволил его контракту истечь. Напрасно адвокат засыпал монарха письмами (все они начинались словами «Мой дорогой Величайший...»), расхваливая свои заслуги перед делом Конго, понося соперников из числа других американских лоббистов Леопольда (одного он называл «ничтожным, недостойным и беспринципным неблагодарным типом» с «подлой рукой») и приписывая себе грандиозные достижения. «Это была великая задача, и я работал день и ночь... Я проехал тысячи миль во имя этого дела», — уверял он. В попытке вернуть себе расположение и жалованье он даже прибегал к лести: «Признаюсь, я испытал к Вашему Величеству такое чувство привязанности, какое некогда питал к моему горячо любимому и безвременно ушедшему отцу».

К ежегодному вознаграждению Ковальски Леопольд добавил щедрые 125 000 франков — при условии, что тот уйдёт тихо, утешая его намёками, будто когда-нибудь в будущем король ещё прибегнет к его услугам.

Наконец, однако, отвергнутый Ковальски сделал именно то, чего Моншёр и его коллеги из бельгийского посольства так опасались. 10 декабря 1906 года читатели нью-йоркской газеты «William Randolph Hearst's New York American» раскрыли свежий номер и увидели на первой полосе громкий материал под заголовком: «ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ПОПЫТКА КОРОЛЯ ЛЕОПОЛЬДА ВЛИЯТЬ НА НАШ КОНГРЕСС РАСКРЫТА... ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КОРОЛЁМ ЛЕОПОЛЬДОМ БЕЛЬГИЙСКИМ И ЕГО ПЛАТНЫМИ АГЕНТАМИ В ВАШИНГТОНЕ». Хотя Ковальски с негодованием утверждал, что его офис был ограблен, по-видимому, именно он

сам продал Херсту всю свою переписку, связанную с делами Конго.

В течение целой недели Хёрст играл этой темой на полную мощность: десятки тысяч слов и дюжины фотографий заливали полосы «American» и множества других его изданий. Для Леопольда это было худшее из возможных бедствий: стремясь подчеркнуть эксклюзив, «American» драматизировала злодеяния короля, перепечатывая знаменитые снимки Мореля с отрезанными кистями и вынося на первые полосы все обвинения конголезских реформаторов в зверствах: ПОЗОРНЫЕ ЖЕСТОКОСТИ... ПЫТКИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ... США ПОРАЖЕНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В КОНГО.

Опубликованные документы показали, что помимо жалованья и «отступных» Ковальски, Леопольд пообещал ему ещё 100 000 франков в облигациях конголезского государства — при условии, что «правительство США не сделает никаких заявлений, вредных для Конго, и что Конгресс не примет неблагоприятных резолюций до конца следующей сессии». В одном из писем к королю Ковальски хвастался, что заплатил тысячу долларов взятки некоему известному журналисту, который, по его словам, был «личным другом президента», и благодаря услугам которого «мы получили сотни тысяч в рекламе нашего дела». Он также с гордостью утверждал, что сумел сорвать разоблачительную публикацию в «Munsey's Magazine», обратившись «к редактору, моему личному другу, который уничтожил статью и вместо неё напечатал материал, чрезвычайно лестный для интересов Вашего Величества».

Самым сенсационным разоблачением стало известие о том, что Ковальски использовал деньги Леопольда, чтобы

подкупить Томаса Г. Гарретта, сотрудника сенатского Комитета по международным отношениям, с целью сорвать резолюции, осуждавшие Конго. В письме к королю Ковальски с помпой рассказывал, как Гарретт «стоял у дверей зала заседаний комитета и удерживал напивающихся, воющих миссионеров, пасторов и религиозных фанатиков, а также нескольких агентов ливерпульской группы. Всё это время я оставался на своём посту, и только с закрытием Конгресса смог вздохнуть свободно». На первой полосе «American» было опубликовано фото рукописного письма на официальном бланке Сената США, в котором Гарретт обращался к Ковальски с просьбой выплатить часть обещанного вознаграждения.

Гарретта немедленно уволили. Спустя считанные часы после того, как история получила огласку, сенатор Лодж из Массачусетса, где находилась штаб-квартира Американской ассоциации за реформу в Конго, внёс резолюцию с призывом к международному расследованию конголезского скандала. Ловкая закулисная работа Моншёра и интриги сенатора Олдрича привели к тому, что текст резолюции был заметно смягчён перед принятием. Однако сам инцидент кардинально изменил атмосферу в Вашингтоне: государственный секретарь Рут отказался от прежней политики невмешательства и принял решение сотрудничать с британцами в оказании давления на Леопольда, чтобы положить конец его владычеству над этой землёй. Разоблачения Ковальски — стремительно и с торжеством переизданные Морелем в Англии, а также отдельной брошюрой на французском языке для Бельгии — нанесли Леопольду серьёзный удар. Приливная волна истории разворачивалась против короля.

Примерно в то же время, когда он нанял Ковальски, Леопольд начал манёвры на совершенно ином фронте. Помня, как ловко его фиктивная «Комиссия по защите туземцев» заглушала критику в 1890-е годы, он решил: пора созвать новую комиссию. Та отправится в Конго, «разберётся на месте» и очистит его имя.

В «Комиссию по расследованию» король назначил трёх судей: бельгийца, швейцарца и итальянца. Однако нейтральность была мнимой. Итальянец, барон Джакомо Ниско, служил не в Италии, а в самом Государстве Конго — главным судьёй. Именно он, кстати, в печально известном деле Кодрона смягчил приговор, рассудив, что определённая доля «насилия» и «ужаса» неизбежна. Кроме того, никто из троих не знал ни одного африканского языка и даже английского — настолько, чтобы напрямую разговаривать с британскими и американскими миссионерами, самыми жёсткими критиками режима. Комиссии велели проводить слушания, опрашивать свидетелей и представить отчёт. Вероятно, в длинном пути в Конго король рассчитывал, что бывалый африканист Ниско «вразумит» коллег, объяснив им, как туземцам «необходима твёрдая дисциплина».

Комиссия провела несколько месяцев, заслушав 370 свидетельских показаний. Заседала где угодно — от веранд каучуковых постов до палубы собственного парохода «Archiduchesse Stéphanie», названного в честь одной из дочерей, с которой Леопольд не разговаривал. Обрядность была пышной: алые и чёрные мантии, переводчики, писцы, караул с винтовками и примкнутыми штыками. Вереница свидетелей приносила страшные истории. Одним из самых потрясающих стал вождь Лонтулу из Болимы: его секли шикотте, держали заложником,

сковывали и гнали на работы. Когда дошла очередь до его показаний, Лонтулу разложил на столе комиссии 110 прутиков — по одному за каждого убитого из его людей ради добычи каучука. Он разделил прутья на четыре кучки: родовая знать, мужчины, женщины, дети. И, прутком за прутком, называл имена мёртвых.

Известие о даче показаний быстро дошло до Брюсселя, однако Леопольд не осознал, какое влияние эти свидетельства произвели на членов комиссии. А затем, в марте 1905 года, из столицы Конго, города Бома, пришёл тревожный сигнал, предвещавший, что для короля всё может закончиться плохо. Поль Костерманс, исполнявший обязанности генерал-губернатора и, насколько это было возможно в подобной системе, человек личной порядочности, был ознакомлен с выводами комиссии. После этого он сильно встревожил своих помощников, впад в глубокую депрессию. Спустя примерно две недели, написав серию прощальных писем, он перерезал себе горло бритвой.

Ещё одним дурным предзнаменованием для короля стало известие, что один из судей, слушая череду рассказов о зверствах, не выдержал и расплакался. Королёв стало ясно: механизм дал обратный ход. Задуманная как спектакль «проверка» вышла из-под контроля и превратилась в настоящее расследование. Морель, не имея официальных стенограмм, тем временем оперативно издал брошюру с материалами, которые его миссионерские друзья и их африканские прихожане передали комиссии, и разослал её каждому депутату бельгийского парламента.

Вернувшись в Европу, комиссары обсудили услышанное и подготовили отчёт на 150 страниц. И хотя написан он был ровным бюрократическим языком, Леопольд увидел: документ повторяет почти все главные обвинения Кейсмента и Мореля.

Король пришёл в ярость. К осени 1905-го тянуть с публикацией отчёта, которого ждала вся Европа, он уже не мог — политики и журналисты открыто гадали о его содержании. Но у Леопольда оставался ещё один трюк — пожалуй, самый ослепительный жест его долгой карьеры шоумена.

Обладая современным чувством пиара, король прекрасно понимал, что в политике зачастую важнее не сама суть события, а то, как его воспринимает общественность. Контролируешь восприятие — контролируешь и событие. Он также знал, что журналисты ужасаются необходимости переваривать длинные официальные отчёты, особенно если приходится работать в сжатые сроки — и тем более, когда документ написан на иностранном языке. Поэтому 3 ноября 1905 года, за день до официального обнародования отчёта Комиссии расследования, все ведущие английские газеты получили документ с сопроводительным письмом, в котором говорилось, что это «полное и достоверное резюме отчёта». Этот своевременный и «полезный» обзор был разослан Западноафриканской миссионерской ассоциацией — организацией, название которой звучало вполне заслуживающим доверия, ведь именно миссионеры долгое время были одними из самых непримиримых критиков режима в Конго. И что особенно удобно — резюме было написано на английском языке.

Восхищённые редакции охотно напечатали «резюме», полагая, что вырвались на сутки вперёд главной новости недели. «Associated Press» переслало его в Соединённые Штаты, где текст также подхватили ведущие издания. Лишь в последующие дни, когда у репортёров и редакторов появилось время вчитаться во французский оригинал, выяснилось: так называемое «резюме» почти не имело к отчёту отношения. Раз за разом

оно «пересказывало» ключевые положения до неузнаваемости. Так, там, где отчёт говорил: «Мы сами описали губительные последствия «носильщины» и показали, что чрезмерный труд, возложенный на туземцев в районах некоторых важных постов, привёл к обезлюдению местности», — «резюме» уверяло: «Чтобы избежать прискорбных последствий [«носильщины»] в ожидании постройки железных дорог, Комиссия предлагает активнее использовать водные пути».

И тут у журналистов возник вопрос: что это за «Ассоциация западноафриканских миссий»? След вывел на офис лондонского адвоката, но тот отказался назвать адрес клиента. Спустя день-другой он «смягчился» и указал на крошечную контору напротив — с только что нарисованной вывеской на двери. Внутри сидел лишь сторож. Затем юрист представил список членов правления «Ассоциации», но ни один из тех, кого нашли репортёры, не бывал на заседаниях. Дальнейшее расследование показало: «резюме» привёз в Англию бельгийский священник, чьей церкви Леопольд незадолго до того сделал крупное пожертвование. «Ассоциация западноафриканских миссий» — прежде никому не известная — после публикации своего «влиятельного» резюме исчезла навсегда.

ЧУЖИХ НЕ БЫВАЕТ

Именно в подлинных, неотредактированных показаниях, данных Комиссии по расследованию, власть короля Леопольда II впервые предстала нагой. Здесь уже не могло быть оправданий: ведь комиссаров послал сам король. Здесь не могло быть отговорок, будто рассказы выдуманы врагами: одни и те же зверства подтверждали сразу несколько свидетелей. Здесь не могло быть и обвинений в лености или недовольстве: многие африканцы рисковали жизнью, просто решившись заговорить.

Так, чиновник Англо-бельгийской каучуковой компании Рауль ван Калкен обнаружил двух африканцев — Лилонго и Ифоми, отправлявшихся на встречу с комиссией, и приказал схватить их. «Он приказал своим часовым привязать нас к деревьям так, чтобы спины были прижаты, а ноги не касались земли, — рассказывал Лилонго британскому миссионеру. — Руки вытянуты вверх... Посмотрите на шрамы по всему моему телу. Мы висели так несколько дней и ночей... Без еды, без воды; то лил дождь, то палило солнце... Мы плакали, пока не иссякли слёзы — это была сама мука смерти. Всё это время три часовых и белый человек били нас толстыми дубинками по половым органам, по шее и по телу, пока мы не теряли сознание». Ифоми погиб; его тело бросили в реку. Лилонго выжил, дал показания и был унесён домой младшим братом.

Показания, данные перед комиссией Лилонго и другими свидетелями, зафиксированы на специальных бланках. Каждый из них начинался с полного названия комиссии — «Комиссия

по расследованию, учреждённая декретом Короля-Суверена от 23 июля 1904 года» — и перечисления имён и титулов трёх комиссаров. Далее следовали графы для вписывания имени секретаря, свидетеля, который приносил присягу говорить правду, только правду и ничего кроме правды, а также переводчика. И лишь затем шёл сам рассказ.

Свидетель Иланге Кунда из М'Бонго показал: «Я знал Малу Малу [“Скоро-скоро”, так африканцы называли лейтенанта колониальной армии «Force Publique» Шарля Масара]. Он был очень жесток: заставлял нас добывать каучук. Однажды я своими глазами видел, как он убил человека по имени Бонгиангва — только потому, что из пятидесяти корзин каучука одна оказалась неполной. Малу Малу приказал солдату Чумпе схватить [Бонгиангву] и привязать его к пальме. Его стянули в трёх местах: у коленей, на уровне живота и так, что руки оказались сплющены путами. На поясе у Малу Малу висела патронная сумка; он вынул ружьё, отошёл примерно на двадцать метров и одним выстрелом уложил Бонгиангву. ... Я видел эту рану. Несчастный издал лишь один крик — и был мёртв».

Свидетель М'Путила из Бокоте: «Как видите, у меня нет правой руки... Когда я был ребёнком, солдаты напали на деревню из-за каучука. Пока я бежал, пуля чиркнула по шее и оставила рану — вот её шрам. Я упал и притворился мёртвым. Солдат ножом отрубил мне руку и унёс. Я видел, что у него были и другие отрубленные кисти... В тот же день убили моих отца и мать, и я знаю: им тоже отсекли руки».

Свидетель Экуку, верховный вождь Бойэка: «Я хорошо знал Джунги. Он умер около двух месяцев назад от побоев, которые получил при порке. Я видел, как его били, и видел, как он умер.

Это случилось в трёх-четырёх метрах от веранды белого человека, на том месте, что я вам показал, между двумя кактусами. Его растянули на земле. Белый человек Экотолонго [Молле] держал ему голову, а Нкой [Аблай], стоя у его ног, бил его тростью. Во время казни сломали три трости. Наконец Нкой несколько раз пнул Джунги и приказал ему подняться. Когда он не пошевелился, Экате сказал белому человеку: “Этот человек мёртв. Ты его убил...” Белый ответил: “Мне плевать. Судьи такие же белые, как и я.” ... Джунги похоронили на следующий день. Джунги был стариком, но оставался крепким и здоровым.

Свидетель Минго из Мампоко: «Когда я работала на кирпичном заводе в Мампоко, дважды часовые Нкусу Ломбото и Итоква в наказание задирали мою юбку и набивали во влагище глину. Я сильно страдала. Белый Ликвама [агент компании Анри Спелье] видел меня в таком состоянии. Он сказал лишь: «Если ты умрёшь, работая на меня, тебя бросят в реку».

И так продолжались показания — история за историей, сотни свидетельств. И вот впервые миру явилось то, чего он почти никогда не слышал из Конго: сами голоса конголезцев. Лишь в немногих эпизодах всего европейского «раздела Африки» удалось собрать столь пронзительное собрание подлинных африканских свидетельств. Впечатление на всякого, кто читал эти истории, могло быть только одно — всепоглощающее, ошеломляющее чувство ужаса.

Однако никто их не прочитал.

И всё же, несмотря на суровые выводы доклада, голоса африканских свидетелей так и не прозвучали напрямую. В отчёте комиссии всё было изложено в обобщённой форме. Истории не были опубликованы отдельно, да и никому не

позволялось их видеть. Они оказались погребены в закрытом разделе государственного архива в Брюсселе. Лишь в 1980-е годы людям наконец разрешили свободно читать и переписывать эти свидетельства.

К моменту, когда Леопольд приложил всё своё искусное мастерство к тому, чтобы обставить публикацию отчёта Следственной комиссии в выгодном для себя свете, ему исполнилось семьдесят. С годами он всё больше находился в движении. Брюсселя избегал, насколько мог, а даже находясь там, демонстрировал своё презрение к бельгийскому быту — к примеру, заказывал для своего стола мясо исключительно из Парижа. Ему куда приятнее было жить за границей. Для Каролины он приобрёл французский замок и часто останавливался там вместе с ней. Он любил навещать Париж, где однажды устроил роскошный обед для всего французского кабинета министров. Каждую зиму король отправлялся на юг, на Ривьеру, в своём личном железнодорожном вагоне с зелёными кожаными креслами, украшенными золотым тиснением. Пока засыпанная снегом Бельгия сердито терпела морозы, а гонцы сновали туда и обратно из Брюсселя, Леопольд месяцами жил и работал на своей яхте — длинной и стремительной «Альберте», способной ходить и под парусом, и на пару.

Во время этих зим на Ривьере Леопольд поселил Каролину в роскошном доме на берегу — вилле «des Cèdres». «Каждый вечер, — пишет она, — паровой катер доставлял короля... к пирсу, откуда подземный проход вёл прямо в мою виллу. Говоря об этом, не могу не отметить необычайную склонность короля ко всему, что...

имело тайный и загадочный характер. Ему можно было продать любой дом, если он был построен у заброшенного карьера или имел потайные лестницы».

Даже тогда, когда Леопольду удавалось заставить себя оставаться в своей досадно крошечной стране, он бесконечно перемещался между замком в Лакене, «Chalet Royal» на пляже Остенда, и ещё двумя дворцами. Целые отряды мастеров непрерывно перестраивали эти резиденции — возводили новые комнаты, флигели, фасады. В Лакене рабочие установили лифт, выдержанный в стиле итальянского Ренессанса, а рядом, открытый для публики, вырос миллионный по смете «Китайский павильон» (внутри которого, как ни странно, разместился французский ресторан). Это должно было стать первым зданием целой серии, символизирующей разные регионы мира. Ненасытная архитектурная страсть Леопольда распространялась не только на дома, где он жил, но и на те, что попадали в поле его зрения. Так, он хотел «украшать сердце Остенда привлекательными, единообразными фасадами». Соседу он предлагал двадцать пять тысяч франков, чтобы тот воздвиг фасад по проекту любимого архитектора Леопольда — француза Шарля Жиро. Когда же землевладелец отказался, дом попросту экспроприировали.

Монарх часто ездил к Жиро в Париж, часами сидел за его столом, перебирая кипы чертежей. Любил бывать на стройках. «Попросите министра общественных работ быть в королевском дворце в среду в девять утра, — велел он секретарю в 1908 году. — Я хочу поехать с ним в парк Сен-Жиль к половине десятого, потом к арке Синквантер к одиннадцати. В половине первого — обед во дворце, в два — Лакен. Потом мост через канал у Грин-авеню. В три — авеню Ван Прат и Японская башня. В четыре — дорога

Мейсс и дорога Хейзель». Когда в Брюсселе велось строительство возле дворца, Леопольд приказал поставить специальную башню из строительных лесов, чтобы наблюдать за ходом работ.

Со всеми своими гостями король вел тонкий торг, ища пути расширить свою власть. Министр иностранных дел Франции Теофиль Делькассе заметил, что единственным недостатком Леопольда было то, что он «не умеет скрывать свой ум: это вызывает подозрения и страх быть проведённым за нос». Южноафриканский «алмазный король» Сесил Родс — единственный белый человек, чьи безграничные амбиции в Африке могли сравниться с амбициями Леопольда, — однажды пошутил, что отказался от приглашения пообедать во дворце, потому что «каждый принятый обед стоил целой провинции».

В Лакене слуги привыкли видеть крупную, бородатую фигуру короля с лысой головой, суровыми карими глазами и большим носом, одетого в мундир генерал-лейтенанта. Он часами бродил, опираясь на дубовую трость, среди пальм и других тропических растений в оранжереях и по аллеям обширного парка замка. Его причуды множились. Иногда он приезжал на свидания с Каролиной на большом трёхколёсном велосипеде, который называл «моим животным». Он всё ещё боялся микробов и уверовал, что для здоровья полезно ежедневно пить огромное количество горячей воды; слуги всегда держали графин наготове. Придворный этикет оставался столь же строгим, задаваемый самим Леопольдом, говорившим медленно и величаво — «словно», как писали Джозеф Конрад и Форд Мэдокс Форд в своём едва завуалированном портрете монарха в романе «Наследники», «он бесконечно отвечает на тосты в честь своего здоровья». Леопольд также начал говорить о себе в третьем лице:

«Подайте Ему горячей воды!», «Позовите Его врача!», «Дайте Ему Его трость!»

Приказ, который он действительно хотел отдать, звучал бы так: «Не отнимайте Его Конго!» Ибо благодаря кампании Мореля и собственному отчёту Комиссии по расследованию со всех сторон нарастало давление, требовавшее, чтобы Леопольд отказался от страны, которую считал своей частной собственностью. На самом деле рассматривался лишь один вариант, альтернативный контролю Леопольда над Конго, — превращение территории в бельгийскую колонию. Даже Морель, разочарованный отсутствием других политически осуществимых решений, неохотно поддержал так называемое «бельгийское решение». Если бы такой шаг сопровождался необходимыми реформами — на чём Морель постоянно настаивал, — он верил, что права конголезцев могли бы быть лучше защищены в бельгийской колонии, открытой для контроля и подчинённой закону, нежели в тайном королевском уделе. То, что реформаторы почти не рассматривали ничего, кроме «бельгийского решения», кажется нам сегодня удивительным, но мы забываем, что в первое десятилетие XX века идея независимости и самоуправления в Африке практически не звучала — за исключением нескольких осаждённых повстанцев глубоко в конголезских джунглях. Ещё в 1890 году Джордж Вашингтон Уильямс призывал, чтобы Конго управлялось «властью местной, а не европейской; международной, а не национальной». Но должно было пройти более трёх десятилетий, прежде чем даже самые ярые антиколониалисты — в Европе, Африке или обеих Америках — вновь заговорили о чём-то подобном.

Для Леопольда международный шквал дурной славы, вызванный скандалом с Ковальски, стал переломным моментом:

вместо того чтобы, как он прежде задумывал, торжественно завещать Конго Бельгии после своей смерти, он понял, что перемены придётся осуществить ещё при жизни. Обладая редким умением извлекать выгоду из, казалось бы, безвыходных обстоятельств, король начал выстраивать интригу. Если эти «благодетели» вынуждают его отказаться от любимой колонии, решил он, то отдавать он её не станет. Он её продаст. И покупатель — Бельгия — будет вынужден заплатить за неё дорогую цену.

Как ни странно, но именно Леопольд загнал бельгийское правительство в угол. Движение за реформу в Конго достигло такой силы, что под угрозой оказалась международная репутация самой Бельгии. Причём возмущение британской общественности обладало собственной политической тяжестью, независимо от правительства: примерно в это же время, к примеру, английские гуманитарии организовывали бойкот португальских товаров из-за использования Португалией принудительного труда в Африке. Кроме того, если Бельгия вскоре не возьмёт колонию под свой контроль, это вполне могла сделать какая-нибудь крупная держава: Франция или Германия, давно завидовавшие доходам короля от каучука, не сводили глаз с отдельных территорий Конго. Президент Рузвельт даже намекнул, что готов присоединиться к Британии в созыве международной конференции о судьбе Конго. Трижды британский и американский посланники в Брюсселе совместно навещали бельгийского министра иностранных дел, настаивая на аннексии. Но при том, что власть Леопольда в самой Бельгии была весьма ограничена, в роли государя Конго правительство страны не имело над ним никакой юридической власти. В итоге ключевые карты оставались в руках короля — и он прекрасно это понимал.

Сколько же тогда правительство сможет заплатить ему за его колонию? Переговоры начались в конце 1906 года, но вскоре зашли в тупик, поскольку правительство не могло получить отчёт о финансах секретного Конго. Ведь если вы покупаете предприятие, вы, в конце концов, хотите видеть баланс. Леопольд зимовал на солнце в Кап-Ферра, и правительство направило к нему генерального секретаря Министерства иностранных дел барона Леона ван дер Эльста. Король принял барона на своей яхте, несколько дней осыпал его гостеприимством и показывал сады своего расширяющегося комплекса прибрежных владений. Но когда барон запросил финансовые данные, Леопольд ответил, что Конго «никому не обязан, кроме своего основателя... Никто не имеет права требовать его отчётов». Одной из причин его упорства стало то, что, когда аудиторы наконец получили доступ к цифрам, оказалось, что двадцать пять миллионов франков, которые бельгийское правительство одолжило ему в 1890 году, плюс почти семь миллионов, взятые им несколько лет спустя, исчезли. Антверпенская газета предположила, что деньги достались Каролине. Король пыхтел, раздувал гнев и увёртывался от дальнейших вопросов.

Переговоры затягивались в течение 1907 года и продолжились в начале 1908 года. Леопольд ворчал и яростно реагировал на чиновников, пытавшихся с ним разговаривать. В какой-то момент он захлопнул дверь перед лицом своего секретаря, обвиняя его в сговоре с силами, пытавшимися отнять у него Конго. Но, как и его очарование, королевские вспышки гнева были рассчитаны. Используя выигранное время, он тайно делал всё возможное, чтобы скрыть запутанную сеть богатств, связанных с Конго, при этом утверждая, что у него нет никакого состояния: «Я правитель

Конго, но процветание страны не влияет на меня финансово больше, чем процветание Америки увеличивает средства президента Рузвельта», — сказал он американскому корреспонденту. «У меня нет ни цента, инвестированного в конголезские предприятия, и я не получал никакой зарплаты как исполнительный директор Конго».

Наконец король дал понять, что готов уступить. Он назвал цену, потом слегка её снизил. И в марте 1908 года сделка была заключена. Бельгийское правительство, получая Конго, прежде всего взяло на себя его долги — на 110 миллионов франков, значительная часть которых приходилась на облигации, которые Леопольд щедро раздавал фаворитам вроде Каролины. Включены были и 32 миллиона франков займов самому бельгийскому государству, которые король так и не вернул.

Кроме того, Бельгия согласилась выделить 45,5 миллиона франков на завершение «любимых» строительных проектов короля. Треть суммы ушла на грандиозную реконструкцию Лакена — одной из самых роскошных резиденций Европы, где в разгар работ трудились 700 каменщиков, 150 лошадей и семь паровых кранов, создавая по леопольдовскому плану центр для «мировых конференций».

И, наконец, сверх всего этого Леопольд должен был получить ещё 50 миллионов франков «в знак благодарности за его великие жертвы во имя Конго». Эти средства вовсе не предназначались для выплаты из бельгийской казны. Их должны были выжать из самого Конго.

В ноябре 1908 года, когда в Боме торжественными церемониями

отмечали формальную смену владельца Конго, далеко в глубине страны разворачивалась необычная драма. Уже сам факт, что дело началось при режиме Леопольда и без перерыва продолжилось в новой бельгийской колонии, показывал: разница между двумя порядками оказалась не той, на которую рассчитывали реформаторы. В центре событий был чернокожий американский миссионер Уильям Шеппард.

Его статья десятилетней давности — о том, как он обнаружил восемьдесят одну отрубленную руку, коптившуюся над огнём, — стала одним из самых цитируемых свидетельств о Конго. «Его рассказ очевидца, — писал один исследователь, — приводили почти все американские реформаторы — и чёрные, и белые». Уже несколько лет у Шеппарда был верный союзник — его коллега Уильям Моррисон, белый проповедник, служивший в южно-пресвитерианской миссии в Конго с 1897 года. Моррисон был бесстрашным противником режима, другом Мореля и вдохновителем своих собратьев — американских, британских и скандинавских миссионеров — говорить вслух. Он осаждал чиновников в Боме письмами-протестами, опубликовал открытое письмо Леопольду, выступил с влиятельной речью, проезжая через Лондон. В США он повёл группу пресвитериан к президенту Теодору Рузвельту — говорить о Конго. Режим ненавидел Моррисона не меньше, чем Шеппарда.

Шеппард и Моррисон были самыми прямыми из всех американских миссионеров в Конго, чьи выступления давно раздражали Леопольда. Король распорядился просматривать миссионерские журналы в поисках враждебных статей; кое-какие экземпляры до сих пор сохранились, густо исчерченные голубым карандашом придворных. До главной цели — Мореля,

сидевшего в безопасности в Англии, — не дотянешься, и Леопольд методично запугивал источники Мореля: в 1906 году он издал декрет о штрафе или пяти годах тюрьмы за «клевету» на чиновников Государства Конго. Вскоре на скамье подсудимых оказался британский баптистский миссионер, снабжавший Мореля сведениями: его признали виновным, оштрафовали на тысячу франков плюс издержки — и он, не будучи столь же несгибаемым, как Шеппард или Моррисон, покинул страну. Небольшая группа американских пресвитериан поняла: говорить стало опаснее — за ними внимательно следят и в Африке, и за океаном. Они не знали, что бельгийский посланник в Вашингтоне Моншёр побывал в Вирджинии на одном из громких выступлений Шеппарда, чья знаменитая пламенная речь собирала полные церкви и залы во время его отпусков на родине.

По мере приближения конца правления Леопольда компания «Compagnie du Kasai», концессионная фирма нового поколения, фактически управлявшая территорией, где работали пресвитерианцы, пыталась извлечь как можно больше каучука, пока длился бум. Бассейн реки Касаи, где эксплуатация началась немного позже, чем в других регионах, стал самым прибыльным источником каучука в Конго. И кто же внезапно снова появляется на этой сцене, проводя несколько месяцев в регионе в качестве генерального инспектора «Compagnie du Kasai», уже поднявшись в мире с тех пор, как мы встречали его в прошлый раз? Леон Ром, некогда сборщик отрубленных голов. Его превращение в чиновника конголезской компании было обычным явлением для отставных офицеров Force Publique.

В крае Касаи обычно мирные куба поднялись против каучукового террора, подстрекаемые, как и в иных обречённых

восстаниях юга Африки, старейшинами с «фетишем», якобы превращавшим пули белых в воду. Повстанцы сожгли торговые посты и миссионерскую станцию; когда пули не обратились в воду, около 180 человек были убиты. В ежегодном бюллетене американских пресвитериан «Kassai Herald» Уильям Шепард описал бедствие куба. Примечательно, что он сначала воспевал историю куба, написав так, как ни один белый миссионер не осмелился бы:

«Эти великие стойкие мужчины и женщины, которые с незапамятных времён были свободны, возделывая обширные поля кукурузы, гороха, табака, картофеля, охотясь на слонов ради их бивней и на леопардов ради шкур, которые всегда имели собственного короля и правительство, достойное уважения, с офицерами закона, назначенными в каждом городе королевства, — эти великолепные люди, численность которых, вероятно, составляла около 400 000, вступили в новую главу в истории своего племени. Всего несколько лет назад путешественники через эту страну находили их живущими в больших домах, имеющими от одной до четырёх комнат в каждом доме, любящих и счастливо живущих со своими женами и детьми, одно из самых процветающих и разумных племён всей Африки...

Но за три последних года как всё изменилось! Поля заросли сором и джунглями, их король фактически стал рабом, дома — в основном недостроенные однокомнатные хижины, запущенные. Улицы уже не чистые и не подметённые, как прежде. Даже дети плачут от голода.

Почему такое изменение? В нескольких словах: вооружённые стражи концессионных торговых компаний заставляют мужчин и женщин проводить большую часть дней и ночей в лесах, собирая

каучук, а цена, которую они получают, настолько мала, что на неё невозможно прожить. В большинстве деревень эти люди не имеют времени слушать Евангелие или говорить о спасении своей души».

Статья Шеппарда вышла в январе 1908-го — в тот самый месяц, когда Леон Ром вернулся в Бельгию после полугодовой деловой поездки в Касаи. Вскоре коллеги Рома по «Compagnie du Kasai» принялись грозить, буйствовать, требовать опровержения. Шеппард и Моррисон отказались. Моррисон разослал чиновникам фирмы жёсткие письма с подробными обвинениями — те взбесились ещё больше. Уязвимость миссионеров была юридической: формально статья была опубликована в самом Конго. В Англии Морель перепечатал текст Шеппарда, а также присланную миссионерами фотографию — каторжников, связанных друг с другом верёвками, охватывающими шею.

Пока компания всё ещё жаловалась на оскорбительную статью, британский вице-консул в Конго, Уилфред Тезиджер, совершил трёхмесячный визит в бассейн Касаи, чтобы подготовить отчёт о положении дел там. Нервные чиновники тщательно следили за его передвижениями, слишком хорошо помня международный резонанс, вызванный отчётом Роджера Кейсмента четыре года назад. К огорчению властей, Тезиджер останавливался у американских пресвитерианцев на их миссии и путешествовал на их пароходе «Лапсли». Как человек, хорошо знавший местные языки и район, Шеппард выступал в роли гида для Тезиджера, показывая ему 31 деревню народа куба. После их отъезда подозрительный начальник станции допрашивал жителей, с которыми общались двое мужчин, и с тревогой доложил начальству: «Шеппард указал на консула и сказал: „Видите этого

белого человека? Когда он вернётся в Европу, он расскажет государственным чиновникам всё, что вы ему скажете, потому что он очень влиятелен.“ В деревнях куба [Тезиджер] задавал любые вопросы, которые предлагал Шеппард». Вскоре Тезиджер представил в британский парламент ужасающий отчёт о голоде и жестокости в Касаи. Один фрагмент, описывающий, как дома куба приходят в упадок, пока людей заставляют работать как рабов по сбору каучука, тесно перекликался со статьёй Шеппарда. Акции *Compagnie du Kasai* резко упали. Власти компании и государства Конго в ярости возложили вину на Шеппарда.

За помощь Тезиджеру наказать пресвитериан было нельзя — но можно было за публикацию статьи 1908 года. В феврале 1909-го компания подала на Шеппарда (как автора) и Моррисона (как издателя) в суд за клевету, требуя 80 000 франков. Оба, твёрдые в убеждениях, решили: если судья вынесет обвинительный приговор, они, как писал Моррисон, «лучше пойдут в тюрьму, чем заплатят штраф». Защитники за границей поднялись в их поддержку. «Моррисон на скамье подсудимых, — писал сэр Артур Конан Дойл (игнорируя чёрного подсудимого Шеппарда), — даёт более величественную “Статую Свободы”, чем у Бартольди в нью-йоркской гавани». В Вашингтоне дело обсуждалось на заседании кабинета. Американская миссия в Брюсселе дала понять бельгийскому правительству, что США следят за процессом «с живейшим интересом и немалой тревогой», намекнув: признание Вашингтоном новой бельгийской претензии на Конго может зависеть от исхода.

Суд проходил в Леопольдвиле, примерно в шестьсот миль вниз по рекам Касаи и Конго от пресвитерианской миссии. На фотографии Моррисон и Шеппард стоят перед судом под пальмами

по обе стороны от дюжины куба, готовых свидетельствовать в их защиту. Куба обнажены по пояс. Моррисон, белый, с тяжёлой бородой выглядит покорно, словно готовится к ещё одному испытанию в святой жизни, которая будет вознаграждена на небесах, но уж точно не раньше. На нём чёрная шляпа, чёрный костюм и потёртая обувь. Шеппард, чернокожий, одет в белый костюм и белую шляпу. Его туфли блестят; грудь расправлена; он выше всех на голову и, кажется, получает огромное удовольствие от момента. В его позе по отношению к куба ощущается гордость и включённость, как будто они — младшие сородичи.

Дату открытия процесса назначили — как думали миссионеры, нарочно — на сухой сезон на реке Касаи. Пароход с подсудимыми и свидетелями сел на мель; капитан отказался идти дальше. Назначили новую дату.

Морель телеграфировал своему союзнику Эмилю Вандервельде, лидеру бельгийских социалистов, с просьбой посоветовать «честного молодого бельгийского адвоката» для защитников. К всеобщему удивлению, сам Вандервельде — один из вождей европейской социал-демократии и одновременно практикующий юрист — объявил, что берёт дело про боно. Процесс снова отложили, чтобы он успел прибыть в Конго. Когда Вандервельде готовился к отъезду, кто-то упрекнул его за поездку в Африку ради «двух иностранцев». Непроизнесённым оставалось, возможно, и то, что один из них — чёрный. Вандервельде ответил: «В суде справедливости чужих не бывает».

Прибыв в Конго, ярый антиклерикал, президент Второго Интернационала, друг и знакомый крупнейших левых умов эпохи, Вандервельде поселился на миссионерской станции и рассекал по Стэнли-Пулу на миссионерском пароходике под американским

флагом. Его крайне забавляло, как миссионеры крестили полным погружением и молились о благоприятном приговоре.

Наконец процесс начался — в леопольдвильском зале из дерева и кирпича, с окнами, открытыми навстречу бризу. По процессуальной тонкости обвинение с Моррисона сняли; на скамье остался один Шеппард. В этом приграничном форпосте, с манговыми, пальмовыми и баобабовыми деревьями, с каторжными бригадами, казармами и стрельбищем, где по воскресеньям европейцы упражнялись в стрельбе, суд стал главным спектаклем города. Более тридцати протестантских миссионеров-иностранцев набили зал, демонстрируя солидарность. Они и другие сторонники Шеппарда разместились по одну сторону; напротив — католические миссионеры, колониальные чиновники и иные симпатизанты «Compagnie du Kasai». Те, кому не хватило мест, смотрели в двери и окна. Представители компании щеголяли в белых костюмах и пробковых шлемах; Шеппард выглядел щеголевато — тёмный пиджак, платок в нагрудном кармане.

После того как судья позвонил в маленький колокольчик, чтобы начать заседание, и адвокат «Compagnie du Kasai» выступил, Вандервельде поднялся, чтобы максимально использовать необычную для себя трибуну. Он сообщил судье, что Шеппард «уже не англичанин и не американец, а из Касаи... Его единственная цель, раскрывая состояние местных жителей, среди которых он живёт, — гуманитарная». Моррисон отметил: «Вандервельде провел великолепную защиту. Его речь была чудом красноречия, непревзойдённой логики, жгучего сарказма и трогательного призыва к справедливости не только для нас, миссионеров, но особенно для коренного населения. Он удерживал внимание аудитории в зале суда более двух часов». Сам Шеппард,

обвиняемый, тоже был тронут. «Судебный процесс обсуждает вся страна», — писал он, а зрители «были так тронуты, что носовые платки использовались повсеместно». По словам Шеппарда, даже католические священники — обычно твёрдые союзники государства — плакали, и один из них подошёл и поздравил Вандервельде после его речи. «Говорят, что в Конго никогда не произносили такой речи».

Процесс принёс Шеппарду и внимание на родине. Под заголовками «АМЕРИКАНСКИЙ НЕГР — ГЕРОЙ КОНГО» и «ПЕРВЫЙ, КТО РАССКАЗАЛ МИРУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ В КОНГО» газета «Boston Herald» писала: «Доктор Шеппард стоял не только пред королями — он стоял против них. Ради служения своему народу на его родной земле этот сын рабыни дерзнул противостоять всей мощи Леопольда».

После прений судья объявил, что огласит решение через две недели. В итоге решение определила политика, а не красноречие Вандервельде и не молитвы миссионеров. Присутствие в зале американского генерального консула и вице-консула напоминало, с какими проблемами столкнётся Бельгия, если Шеппарда признают виновным. С другой стороны, судья понимал: при успешной карьере в Конго ему не пристало утверждать правдивость обвинений против компании. Выбрав осторожную середину, он ловко воспользовался тем, что (хотя в округе не было иных компаний) в статье Шеппарда не названа «Compagnie du Kasai», а упомянуты «вооружённые часовые привилегированных торговых компаний» вообще. Следовательно, заявил судья, весьма неправдоподобно: «Подсудимый Шеппард не имел намерения нападать на названную компанию... Статья не относилась и не могла относиться к «Compagnie du Kasai»». Иными словами,

Шеппарда признали невиновным — не признавая виновной компанию. Однако издержки заплатила она.

Высоко по реке Касаи жёны миссионеров знали, что их мужья поклялись сесть в тюрьму, а не платить ущерб, если решение суда будет против них. Признаком того, что это произошло, было бы отсутствие мужчин на борту пресвитерианского парохода при возвращении из Леопольдвилья. Пока люди с тревогой ждали у миссионерской станции, между этими чёрными и белыми американцами, казалось, царил теплота и товарищество, немыслимые на родине. «Мы с миссис Моррисон ждали почти затаив дыхание возвращения наших любимых», — писала Люси Гантт Шеппард. «Когда пароход *Lapsley* появился на горизонте, сотни христиан начали петь гимны, махать руками и радостно восклицать. Это было великолепное время — время благодарения».

А в Европе благодарственных гимнов Леопольду не пели. В декабре 1909 года, менее чем через два месяца после процесса над Шеппардом, семидесятичетырёхлетний король тяжело занемог от «кишечной непроходимости» — вероятно, эвфемизма, скрывавшего рак. Вытесненный из замка в Лакене бесконечными перестройками и, как всегда, окружённый кипами архитектурных чертежей, он жил в пристройке — Пальмовом павильоне — среди гигантских оранжерей. Каролина и их двое сыновей помчались к его ложу; частный капеллан поспешно обвенчал их. Уладив отношения с церковью, король мог принять последнее причастие. И всё же Каролине, не отходившей от него, приходилось исчезать из виду каждый раз, когда приходили посетители.

Отвергнутые дочери Леопольда, Луиза и Стефания, приехали

в Брюссель в надежде на примирение и на изменения в завещании в их пользу. Упрямый до конца, отец отослал их. Придворный врач, Жюль Тириар, который, к слову, числился подставным акционером короля в нескольких конголезских компаниях, назначил операцию — безуспешно. Парламент как раз принял любимый закон Леопольда — о всеобщей воинской повинности. Придя в себя после наркоза, король дрожащей рукой подписал документ. На следующий день, казалось, дело пошло на поправку: потребовал газет, распорядился готовить отъезд на Ривьеру. Через несколько часов он умер. Один из многочисленных придворных под охи и всхлипы увёл Каролину от смертного одра.

Если верить рассказу Каролины, сразу после тайной свадьбы Леопольд обратился к барону Огюсту Гоффине — одному из двух полноватых, бородатых, слегка косоглазых близнецов, более тридцати лет входивших в число его ближайших помощников: «Представляю вам мою вдову. Вверяю её вашей защите на те несколько дней, что она проведёт в Бельгии после моей смерти». Вероятно, король действительно сказал нечто подобное: он знал, как ненавидят Каролину его три дочери и бельгийская публика — и как усилится эта ненависть, когда выяснится, что в последние дни он переписал на неё состояние в конголезских ценных бумагах — сверх примерно шести миллионов франков, уже подаренных прежде.

Адвокаты принцессы Луизы немедленно взялись за эти бумаги. Когда Каролина приехала в свою брюссельскую виллу, та оказалась опечатанной и под охраной, окна забиты досками. То же повторилось во французском замке, подаренном ей Леопольдом. Но при помощи верных людей короля — их видели, как они в последние часы выносили из его кабинета бумаги — Каролина

сумела ускользнуть в Париж, прихватив и себя, и значительную часть денег.

Менее чем через год она снова вышла замуж — за бывшего французского офицера Дюррье, своего давнего любовника и сутенёра. Если она поделилась с ним частью состояния, то это, пожалуй, один из самых успешных «капиталовложений» сутенёрства за всю историю. Из двух сыновей Каролины и Леопольда один умер спустя несколько лет после отца. Другой прожил долгую, тихую жизнь на доходы с капитала, когда-то выжатого из труда конголезских каучуколовов-рабов, и скончался в 1984 году. Самой примечательной из потомков Леопольда стала внучка Елизавета, единственная дочь Стефании и кронпринца Рудольфа Австро-Венгрии: она вышла замуж за социалистического политика и прославилась как «красная эрцгерцогиня».

Смерть Леопольда народ оплакивал мало. Гораздо больше бельгийцам пришёлся по душе его племянник и преемник, Альберт I, скромный, обаятельный и — редчайший случай для европейского монарха — явно влюблённый в собственную супругу. Что же до мира за пределами Бельгии, то благодаря Морелю и его союзникам он теперь помнил Леопольда не по монументам и зданиям, которыми тот так гордился, а по отрубленным кистям. Американский поэт Вейчел Линдси вещал:

«Слушай, как воет призрак Леопольда,
сгорая в аду за свои отсечённые руки.
Слышишь, как бесы хохочут и воют,
отрезая ему руки — в аду».

Но битва за то, каким останется память о Леопольде и его деяниях, лишь начиналась.

Жизнь важнейшей фигуры первых этапов той борьбы, Роджера Кейсмента, вступала в новые повороты. После публикации его отчёта он давал интервью газетам, принимал дары и ужины от литературного света Лондона, был награждён медалью британским королём, атакован королём бельгийским, защищён Морелем и движением реформаторов — и, наконец, триумфально оправдан самой леопольдовской Комиссией по расследованию.

Но жить-то было на что-то нужно. К 1906 году Кейсмент снова служил британским консулом — теперь в далёком бразильском Сантосе. Консульство представляло собой пустую побеленную комнату в кофейном складе. Парадная форма — белые перчатки, золотые шнуры на воротнике и обшлагах, шпага, шляпа с кокардой — была нужна лишь для церемоний. В будни же его работа не имела ничего блестящего. Подытоживая с досадой всю свою консульскую карьеру, он писал позднее: «Мой предшественник в Сантосе натянул сетку до потолка, чтобы ограждать от несчастных британских подданных, кидавших в него что попало... В Делагоа-Бэй у меня не было ни секретаря, ни клерка. Я два года сам открывал дверь каждому вошедшему, я был и мальчиком на побегушках, и всем остальным... Женщины приходили и просили оплатить им извозчика; меня просили расторгнуть брак и ругали за отказ; однажды женщина упала в обморок у меня в кабинете и осталась там жить целую неделю».

Выручая подвыпивших матросов из тюрьмы и исполняя рутину, Кейсмент всё глубже погружался в дела родной Ирландии. В отпуске он встречался с участниками движения за возрождение «прекрасного, славного языка» гэльского, а вместе с ним и корней ирландской культуры. Он приезжал в языковую школу Клоганили,

где его сфотографировали среди мрачных членов Лиги, в длинных сюртуках, — сам он сидит, высокий, неловкий, с руками, крепко скрещёнными на животе, будто сдерживая тревогу.

«В тех одиноких конголезских лесах, где я встретил Леопольда, — писал он другу, — я встретил и самого себя, неисправимого ирландца». Другому он говорил: «Именно потому, что я ирландец, я мог понять всю систему несправедливости, творившуюся в Конго». Он всё отчётливее видел, что Ирландия — такая же колония, и суть несправедливости та же: завоеватели отняли землю. «Я осознал, что смотрю на эту трагедию глазами народа, который сам когда-то был гоним».

И всё же — был ли этот «гонимый народ» только ирландцами? Будучи гомосексуалом в безжалостную эпоху, Кейсмент чувствовал охоту на себя каждый день своей взрослой жизни. Этой темы он не мог касаться открыто, но ирландский национализм можно было принять — и он сделал это со страстью. Язык он так и не освоил до конца, но иногда подписывался по-гэльски — Руари МакАсмунд — и пробовал писать письма на гэльском. Отправляясь в Бразилию, он вёз багаж, набитый книгами об Ирландии, и шутивно писал: «Помни, мой адрес — консульство Великобритании и Ирландии, Сантос, а не британское консульство!» Для пущего эффекта он даже заказал особую бумагу с этим названием. Из Бразилии писал домой: «Шли мне новости о Конго и Ирландии — больше ничего не имеет значения».

Во время одного из возвращений домой его корабль бросил якорь в Рио-де-Жанейро. «Кейсмент сошёл на берег, и мы немного побеседовали, а затем направились обратно на его лайнер обедать, — вспоминал позже британский вице-консул. — На полпути к судну зловердные бразильские лодочники, вёзшие нас, вдруг

перестали грести и, как это у них часто водилось, попытались вытребовать с нас больше денег, чем было условлено заранее. Но к тому моменту Кейсмент уже пустился в пространный монолог о самоуправлении Ирландии, и остановить этот поток было невозможно. Некоторое время лодочники пытались перекричать его, но безуспешно. Наконец, они махнули рукой в досаде, и мы продолжили путь, а Кейсмент всё так же увлечённо говорил об Ирландии».

Щедрый, как всегда (он годами содержал непутёвого брата), и вечно в долгах, Кейсмент умудрялся вносить более 85 фунтов в «Ирландские фонды 1907 года» из своей скромной зарплаты. Всё больше он видел мир через призму «колонизаторы — колонизированные». Его письма полны горечи от службы у величайшего колонизатора всех времён — Британии. Он мягко упрекал Мореля за веру в британскую «моральную особость»: «Я не питаю ни малейшего доверия к твоему британскому правительству... Когда думаю, что Джон Буль сделал с Ирландией, я плачу от того, что обязан служить — а не сражаться... Не соглашусь с тобой, что Англия и Америка — великие гуманитарные державы. [Они] — материалистические прежде всего, и лишь столетие спустя — гуманитарные».

Морель посоветовал Кейсменту не лишаться права на пенсию, преждевременно уходя с консульской службы. Он понимал разочарование Кейсмента, но достаточно ясно осознавал, что часть его недовольства проистекает скорее из характера самого человека, а не из его должности. «Ты человек, которому трудно помочь, — однажды написал он Кейсменту. — Ты очень горд, и я в первую очередь восхищаюсь этим. Но, прости, если скажу прямо: иногда довольно трудно понять, что именно можно было бы

сделать, чтобы это полностью соответствовало твоим желаниям».

Кейсмент в ответ заботился о Мореле не меньше. Он знал, что Морель, положивший все силы на реформу Конго, не сумел отложить средств на старость. В Лондоне, в отпуске, Кейсмент начал собирать деньги для него, вложив 50 фунтов собственных. «Моя надежда, — писал он фабриканту-викторианцу Уильяму Кэдбери, — что мы сможем собрать 10–15 тысяч фунтов и вложить их для жены и детей, чтобы страхи и тревога, мучившие его, исчезли навсегда и вся его личность была освобождена для большего блага — для работы ради Африки или где бы ни понадобилась столь бесстрашная душа». Он засыпал сторонников реформ письмами и личными визитами. Цель не была достигнута, но удалось собрать несколько тысяч фунтов. Кейсмент — и ещё больше Морель — обладали важнейшим качеством политических крестоносцев: умением добывать средства.

Вдруг для Кейсмента представилась возможность повторить своё знаменитое конголезское расследование — теперь уже в другой части света. В Англию начали просачиваться сообщения о зверствах против индейцев в далёком Путумайо, в бассейне Амазонки, которые совершали служащие Перуанской амазонской каучуковой компании. Британские гуманитарные организации, профсоюзы и церковные группы требовали действий. К тому же компания была зарегистрирована в Лондоне, а среди пострадавших рабочих числились и британские подданные — контрактные рабочие с Барбадоса. Министерство иностранных дел направило Кейсмента для расследования.

Для него Путумайо стал вторым Конго: бесконечные плавания на переполненных пароходах, тучи москитов, расстрелы, кандалы, обезглавливания, увечья и похищения — всё ради ненасытного

европейского спроса на дикий каучук. Кейсмент взвешивал и сам пытался поднять каучуковые ноши индейцев. Он измерял колодки, в которые людей заковывали для порки плетью из шкуры тапира, напоминавшей шикотту.

Для доклада Форин-офису он скрупулёзно собирал факты и документы. Но в других своих текстах всё больше идеализировал угнетённых. Ирландцы, писал он, — это «белые индейцы»; бедный Голуэй — «ирландский Путумайо». В журнальной статье он утверждал: индейцы Путумайо нравственно выше своих белых господ; они — «социалисты по темпераменту, привычке и, возможно, по вековой памяти инкских и доинкских заветов». (Малые народы, когда-то покорённые инками, могли бы взглянуть на это менее идиллически.)

Хотя Кейсмент и поддался собственной версии мифа о «благородном дикаре», свою задачу он выполнил. Как и в случае с Конго, ему было недостаточно просто исполнить поручение Форин-офиса: он писал пространные письма влиятельным лицам, собирал средства, снабжал сочувствующих парламентариев списками вопросов для заседаний. Посреди этой работы он получил ошеломительное известие: по рекомендации министра иностранных дел ему предстояло быть возведённым в рыцарское звание. В течение нескольких дней Кейсмент мучительно раздумывал, не отказаться ли от награды, полагая, как он объяснил одному из друзей, что «пока Ирландия не в безопасности и её будущее не радостно, ни один ирландец не имеет права принимать почести». В конце концов он согласился, но в день самой церемонии — когда ему надлежало бы преклонить колено перед британским королём — сослался на болезнь.

В Путумайо Кейсмент, как и в Конго, жил одним трудом, не

думая ни о чём другом. Но в долгих морских рейсах его дневники вновь наполнились записями о тайных свиданиях. Всё смелее, всё неосторожнее становились эти встречи. Взрывчатка пока не сработала, но фитиль тлел.

Однажды вечером в 1910 году, спустя год после смерти короля Леопольда, лондонские театралы, пришедшие на премьеру новой пьесы по рассказу о Шерлоке Холмсе Пёстрая лента, заметили в зале троих мужчин: знаменитого журналиста Э. Д. Мореля с его фирменными усами; чернобородого сэра Роджера Кейсмента, загоревшего после службы в Путумайо; и создателя Шерлока Холмса — сэра Артура Конан Дойла, пригласившего двух других гостей. Конан Дойл стал самым важным новым союзником Мореля в деле реформирования режима в Конго. Его поддержка была с восторгом принята Морелем, чья работа сильно осложнилась после того, как Бельгия официально взяла Конго под свой контроль, а сам Леопольд умер годом позже. Морель пережил худшее, что может случиться с борцом за правое дело: он лишился своего злодея. Всегда заманчиво думать, что плохая система — это всего лишь результат власти одного плохого человека. Морель никогда не поддавался такому соблазну, но боялся, что поддадутся его сторонники. Для реформаторов Конго возможность демонизировать Леопольда была обоюдоострым оружием: она спланивала их, но и делала движение зависимым от образа одного тирана. После смерти короля всё могло рассыпаться, поэтому поддержка влиятельного Конан Дойла пришлась как нельзя кстати.

В 1909-м романист выступал плечом к плечу с Морелем перед гигантскими аудиториями: 2 800 человек в Эдинбурге, 3 000 в

Плимуте, 5 000 в Ливерпуле. Он написал предисловие к новой книге Мореля и издал собственную — на основе огромного массива материалов Мореля — «Преступление в Конго», которая поначалу продавалась тиражом двадцать пять тысяч экземпляров в неделю и тут же была переведена на несколько языков. С пылом позднего обращённого он был одним из немногих в Европе, чьи обличения звучали даже пламеннее морелевских. Он называл эксплуатацию Конго «величайшим преступлением за всю историю мира».

Морель считал бельгийское присоединение Конго лишь «частичной победой». Он понимал, что система, созданная Леопольдом, не будет быстро разрушена; она была слишком прибыльной. Те же самые люди, которые работали окружными комиссарами и начальниками станций при Леопольде, теперь просто получали зарплату из другого источника. Force Publique даже не стала менять своего названия. Новый бельгийский министр колоний был бывшим чиновником компании, которая использовала тысячи принудительных рабочих для строительства железных дорог в восточном Конго. Глава бельгийского сенатского комитета, утвердившего новый колониальный бюджет — который увеличивал «налоги натуральными продуктами» для африканцев, как отметил Морель — был акционером печально известной каучуковой концессионной компании A.B.I.R. Пока с каучука можно было извлечь большие деньги, белые мужчины с помощью оружия и шикотты будут заставлять чернокожих собирать его. По наставлению Мореля, Конан Дойл писал в одном из многочисленных писем редакторам британских газет: «До тех пор, пока в любом отчёте о реформах Конго встречается такое предложение, как „Взрослые туземцы будут обязаны работать“, настоящей реформы быть не может».

Теперь Морель сосредоточился на том, чтобы заставить Форин-офис потребовать от Бельгии ликвидировать ненавистную «систему» Леополяда — принудительный труд и конфискацию даров земли. Последний слайд в его лекционном показе Ассоциации реформ Конго изображал британский военный корабль — Морель призывал послать такой в Бому, чтобы перекрыть устье Конго. Министр иностранных дел сэр Эдвард Грей отказался, ограничив давление на Бельгию отказом признавать Бельгийское Конго. Морель, как никогда, ушёл с головой в организационную работу: новая книга, нескончаемый поток памфлетов, статей и выпусков журнала Ассоциации. Он заполнил до самых верхних ярусов Альберт-холл огромным митингом протеста по Конго, поддержанным 20 епископами и 140 членами парламента.

Казалось, перемены в Конго назревают. Новый король Бельгии, Альберт I, который незадолго до восшествия посетил территорию и видел людей без кистей, дал понять: принудительный труд — позор, и он добивается крупных реформ. (Увы, с возрастом юношеский идеализм у него сойдёт на нет.) Морель обрадовался, но такие новости мешали держать соратников в тонусе. К 1910 году Американская ассоциация реформ Конго фактически сошла на нет. «У американцев... — писал Морель одному из сотен корреспондентов, — не так уж много стойкости».

Он отчаянно пытался удержать внимание сторонников на вопросе земельной собственности — куда более важном, но куда менее эффектным, чем личная порочность Леополяда. Давно уже он писал: «Корень зла останется нетронутым... пока туземец Конго не станет снова хозяином своей земли и её плодов».

Хотя Морель вовсе не стремился к этому, его настойчивость в защите африканских прав на землю многие — особенно в Форин-

офисе — воспринимали как угрозу не только бельгийской, но и британской практике в Африке. «Туземный вопрос не так прост, как он думает, — писал министр иностранных дел лорду Кромеру, сочувствовавшему Морелю. — В наших собственных колониях мы не говорим, что вся земля и плоды почвы принадлежат туземцам». Убеждённость Мореля в том, что земля Конго принадлежит африканцам, делала его радикальнее почти всех союзников. Снова Морель-борец за справедливость входил в молчаливое противоречие с Морелем-британским патриотом — тем более что его новый звёздный союзник Конан Дойл некогда возглавлял Лигу имперских мальчиков. В его текстах этого периода уже видны перемены: Конго не только изменило его, но и углубило. В 1909 году, на десятилетия опередив эпоху и резко контрастируя с самоуспокоенным настроением вокруг, он предупреждал о «дальних последствиях для судьбы не только Южной Африки, но и всей негритянской Африки», к которым приведёт тот факт, что Британия создала новый независимый Союз Южной Африки с полностью белым парламентом.

Всё, впрочем, выглядело не столь мрачно. Осенью 1909-го бельгийский министр колоний объявил крупные реформы — вводимые в течение трёх лет. Морель резко возражал против слишком долгого переходного периода. Но с течением времени письма от миссионеров становились всё более обнадеживающими. Похожие вести привозили с инспекций британские консулы. Сообщения о жестокостях при сборе каучука свелись к редким случаям. В 1912-м Элис и Джон Харрис — теперь уже во главе объединённого Антирабовладельческого общества и Общества защиты туземцев — вернулись из поездки в Конго и сообщили об «огромном улучшении».

Морель бежал наперегонки сразу с двумя сроками: с неизбежным признанием Британией Конго бельгийской колонией (оно наступило в 1913 году) и с остыванием энтузиазма соратников. Даже Кейсмент считал, что «пиратская цитадель почти взята», и уговаривал Мореля объявить кампанию завершённой. И хотя в частной переписке Морель порой сомневался, публично он решил заявить о победе: «Не хочу рисовать настоящее в радужных тонах. Раны Конго будут заживать поколениями. Но... зверства прекратились... Доходы более не обеспечиваются принудительным или рабским трудом. Налог каучуком отменён. Туземец волен собирать плоды своей земли... Безответственное самовластие сменило ответственное правление». Единственная цель, оставшаяся недостигнутой, — признание прав африканцев на землю.

16 июня 1913 года Ассоциация реформ Конго провела последнее собрание — в отеле «Вестминстер Палас» в Лондоне. Многие главные британские сторонники дела собрались вместе в последний раз: Джон и Элис Харрис, архиепископ Кентерберийский, путешественники, миссионеры, редакторы, парламентарии. Письма и телеграммы поддержки прислали сэр Роджер Кейсмент, Уильям Кэдбери, Джон Холт, Эмиль Вандервельде, Пьер Милль и писатель Джон Голсуорси — их зачитали вслух. Когда организация, основанная Морелем и почти десятилетие взбаламучивавшая политику сразу нескольких стран, официально сворачивалась, самому Э. Д. Морелю было всего лишь тридцать девять лет.

Серия именитых ораторов прославила его. Морель редко любил делиться лучами славы, но на этот раз основную заслугу отдал другому: «Пока я слушал всё сказанное, у меня было

видение. Видение маленького парохода, пробивающегося вверх по Конго ровно десять лет назад, и человека на его палубе, знакомого некоторым из вас; человека большого сердца... Роджера Кейсмента». Это собрание ознаменовало финал первого крупного международного правозащитного движения XX века. «Мы нанесли удар во имя человеческой справедливости, — сказал Морель собравшимся, — который не исчезнет и не будет забыт». Понадобится ещё одно поколение, чтобы понять, так ли это.

ПОБЕДА?

Ив Африке, и в Европе смерть Леопольда обещала ознаменовать конец целой эпохи. Многие бельгийцы вздохнули с облегчением: наконец-то страна избавится от нескончаемых скандалов, связанных с его юной любовницей, постыдных ссор с дочерьми и откровенной, ничем не прикрытой жадности. Но вскоре стало ясно, что призрак Леопольда так легко не исчезнет. Король, умерший, владея одним из крупнейших состояний в Европе, пытался унести его с собой. И в каком-то смысле ему это удалось.

Незадолго до смерти, как выяснилось, Леопольд тайно учредил в Германии фонд, куда перевёл имущество на двадцать пять миллионов франков — картины, серебро, хрусталь, драгоценности, мебель и прочее, а также ещё двадцать миллионов в ценных бумагах. Согласно уставу, часть дохода фонда следовало реинвестировать, а остальное тратить — «по распоряжениям Основателя» — на любимые им грандиозные проекты: дворцы, памятники, общественные здания. Он опасался, что будущие бельгийские правительства окажутся слишком «мелочными» для подобных трат, и, как всегда, стремился не допустить, чтобы его богатство досталось дочерям — Луизе, Стефании и Клементине. «У короля только две мечты, — говорил бывший министр, — умереть миллиардером и лишиться наследства дочерей».

Немецким фондом хитроумные схемы не ограничивались. В Брюсселе оказалось 58 объектов недвижимости, купленных на имя барона Огюста Гоффине, верного помощника короля, но

фактически принадлежавших другой тайной компании. Третья, «Корпорация жилой и садовой недвижимости Лазурного Берега», владела виллами Леопольда на Ривьере. Часть их предназначалась для будущих бельгийских королей как курортные резиденции, другие должны были войти в состав огромного оздоровительного комплекса с парками, садами, спортплощадками и коттеджами — бесплатным местом отдыха для белых чиновников, возвращавшихся из Конго. Кроме того, эти фирмы держали более двадцати пяти миллионов франков в леопольдовских конголезских облигациях.

Попытки бельгийского правительства распутать этот клубок длились долгие годы. Так как компании были зарегистрированы в Бельгии, Франции и Германии, разбирательства прервала Первая мировая война. Курорт так и не построили. Великая «Всемирная школа колониализма», которую с энтузиазмом задумывал Леопольд, осталась недостроенной: лишь фундамент под Брюсселем напоминал о проекте. Один из ривьерских дворцов позднее купил Сомерсет Моэм; сады другойвиллы превратили в зоопарк, известный ныне своими шимпанзе-артистами.

Лишь в 1923 году, спустя четырнадцать лет после смерти короля, последняя часть финансовых хитросплетений была разобрана. Выяснилось, среди прочего, что часть богатства Леопольд присвоил у своей сестры Карлотты — безумной, но живой ещё бывшей императрицы Мексики. Будучи её законным опекуном, он тайком забрал понравившиеся ему владения, заменив их собственными облигациями Конго.

Бывшая императрица Мексики пережила своего брата на долгие десятилетия. Принимая гостей, она усаживала их в зале, где стояли два десятка стульев, и, войдя, торжественно

приветствовала каждого воображаемого посетителя, прежде чем заговорить с реальным собеседником. С годами Карлота проводила бесконечные часы, меняя наряды и сооружая причёски. Однажды, увидев себя в зеркале и осознав, что больше не является юной красавицей, она приказала разбить все зеркала в своём замке. На одном из приёмов спустя сорок пять лет после казни мужа она с недоумением воскликнула: «А Максимилиан разве не здесь?!» Вероятно, она была одной из немногих в Бельгии, кто почти не заметил четырёхлетней немецкой оккупации во время Первой мировой войны. Умерла Карлота в 1927 году, в возрасте восьмидесяти шести лет, до самого конца бормоча безумные речи о мнимых королевствах и династиях.

Даже сегодня исследователи не могут с полной уверенностью сказать, какие из безделушек Леопольда были оплачены из тех или иных его тайных «карманов». А на более широкий вопрос — сколько всего прибыли король извлёк из Конго за время своей жизни — окончательного ответа и вовсе нет. Бельгийский учёный Жюль Маршаль, крупнейший историк этого периода, даёт «консервативную» оценку, не учитывающую некоторые мелкие или трудно отслеживаемые источники доходов: 220 миллионов франков того времени, что эквивалентно примерно 1,1 миллиарду долларов по нынешним меркам.

Одним из судебных процессов, вызванных его финансовыми махинациями, стал иск принцесс Луизы и Стефании: они требовали доли в наследстве, полагая, что тайные фонды и компании были собственностью их отца. Однако в итоге большая часть денег досталась бельгийскому государству. А вот юриста, который бы отстаивал право на них для конголезцев, так и не нашлось.

Последнее собрание Ассоциации реформ Конго в 1913 году ознаменовало конец самой важной и самой продолжительной кампании подобного рода в истории — между аболиционизмом первой половины XIX века и мировым бойкотом и санкциями против апартеида в Южной Африке 1970–1980-х годов. Но движение за реформы Конго, каким бы героическим оно ни было, оставило после себя тревожный вопрос: принесло ли оно прочные результаты?

Долгое время ответ казался очевидным — да. Широкая огласка расследований Кейсмента и Комиссии по расследованию вызвала новый всплеск восстаний, что привело к заметному, пусть и временному, сокращению сбора каучука. Позднее Э. Д. Морель и его союзники указывали на резкое падение числа сообщений о зверствах после передачи Конго под управление Бельгии. Косвенное подтверждение важности ухода Леопольда прозвучало даже из уст старого конголезского администратора и бизнесмена Александра Делькомюна, человека безжалостного и алчного. (Именно его пароход, к слову, нанял Иосиф Конрад.) Делькомюн писал: если бы правление Леопольда продлилось ещё десятилетие, «здесь уже не осталось бы ни единой каучуковой лианы, а может быть, и ни одного туземца». Так не спасли ли реформаторы миллионы жизней?

Это был бы достойный финал нашей истории, ибо великое движение заслуживает великого результата. Организаторский талант Мореля, свидетельства Джорджа Вашингтона Уильямса, Уильяма Шеппарда и Роджера Кейсмента, гибель Эндрю Шану и вождей повстанцев Нзансу, Мулуме Ниамы и Кандоло не должны были оказаться напрасными. Но правда оказалась мрачнее.

Сообщений о жестокостях при сборе дикого каучука в Конго действительно стало меньше после 1908 года. В последующие годы реже упоминались сожжённые деревни или захваченные в заложники женщины и дети. Официальных приказов отрубать руки больше не было. Однако перемены объяснялись не столько «гуманизацией режима», сколько другими факторами. Во-первых, постепенным переходом от дикого каучука к плантациям. Во-вторых, внедрением системы налогов — куда менее заметной для миссионеров и гуманитариев формы принуждения.

Бельгийские администраторы, сменившие Леопольда, быстро осознали: нужны были плантации культивируемого каучука. Иначе, если весь каучук продолжают добывать лишь из диких лиан, африканцы, отчаянно стремясь выполнить нормы, вырубят их подчистую. Уже тогда в некоторых районах страны лианы становились редкостью. Взглянем ещё раз на слова Александра Делькомюна: в них звучит тревога не только о возможном исчезновении дикого каучука, но и о судьбе самих конголезцев.

Введение тяжёлого подушного налога заставляло людей идти работать на плантации или заниматься заготовкой хлопка, пальмового масла и других продуктов. Этот налог оказался и действенным способом продолжить сбор дикого каучука: до 1920-х годов белые торговцы покупали его у крестьян, вынужденных платить налоги.

Главный элемент того, что Морель называл «Системой», — принудительный труд — сохранился, распространившись на все виды работ. Особенно жестокой эта практика стала во время Первой мировой войны. В 1916 году расширенный состав Force Publique вторгся в Германскую Восточную Африку — нынешнюю Танзанию. Как и другие союзники, Бельгия рассчитывала на

кусок «немецкого пирога» при разделе колониальных трофеев. Колоссальное число конголезцев было мобилизовано в солдаты или носильщики. В одном только округе восточного Конго с населением 83 518 взрослых мужчин за 1916 год было учтено свыше трёх миллионов человеко-дней носильщины; 1359 человек погибли от непосильного труда или болезней. Страну терзали голодные годы. Католический миссионер писал: «Отец семейства на фронте, мать мелет муку для солдат, а дети носят продовольствие!»

После войны начался рост добычи меди, золота и олова. Как всегда, вся прибыль утекала за пределы территории. Законом было разрешено применение шикотты — плети: на золотых рудниках Мото, в верховьях реки Уэле, только за первое полугодие 1920 года зарегистрировано 26 579 ударов. Это равнялось восьми ударами на каждого рабочего. Методы набора людей в шахты почти не отличались от практик времён Леопольда. Историк Дэвид Нортрап описывает: «Вербовщик от шахты обходил деревни с солдатами или собственной полицией рудников, вручал вождю подарки и назначал ему норму (обычно вдвое больше требуемого, ведь половина рекрутов всё равно сбегала при первой возможности). Вождь собирал тех, кого меньше всего жалел или кого опасался, и отправлял связанными за шею в административный пост. Оттуда их в цепях переправляли в окружной центр. Вождям платили десять франков за каждого завербованного». Если рабочий сбегал, в тюрьму могли посадить члена его семьи — почти точная копия старой системы заложников.

Как и по всей Африке, условия труда в шахтах были чудовищными: на медных рудниках и плавильнях Катанги в 1911–1918 годах погибло пять тысяч рабочих. Когда железную дорогу Матади–Леопольдвиль перестраивали на более широкую колею

и частично по новому маршруту (1921–1931), на строительстве снова погибло больше людей, чем в 1890-е, при её первой прокладке. Для африканцев, согнанных на эти и прочие работы, Великая депрессия обернулась, парадоксально, спасительным облегчением.

С началом Второй мировой войны установленный законом максимум принудительного труда в Конго увеличили до 120 дней в год на каждого мужчину. Более 80 % урана для бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, поступило из строго охраняемой шахты Шинколобве. Союзники требовали всё больше каучука для шин сотен тысяч военных грузовиков, джипов и самолётов. Часть поступала с новых конголезских плантаций каучуконосных деревьев. Но в деревнях африканцев вновь принуждали неделями бродить по лесам в поисках диких лиан.

Хотя реформаторам и не удалось покончить с системой принудительного труда, в течение примерно десятилетия им блестяще удавалось удерживать Конго в центре внимания мировой общественности. Редко, когда столько возмущения столь долго обрушивалось на столь далёкую страну. Но возникает другой, не менее важный вопрос: почему именно Конго?

В старом английском праве существовала норма: увидеть убийство или обнаружить труп и не поднять «шум и крик» считалось преступлением. Но мы живём в мире трупов, и только о некоторых из них поднимается «шум и крик». Верно, с учётом потери населения, оцениваемой в десять миллионов человек, то, что произошло в Конго, можно с разумным основанием назвать самой кровавой частью европейской «гонки за Африку». Но это

верно лишь если рассматривать Африку к югу от Сахары как произвольную шахматную доску, составленную колониальными границами. Если провести границы иначе — например, охватив все экваториальные тропические леса Африки, богатые диким каучуком — то то, что произошло в Конго, к сожалению, не хуже того, что происходило в соседних колониях: просто у Леопольда было гораздо больше территории, на которой рос каучук, чем у кого-либо ещё. Уже через десятилетие аналогичные системы принудительного труда для сбора каучука были введены в французских территориях к западу и северу от реки Конго, в португальской Анголе и в близлежащих Камерунских землях под управлением немцев. Для концессионных компаний в Камеруне «моделью, от которой как они утверждали, черпают вдохновение», пишет один историк, «была... деятельность короля Леопольда II в Свободном государстве Конго, дивиденды от которой вызывали восхищение на фондовых биржах».

В экваториальных африканских территориях Франции, где история региона задокументирована лучше всего, площадь земель с каучуконосными растениями была значительно меньше, чем у Леопольда, но насилие было столь же жестоким. Почти вся пригодная для эксплуатации земля была поделена между концессионными компаниями. Принудительный труд, заложенники, цепи для рабов, голодающие носильщики, сожжённые деревни, полувоенные «часовые» компаний и шикотта были нормой дня. Тысячи беженцев, которые пересекли реку Конго, чтобы спастись от режима Леопольда, в итоге возвращались, чтобы избежать французов. Потери населения в каучукосодержащем экваториальном тропическом лесу, принадлежащем Франции, оцениваются примерно так же, как и в Конго Леопольда, —

около 50 %. И, как в колонии Леопольда, как французские территории, так и немецкие Камерунские земли страдали от долгих и ожесточённых восстаний против режима сбора каучука. Французская исследовательница Катрин Кокери-Видрович показала ужасающую статистику: в одном только посту Саланга между 1904 и 1907 годами рост производства каучука почти точно совпадал с ростом расхода пуль — до четырёхсот за месяц.

В самой Франции разразился скандал, когда двух белых колонистов судили за чудовищное преступление во Французском Конго: в честь Дня взятия Бастилии они взорвали динамит в прямой кишке у чёрного заключённого. Следуя примеру Леопольда, правительство попыталось погасить волнения и в 1905 году направило в Африку комиссию расследовать положение дел. Руководить ею пригласили знаменитого исследователя де Бразза, в честь которого и назван Браззавиль. Предполагалось, что он не станет произносить ничего компрометирующего о крае, который сам же некогда завоевал для Франции, и столицей которого стал город, названный в его честь — Браззавиль.

Однако всё пошло наперекосяк. Приказы о «косметических изменениях» к приезду де Бразза — например, о снятии цепей с каторжников — не успели дойти до глубинки прежде, чем он туда прибыл. Ужаснувшись увиденному, де Бразза начал составлять доклад, обещавший быть беспощадно критичным. Но, к облегчению правительства, он умер на обратном пути. Ему устроили пышные государственные похороны, а сам министр колоний произнёс над его могилой на кладбище Пер-Лашез в Париже цветистую речь: «Де Бразза не умер... его страсть живёт... Он — образец вечных традиций справедливости и гуманности, составляющих славу Франции».

Эти самые «вечные традиции справедливости и гуманности» не помешали спрятать черновик доклада де Бразза. Он был немедленно засекречен тем же министром при одобрении парламента и так никогда и не был опубликован. Прибыльная система концессионных компаний продолжала существовать почти без изменений. В 1920-е годы строительство новой железной дороги через французские владения, в обход порогов великой реки Конго, стоило жизни примерно двадцати тысячам каторжников — значительно больше, чем погибло при возведении и последующей перестройке железной дороги Леопольда неподалёку.

(Любопытная сноска к истории Французского Конго. Кем оказался один из крупнейших акционеров пяти концессионных компаний на этой территории, причём в трёх из них — мажоритарным владельцем? Король Леопольд II. Бельгийские правительственные следователи выяснили это, когда пытались разобраться в финансовых делах Леопольда после его смерти. Опасаясь, что французы будут недовольны тем, что их Конго частично принадлежит соседнему монарху, они сумели на несколько лет скрыть эту новость и продали акции лишь в 1920-е годы. Леопольд также владел крупными пакетами акций в нескольких концессионных компаниях в германских Камерунах.)

Исключительная сосредоточенность реформаторского движения на Конго Леопольда выглядит ещё более нелогичной, если учитывать массовые убийства в процентном соотношении к численности населения. По этому показателю картина была ещё страшнее среди гереро в Германской Юго-Западной Африке, нынешней Намибии. Там не было никаких дымовых завес филантропической риторики. Это был геноцид в чистом виде, открыто и заранее объявленный.

После того как значительная часть их земель была захвачена немцами, гереро восстали в 1904 году. В ответ Германия направила хорошо вооружённые силы под командованием генерал-лейтенанта Лотара фон Трота, который издал приказ об истреблении (Vernichtungsbefehl):

«На германской территории каждый гереро, найденный с ружьём или без ружья, с быками или без быков, должен быть расстрелян...

«Подписано: Великий генерал могучего кайзера, фон Трота».

Для ясности последовало уточнение: «Мужчин в плен не брать».

Из примерно восьмидесяти тысяч гереро, населявших эту территорию в 1903 году, к 1906-му осталось менее двадцати тысяч безземельных беженцев. Остальные были загнаны в пустыню и умерли от жажды (немцы отравили водоёмы), расстреляны или — чтобы экономить патроны — заколоты штыками либо забиты прикладами.

Приказ фон Троты об истреблении вызвал кое-какие протесты в самой Германии, но на международной арене он был встречен полным молчанием — хотя именно тогда движение за реформы в Конго находилось на подъёме. Морель и другие борцы за реформы уделили этому столь мало внимания, что через пять лет предприниматель Джон Холт, один из двух главных финансовых спонсоров Мореля, мог спросить его: «Правда ли, что немцы вырезали гереро — мужчин, женщин и детей? ... Никогда раньше я об этом не слышал».

В то же время, когда немцы истребляли гереро, мир в значительной степени игнорировал и жестокую антипартизанскую войну Америки на Филиппинах, где войска США пытали пленных,

сжигали деревни, убили около 20 тысяч повстанцев и допустили гибель ещё примерно 200 тысяч филиппинцев от голода и болезней, связанных с войной. Британия также не подвергалась международной критике за убийства аборигенов в Австралии, совершавшиеся в соответствии с приказами об истреблении, столь же беспощадными, как у фон Трота. И, разумеется, ни в Европе, ни в США не звучали массовые протесты против истребления американских индейцев.

Почему же тогда, когда подобные массовые убийства оставались незамеченными, кроме самих жертв, именно Конго вызвало в Британии и США бурю праведного возмущения? Политика сочувствия капризна. Несомненно, одна из причин заключалась в том, что Конго было «безопасной целью». Возмущение конголезскими ужасами не касалось британских или американских злодеяний и не влекло дипломатических, торговых или военных последствий, которые могла бы повлечь критика великой державы вроде Франции или Германии. У Мореля, возможно, был определённый «слепой угол» в отношении Германии, но, хотя ему с избытком хватало хлопот с Леопольдом, к его чести следует отметить: он неоднократно и настойчиво обличал Францию за то, что она полностью переняла леопольдианскую систему в своих экваториальных африканских колониях и пожинала смертоносный каучуковый урожай, уступавший лишь «королевскому». Однако его слова почти не находили отклика у британцев, для которых уже вырисовывалась перспектива Первой мировой войны и было ясно, что Франция станет главным союзником.

То, что происходило в Конго, несомненно, было массовым убийством колоссальных масштабов. Но горькая истина в том,

что люди, служившие Леопольду, были не более кровожадными, чем многие другие европейцы, действовавшие тогда в Африке — на службе или на войне. Конрад выразил это лучше всех: «В создании Курца участвовала вся Европа».

В последующие годы после смерти Леопольда другие действующие лица конголезской драмы уходили один за другим. В 1910 году Уильям Шеппард окончательно вернулся в США. Едва оправданный на процессе по делу о клевете против компании «Compagnie du Kasai», он был вынужден уйти с миссионерской службы: всплыли его внебрачные связи с африканскими женщинами. Церковь наложила на него короткий испытательный срок, после чего позволила продолжить служение в качестве пастора в Америке. Там скандал не стал достоянием гласности. Подорванный десятками приступов лихорадки за двадцать лет в Африке, Шеппард остаток жизни провёл в Луисвилле, штат Кентукки, в церкви «Грейс Пресвитериан», где его жена Люси вела воскресную школу и дирижировала хором.

Шеппард продолжал писать и выступать о судьбе Африки, хотя в его Южной пресвитерианской церкви это означало необходимость говорить перед отдельными, сегрегированными общинами. В разные периоды два великих соперника — Букер Т. Вашингтон и У. Э. Б. Дюбуа — приглашали его разделить с ними трибуну, и Шеппард соглашался. Но этот человек, столь уважаемый в афроамериканской среде, первый иностранный гость, встретившийся с королём куба, принятый в Белом доме, вернулся на американский Юг, где оставался гражданином второго сорта. Спустя годы одна белая женщина из его родного Уэйнсборо, штат

Вирджиния, сказала о нём: «Он был таким хорошим негром. Когда вернулся из Африки, он помнил своё место и всегда заходил через чёрный ход». Когда Шеппард умер в Луисвилле в 1927 году, в возрасте шестидесяти двух лет, на его похороны пришли более тысячи человек.

На другом краю страны смерть настигла и адвоката Генри Ковальски — его тучность ускорила конец. В 1914-м его нашли мёртвым на полу номера отеля «Пэлас» в Сан-Франциско. В Бельгии в 1924 году рухнул в своём офисе бывший собиратель голов Леон Ром. В том же году в Англии умер Джозеф Конрад, столь точно уловивший сущность таких людей, как Ром, в своём «Сердце тьмы». Последней из великих фигур кампании дожила до наших дней миссионерка, реформатор и фотограф Алиса Харрис — она скончалась в 1970 году в возрасте ста лет.

Ещё одна ключевая фигура конголезской истории завершила свой путь совсем не так мирно.

В 1913 году сэр Роджер Кейсмент оставил службу в британском консульском ведомстве и наконец-то смог целиком посвятить себя делу, которое теперь целиком им овладело: свободе его родины. Вернувшись в Ирландию, он помог создать «Ирландских добровольцев» — вооружённое ополчение — и разъезжал по стране, выступая на многочисленных собраниях. Один из его соратников оставил такое воспоминание о Кейсменте в Дублине в 1914 году: «Перед занавесями окна стоял Роджер Кейсмент... [с] той внешней подавленностью, которую он всегда носил столь гордо, будто взвалил на себя скорби всего мира. Его лицо было обращено в профиль ко мне — благородный облик, красивые черты головы, чётко выделяющиеся на фоне решётчатой занавески и серого неба. Его фигура казалась ещё более величественной,

чёрные волосы и борода отросли длиннее обычного. Левая нога была выставлена вперёд, и на ботинке зияла большая дыра — ведь он всегда отдавал всё, что имел, и оставлял себя в нужде.

«Каждому ирландцу совершенно ясно, — писал Кейсмент, — что единственное правило, которого придерживается Джон Буль, — это правило ружья». Он отправился за океан, чтобы собрать у ирландской диаспоры в Америке средства на закупку оружия на чёрном рынке, но вскоре после его приезда в США началась Первая мировая война. Британские власти заявили: о самоуправлении Ирландии можно забыть до окончания конфликта. Кейсмент ответил открытым письмом: «Ирландский народ не должен проливать свою кровь, отдавать свою честь и мужество в войне, которая не имеет к нему никакого отношения... Ирландии нечего жертвовать ни для какой земли, ни для какой цели, кроме как ради самой Ирландии... Пусть наши могилы будут в той родной траве, откуда однажды воскреснет труп ирландской нации».

Сббив бороду и обзаведясь фальшивым паспортом, он отплыл из Нью-Йорка в Германию. Ирландские радикалы надеялись, что немцы объявят: в случае их победы Ирландия обретёт независимость. Взамен предполагалось вооружить и подготовить «Ирландскую бригаду» из военнопленных, находившихся в германских лагерях. А если эта бригада не сможет сражаться на родной земле, Кейсмент мечтал, что она выступит плечом к плечу с египтянами — другим порабощённым народом, жаждавшим свободы от Британии. В дневнике он писал о намерении «соединить зелёный флаг Ирландии с зелёным флагом Пророка и... низвергнуть союзников в море».

Однако его замыслы встретили равнодушие у самих пленных ирландцев. Это были кадровые военные, многие — потомки

служивших в тех же британских полках. Из примерно 2200 католиков-ирландцев менее шестидесяти вступили в «Ирландскую бригаду». Им выдали немецкие мундиры с арфой и трилистником на петлицах. Кейсмент изредка маршировал с ними на учениях, но эта часть, едва дотягивавшая до размеров роты, так и не вышла в бой.

Немцы относились с подозрением к его антиколониализму и стремились избавиться от неудобного мечтателя. Сам Кейсмент жаждал вернуться в Ирландию, чтобы действовать в подполье. 21 апреля 1916 года у западного побережья Ирландии капитан немецкой подлодки высадил его с двумя товарищами и снаряжением в небольшой шлюпке. На вопрос, не нужно ли ему ещё одежды, Кейсмент ответил: «Только саван».

В каком-то смысле он всю жизнь ждал этого возвращения и мученической смерти. «Когда я высадился в Ирландии тем утром, около трёх часов утра, выбравшись вплавь на незнакомый берег... я на мгновение вновь ощутил радость и улыбку... вокруг были первоцветы и фиалки, в небе пели жаворонки, и я снова был в Ирландии».

Через несколько часов его схватили. В его памяти ещё звенели голоса птиц, но в карманах лежал билет от Берлина до Вильгельмсхафена, базы немецких субмарин, и дневник с записью, якобы зашифрованной: «12 апреля: отплыл из Уиклоу на яхте Вилли». На пляже полиция откопала три пистолета «Маузер», патроны, бинокль, карты и экземпляр «Рубайят» Омара Хайяма.

Через два дня Кейсмент был обвинён в государственной измене — первым из рыцарей Британской империи за несколько столетий. Его заключили в Тауэр, лишив всяких связей с внешним миром, и вскоре предали суду. На заседания его водили в

наручниках. Большинство его друзей по конголезскому движению реформ осудили поступок, но сэр Артур Конан Дойл пожертвовал 700 фунтов на защиту и подписал прошение о помиловании. Подписали и многие известные писатели, однако Джозеф Конрад, сосед Кейсmenta по комнате в Матади в 1890-м, отказался: он был столь же верным подданным Британии, как Кейсмент — её непримиримым противником.

Материальная и моральная поддержка шла со всего мира. Из США «Лига негритянского братства» направила королю Георгу V прошение о помиловании: «Мы глубоко благодарны этому человеку за разоблачения, сделанные им на посту британского консула в Африке, касающиеся обращения с жителями Конго. Без него мир мог бы никогда не узнать о варварских жестокостях». Джордж Бернард Шоу даже составил для Кейсmenta речь в суде, но тот отказался и произнёс свою.

«Самоуправление — это наше право, — провозгласил он. — Право, данное нам от рождения; право, которое ни один другой народ не может выдавать нам подачками или отнимать, — столь же неотъемлемое, как право на жизнь, как право чувствовать солнечный свет или вдыхать аромат цветов, или любить себе подобных... Там, где людям приходится, затаив дыхание, вымаливать позволение существовать на собственной земле, думать собственные мысли, петь собственные песни, пожинать плоды собственного труда... там, несомненно, гораздо мужественнее, разумнее и правдивее быть бунтарём, чем покорно принимать это как естественную участь человека». В отличие от большинства националистов, страсть Кейсmenta к свободе распространялась на все народы, а не только на его собственный. Для своего времени он был редкостью, а может быть, и вовсе единственным, кто открыто

провозглашал общность борьбы за свободу европейцев, таких как ирландцы, и африканцев — египтян и конголезцев. Его речь быстро вошла в летописи антиколониализма, произведя глубокое впечатление на юного Джавахарлала Неру, который впоследствии возглавит борьбу за независимость своей страны. «Она точно выражала, — вспоминал он, — то, что должна чувствовать нация, находящаяся в подчинении».

Признанный виновным, Кейсмент был переведён в лондонскую тюрьму Пентонвилл — мрачное и устрашающее здание, возведённое в 1842 году для содержания заключённых в одиночных камерах при строгом режиме молчания. В его прежнем лондонском жилье Скотленд-Ярд уже обнаружил некоторые из его дневников. Власти немедленно сделали фотокопии записей о его гомосексуальном опыте и пустили их в широкий оборот: показали королю, влиятельным завсегдатаям лондонских клубов, членам парламента. Журналистов также пригласили взглянуть, а один комплект копий был отправлен в Вашингтон. Правительство стремилось опорочить Кейсмента и отговорить общественных деятелей от выступлений в пользу помилования. Эти дневники окончательно предрешили его судьбу».

Один из заключённых-пацифистов увидел Кейсмента у окна камеры, любующегося закатным небом. «Он казался удивительно спокойным... словно уже жил в ином мире; ни следа тревоги или страха на лице». Утром 3 августа 1916 года его руки связали за спиной. «Он шёл к эшафоту, — говорил священник, — с достоинством принца, возвышаясь над всеми нами». Палач назвал его «самым смелым человеком, которого мне довелось казнить». В одном из последних писем, написанных менее чем за неделю до казни, Кейсмент подвёл итог своей жизни: «Я совершал ужасные

ошибки, много делал неправильно и во многом потерпел неудачу — но... самым лучшим было Конго».

Как и его друг Кейсмент, Э. Д. Морель вышел из долгой конголезской борьбы иным человеком. В последнем десятилетии жизни ему предстояла самая смелая и самая одинокая битва. На этот раз вокруг не было ни лордов, ни епископов, готовых аплодировать.

В завершающие годы движения за реформы Конго Морель всё отчётливее видел, как его делу мешает сердечное согласие между Парижем и Лондоном — начинённое секретными статьями соглашение, подчинявшее всё подготовке к грядущей европейской войне. В начале августа 1914-го он проводил редкий морской отпуск с дочерью во французском Дьепе; улицы заполняли новобранцы-резервисты. Их отпуск оборвала надвигающаяся буря: переполненным паромом они перебрались через Ла-Манш в Англию. В Лондоне Морель и его друг, депутат Чарльз Тревельян, с тяжёлым предчувствием прошли через пустую Палату общин, пока на улице толпа ревела в поддержку войны.

Морель оказался в числе немногих людей по обе стороны Европы, кто открыто заявлял, что война — безумие. Он утверждал, что через ряд договоров, скрытых от общественности и парламента, Британия оказалась втянутой в ненужный катаклизм. При этом Морель не был пацифистом: он говорил, что взялся бы за оружие, если бы Британия подверглась нападению, но этого не произошло. От него потребовали отказаться от выдвижения в качестве кандидата в парламент от Либеральной партии. С небольшой и осаждённой группой единомышленников Морель

создал Союз демократического контроля, который вскоре стал главным голосом антивоенного движения в Англии. Активисты Союза обнаружили, что их письма вскрываются Скотленд-Ярдом, а телефонные разговоры прослушиваются. Толпы срывали их собрания, рвали транспаранты, бросали в зал вонючие бомбы, избивали выступавших и слушателей. Вскоре в Лондоне уже никто не соглашался сдавать Союзу зал для собраний. Со всех сторон бывшие поклонники отворачивались от Мореля. Когда один его старый знакомый-журналист, теперь уже в военной форме, удостоил его приветствия на улице, Морель был так тронут, что расплакался, сказав: «Я не думал, что теперь со мной вообще кто-нибудь заговорит».

И в Союзе, как некогда в реформах Конго, Морель стал доминирующей фигурой. «В нём чувствовалось нечто вулканическое, — вспоминал коллега. — В сердце его всегда тлел огонь». Как и прежде, жена Мэри поддерживала его без оговорок, войдя в совет организации. Морель создавал отделения по всей стране, редактировал ежемесячную газету, строчил статьи и памфлеты, издал две книги. Но работать было несравнимо тяжелее: страна горела военным угаром, цензура запрещала часть текстов, почтовый ящик забивала ненависть. Полиция обыскала офис Союза и дом Морелей, утащив бумаги из его кабинета. Одна из пробившихся в печать книг — «Десять лет тайной дипломатии» — стала вехой: «Все дальнейшие исследования причин войны берут начало [отсюда]... межвоенные историки вышли... из-под его плаща, — писал историк А. Дж. П. Тейлор. — Морель сменил не только метод — он сменил угол зрения».

Сегодня нам очевидно: более 8,5 миллиона погибших и 21 миллион раненых в Первой мировой войне — это ненужная,

предотвратимая трагедия. И потому мы забываем, как немногие в то время имели смелость назвать её именно так. По мере того, как война затягивалась, атаки на Мореля усиливались. Газета «Daily Sketch» обрушилась с яростной тирадой против британского антивоенного движения: «Если вы спорите с пацифистами и начинаете проверять их факты, то всегда наталкиваетесь на один и тот же авторитет — Мореля... Чтобы уничтожить этот заговор, нужно добраться до главного заговорщика».

Его офис находился под постоянным полицейским надзором. Газета «Daily Express» выносила на первую полосу: «КТО ТАКОЙ Г-Н Э. Д. МОРЕЛЬ? И КТО ПЛАТИТ ЗА ЕГО ПРОГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ?» А «The Evening Standard» прямо называла его «агентом Германии в этой стране».

Именно в то время, когда Морель подвергался подобным нападкам, он получил известие об аресте Кейсмента. Коллеги Мореля по Союзу за демократический контроль (UDC) предупредили его, что у них и без того достаточно проблем, и настоятельно советовали не поддерживать друга, который, в отличие от них, действительно сотрудничал с немцами. Поэтому Морель, хотя это, должно быть, причинило ему сильные душевные страдания, не навещал Кейсмента в тюрьме в последние месяцы его жизни. Великодушный, как всегда, Кейсмент передал, что всё понимает. Один из друзей, видевший его, написал Морелю: «Он сказал, что ты правильно принял решение товарищей, — писал Морелю один посетитель. — Тут не о чем спорить».

На протяжении всей войны Морель оставался верен своим убеждениям — таким же страстным и непреклонным теперь, когда все были против него, каким он был в годы борьбы за реформы в Конго, когда значительная часть британского истеблишмента

стояла на его стороне. Он призывал к мирному урегулированию и прекращению тайной дипломатии. С поразительной прозорливостью Морель выступал против суровых условий мира, которые, как он был уверен, навяжут Германии. Считая абсурдным утверждать, что война ведётся между демократией и самодержавием, когда на стороне союзников находится царская Россия, он требовал разоружения, обязательного проведения плебисцита перед любым изменением территориальной принадлежности и создания Международного совета всех наций.

«Война 1914–1918 годов изменила для меня всё...» — писал Бертран Рассел, один из тех, кто смело бросил вызов шовинистическому безумию. «Я потерял старых друзей и приобрёл новых. Я познакомился с немногими, кем мог искренне восхищаться, и на первом месте среди них я поставил бы Э. Д. Мореля... С неутомимой энергией и огромным талантом, несмотря на все препятствия пропаганды и цензуры, он делал всё, чтобы просветить британскую нацию относительно истинных целей, ради которых правительство гнало молодых людей на бойню. Больше, чем кто-либо другой, он подвергался атакам политиков и прессы... Но его мужество никогда не изменяло ему». О Мореле Рассел сказал: «Ни один другой человек из всех, кого я знал, не обладал такой героической простотой в стремлении к политической истине и в её провозглашении».

Правительственные бумаги свидетельствуют: высокие чины разных ведомств долго совещались, как «надёжно упечь Мореля за решётку» — не дав ему трибуны суда, где он мог бы обрушить на слушателей факты и красноречие. В 1917-м нашли щекотливую формальность и арестовали его за нарушение малоизвестного запрета на рассылку антивоенной литературы в нейтральные

страны. В залоге отказали; приговор — шесть месяцев каторжных работ.

Морель описывает любопытный эпизод, произошедший во время вынесения ему приговора в 1917 году: «Живописную деталь в этом, иначе убогом, юридическом пейзаже внес некий человек, пересёкший зал суда откуда-то из-за моей спины во время выступления моего адвоката и передавший записку прокурору. Тот открыл её, прочитал и кивнул, после чего посланец вернулся на своё место — но не раньше, чем я успел узнать в нём того самого человека, который, действуя в качестве аккредитованного представителя короля Леопольда II, публично выступал против меня в Америке во время моей миссии в Соединённые Штаты». Леопольд умер восемью годами ранее, а поездка Мореля в США состоялась за пять лет до того. Тогда против него выступали около полудюжины оплаченных королём лоббистов; Морель не уточняет, кто именно из них появился в зале суда, словно сам Леопольд всё ещё посылал приказы из могилы.

Охрана провела Мореля через ворота тюрьмы Пентонвилл ровно через год после того, как там был казнён Роджер Кейсмент. В камере по одну сторону от него сидел человек, укравший три бутылки виски; по другую — тот, кто изнасиловал ребёнка. В одном из ежемесячных писем — единственных, которые ему разрешалось писать жене, — Морель заметил: «Это первый раз за последние двадцать лет, когда мы, находясь порознь, не пишем друг другу каждый день».

Своё тюремное время он проводил в пыльной комнате, где шил парусиновые почтовые мешки и плёл для флота гамаки и циновки — всё это в полной тишине: разговаривать заключённым на работе было запрещено. Каждую ночь его запирали в камере с четырёх

часов вечера до восьми утра. Ужин, который он ел в одиночестве, выглядел так: «кусок хлеба, пол-пинты холодной овсяной каши на дне жестянки, где днём могли храниться копчёные сельди, и которая до сих пор носит их следы, и пинта горячего жирного какао, которое со временем начинаешь воспринимать как подлинный нектар богов, особенно в холодную погоду». Раз или два за ночь раздавался щелчок — надзиратель открывал глазок в дверях каждой камеры, чтобы проверить узников. Ночью стоял «холод тюремной камеры — ни с чем на свете не сравнимый. Кажется, ничто не способно от него защитить».

В тюремной часовне заключённые снова сидели в тишине, под надзором надзирателей, размещавшихся на приподнятых платформах, пока чиновники оглашали вести о победах на полях сражений в той самой войне, против которой Морель выступал. На работе ему порой приходилось переносить тяжёлые тюки джута, вес каждого из которых он оценивал почти в сотню фунтов, в мастерскую при тюрьме. Это иронично напоминало ему о ношах африканских носильщиков, что таскали его поклажу по нигерийским дорогам всего пол дюжины лет назад. «Но память остаётся, опыт — великий учитель, и многому можно научиться и здесь; в конце концов, мне довелось сыграть обе роли». Один заключённый, сидевший за кражу со взломом и уловивший, что Морель — человек значимый, обратился к нему «сэр».

Два месяца спустя после его освобождения, в начале 1918 года, Бертран Рассел, которому самому вскоре предстояло оказаться в тюрьме, с тревогой писал Гилберту Мюррею: «Я виделся с Э. Д. Морелем вчера впервые после его выхода, и был поражён тем, насколько серьёзными оказались последствия шестимесячного заключения. Его волосы стали совершенно белыми (а раньше едва

заметно сидели) — когда он только вышел, он был совершенно обессилен, и физически, и душевно, в значительной мере из-за недостатка пищи».

Морель вновь вернулся к выступлениям и публицистике, но его некогда крепкая фигура стала болезненно худой. Вскоре после освобождения он перенёс первый из нескольких сердечных приступов. Однако в последующие годы ему довелось испытать удовлетворение от публичного оправдания. Обнаружилось, что среди союзников действительно существовали тайные договоры. А многие из «Четырнадцати пунктов» президента Вудро Вильсона для мирного урегулирования звучали так, будто были списаны с памфлетов Мореля. Поддержку Союзу демократического контроля во время войны частично оказывали профсоюзы, и — к удивлению Мореля, который, будучи бывшим служащим судоходной компании, никогда прежде не считал себя социалистом, — он стал героем Лейбористской партии. В 1922 году, выставив свою кандидатуру в Палату общин от лейбористов, он с большим удовольствием одержал победу над бывшим министром кабинета, отправившего его в тюрьму во время войны, — членом парламента по имени Уинстон Черчилль.

В Данди, Шотландия, избиратели обожали Мореля. Его переизбирали в 1923 году и снова год спустя, когда двадцать тысяч человек провожали его на вокзале в Лондон. В парламенте Морель быстро стал самым заметным и уважаемым голосом лейбористов во внешнеполитических вопросах. Когда в начале 1924 года лидер партии Рамсей Макдональд стал первым премьер-министром от Лейбористской партии, многие ожидали, что он назначит Мореля министром иностранных дел. Но этого не случилось. Для главы шаткой коалиции Морель оказался

слишком независимым моралистом и непримиримым борцом — а возможно, и потенциальным соперником в борьбе за лидерство. Макдональд оставил портфель за собой, предложив Мореля лишь в качестве кандидата Британии на Нобелевскую премию мира.

Хотя Морелю было всего пятьдесят один, тюрьма, военные гонения, разочарование из-за того, что он не получил пост в кабинете, и изнурительный ритм работы за долгие годы сказались на его здоровье. Ему приходилось ложиться прямо на террасе парламента, чтобы передохнуть, а вместе с женой он часто ездил отдыхать в Девоншир, в дом её семьи. 12 ноября 1924 года, во время прогулки по лесу с золовкой, Морель почувствовал усталость, присел у дерева — и больше не поднялся.

Его память почтили на больших поминальных службах в Данди, Лондоне и Нью-Йорке. Французский писатель Ромен Роллан сказал: «С годами фигура Мореля будет возвышаться над своей эпохой».

ВЕЛИКОЕ ЗАБВЕНИЕ

Одним из самых жутких впечатлений для посетителя старого Советского Союза была прогулка по просторным галереям Музея революции на улице Горького в Москве. Можно было смотреть на сотни фотографий и картин революционеров в меховых шапках за снежными баррикадами, бесчисленное количество винтовок, пулемётов, флагов и знамен, большую коллекцию других реликвий и документов и не найти ни единого намёка на то, что около двадцати миллионов советских граждан погибли в застенках, в искусственно созданных голодах и в ГУЛАГе.

Сегодня тот московский музей изменился так, как его создатели не могли себе и представить. Но на другом конце Европы есть музей, который не изменился нисколько. Чтобы увидеть его, сядьте на трамвай № 44 и прокатитесь через тенистый, приятный лес Сонуа на окраине Брюсселя — в древний герцогский Терверен. В VIII веке здесь жил святой Губерт, покровитель охотников, и гнал дичь по этим чащам. Теперь, величественно возвышаясь над парком, в огромном дворце в стиле Людовика XV, построенном королём Леопольдом II, разместился Королевский музей Центральной Африки. В обычный день он кишит людьми: сотни школьников заполняют пустые графы в рабочих тетрадах, пожилые туристы выходят из автобусов с кондиционерами.

Здесь хранится одна из крупнейших в мире коллекций «африканистики». Чтобы осмотреть все экспонаты, потребуется целый день: от кепки Стэнли до трости Леопольда, от кандалов для рабов до выдолбленной пироги, достаточно большой, чтобы

вместить сотню человек. Одна из галерей, полная оружия и военной формы, прославляет «кампании против рабства» 1890-х годов — конечно же, против «арабских» работорговцев. На мемориальной табличке выбиты имена нескольких десятков офицеров «Force Publique», «упокоившихся в африканской земле». Другие плиты в этом «зале памяти» содержат сотни имён белых первопроходцев, погибших в Конго. В другой галерее — чучела диких животных: слонов, шимпанзе, горилл. На экране старого черно-белого телевизора беспрерывно крутится плёнка: танцы в масках народа пенде, король куба при дворе, похоронные обряды нтомба — Африка, представленная исключительно как мир экзотических костюмов и грохочущих барабанов. Повсюду, за стеклянными витринами, экспонируются предметы из многообразных культур Конго: копья, стрелы, курительные трубки, маски, чаши, корзины, вёсла, скипетры, рыболовные ловушки, музыкальные инструменты.

На одной временной выставке — поразительная скульптура нижнего течения Конго: трёхфутовые деревянные статуэтки, грудь и шея каждой утыканы сотнями гвоздей, шипов и крошечных лезвий. Они выглядят как ошетилившиеся, истерзанные карлики. Табличка объясняет: это нконди — фетиш, призванный бороться с ведьмами и прочими злодеями. Каждый гвоздь и бритвенное лезвие означает клятву или просьбу о возмездии за несправедливость. Но о какой-либо «большой» несправедливости в самом Конго — ни слова. Ни в одном зале нет даже намёка на то, что миллионы конголезцев погибли насильственной смертью.

В Брюсселе нет ни малейшего намёка на те смерти. Улица Брэдэрод, где некогда размещались часть администрации Конго и штаб-квартиры важнейших конголезских компаний, всё

ещё проходит позади Королевского дворца. Но теперь то место, где Жозеф Конрад проходил своё собеседование, занимает обычное государственное налоговое ведомство. С другой стороны дворца — конная статуя Леопольда, больше натуральной величины, неподвижным металлическим взглядом уставившаяся на автострадный тоннель. И всё же пролитая в Конго кровь, отнятая земля, отсечённые руки, разрушенные семьи и осиротевшие дети — всё это лежит в основе того, что видит глаз. Роскошный колонный Королевский дворец был обновлён до нынешнего великолепия на конголезские прибыли. Точно так же и ещё более внушительно расположенный купольный замок Лакен, где живёт королевская семья, с его потрясающим ансамблем оранжерей площадью более шести акров стекла. Каждую весну оранжереи на короткое время открывают для публики, и тысячи посетителей проходят мимо бюста Леопольда, украшенного камелиями и азалиями. В Лакене возвышается и пятиэтажная Японская башня — архитектурная диковина, увиденная Леопольдом на парижской Всемирной выставке, приглянувшаяся ему и купленная на деньги из Конго. А над горизонтом Брюсселя доминирует величайшее из конголезских «расточительств» — грандиозная арка Сентенер, усеянная героической скульптурой. Она похожа на раздутую комбинацию Триумфальной арки и Бранденбургских ворот, с добавленными крыльями. Её массивные каменно-бетонные громады навевают воспоминание о словах Конрада, назвавшего неназванную европейскую столицу в Сердце тьмы «погребальным городом». Но о миллионах африканцев, чей труд оплатил все эти сооружения и чьи тела покоятся в безымянной земле, — нет ни малейшего упоминания.

Брюссель не исключение. В Берлине нет музеев и памятников

убитым гереро; в Париже и Лиссабоне — никаких видимых напоминаний о каучуковом терроре, сократившем наполовину население частей французской и португальской Африки. На американском Юге — сотни монументов гражданской войне и ухоженных плантационных усадеб на один-два стенда, хоть как-то напоминающих о рабстве. Между тем мир, в котором мы живём, — его разломы и конфликты, растущая пропасть между богатыми и бедными, будто ниоткуда возникающие вспышки насилия — куда в большей степени формируется не тем, что мы празднуем и мифологизируем, а тем, что стараемся забыть. Конго Леопольда — лишь одно из таких «умолчаний истории».

Пример Конго наглядно демонстрирует политику забвения. Леопольд и сменившие его бельгийские колониальные чиновники приложили необычайные усилия, чтобы выжечь из исторической памяти улики, способные их уличить. В один августовский день 1908 года, незадолго до официальной передачи колонии Бельгии, молодой военный адъютант короля Гюстав Стингльхамбер вышел из Королевского дворца к знакомому в соседних конголезских ведомствах. День стоял особенно жаркий, и оба, беседуя, подошли к открытому окну. Стингльхамбер присел на радиатор — и тут же вскочил: тот был обжигающе горяч. На вопрос, в чём дело, дворник ответил: «Извините, но мы сжигаем архивы Государства». Печи горели восемь суток, превращая большую часть документов Свободного государства Конго в пепел и дым над брюссельским небом. «Я отдам им своё Конго, — сказал Леопольд Стингльхамберу, — но у них нет права знать, что я там делал».

Одновременно с брюссельскими печами из дворца ушли распоряжения в Африку уничтожать бумаги и на местах.

Полковник Максимилиен Штро, многолетний «консильери» короля по конголезским делам, позднее заметил: «Голоса, которые могли бы заговорить вместо уничтоженных архивов, были систематически обречены на молчание во имя соображений высшего порядка». Редкий тоталитарный режим стремился столь полно и методично стереть следы собственной деятельности. В своих поисках «высшего порядка» и Гитлер, и Сталин, в каком-то смысле, оставили куда более богатую бумажную дорожку.

Тот же самый преднамеренный процесс забвения происходил и в сознании людей, служивших режиму. Забыть собственное участие в массовых убийствах — дело не пассивное, а активное. Изучая воспоминания первых белых конкистадоров в Африке, мы порой можем уловить сам момент этого забвения. Это не мгновение стирания памяти, а её переворачивания — странное перевоплощение, когда палач в своём сознании превращает себя в жертву. Взять, к примеру, эпизод из мемуаров Рауля де Преморея, заведовавшего каучуковыми постами в районе Касаи в Конго в 1896–1901 годах. Вот как он описывает расправу над якобы зачинщиком мятежа:

«Я приказал двум часовым притащить его к передней части склада, где ему связали запястья. Затем, поставив его к столбу с высоко поднятыми руками, крепко привязали к перекладине. Потом я велел подтянуть верёвку так, чтобы он едва касался пола кончиками пальцев ног... Так я и оставил беднягу. Всю ночь он висел там — то умоляя о пощаде, то впадая в полубоморок. Всю ночь его верная жена старалась облегчить его страдания: приносила ему еду и питьё, растирала его ноющие ноги... Наконец, когда настало утро и мои люди его отвязали, он рухнул на землю без сознания. „Уведите его“, — приказал я... Жив ли он остался — не знаю...

Теперь иногда во сне мне кажется, что это я — тот несчастный, а вокруг меня пляшут полсотни чёрных бесов... Я просыпаюсь с ужасом, весь в холодном поту. Иногда мне кажется, что из всех, кто страдал той ночью, больше всех страдал именно я».

«Иногда мне кажется, что больше всех страдал именно я...»
Такого рода оправдания клеймят всю историю кровавых рук. Но процесс забывания убийств в Конго Лепольда получил и неожиданный импульс: Бельгия сама превратилась из завоевателя в жертву. В августе 1914-го Германия вторглась, убила более пяти тысяч мирных бельгийцев, умышленно предала огню тысячи зданий, в том числе знаменитую библиотеку Лёвена.

Следующие четыре года сперва британские, затем американские власти раздували патриотический жар, разыгрывая карту «маленькой героической Бельгии» в странах, которые сами не были атакованы. Газеты, карикатуры, плакаты, речи не только осуждали реальные зверства — они шли дальше. Говорили, будто немцы распинают бельгийских младенцев на дверях домов. И — в поразительном, пусть и неосознанном, эхе образов движения за реформу Конго — союзная пресса сообщала, будто германские солдаты отрубают бельгийским детям руки и ноги. Один бельгийский писатель в изгнании даже посвятил этому стихотворение.

Эти шокирующие рассказы об «отсечённых руках и ногах» были столь повсеместны, что один богатый американец пытался усыновить покалеченных бельгийских детей; но, несмотря на обещанное вознаграждение, так никого и не нашли. В конце концов обвинения в распятиях младенцев и отрубании детских конечностей оказались ложью. Но во время войны и после неё никто в странах Антанты не желал слышать напоминаний

о том, что всего десяток-другой лет назад именно король бельгийцев посылал людей, которые рубили руки в Африке. Так полный рассказ о правлении Леопольда в Конго и о движении, вставшем ему поперёк, исчез из европейской памяти — пожалуй, даже быстрее и глубже, чем другие массовые убийства эпохи колонизации Африки.

В тихой деревушке Хёпертинген, в часе езды на поезде к востоку от Брюсселя, живёт Жюль Маршаль с женой — в скромном, раскидистом доме с маленьким вишнёвым садом. Раз в год они проводят несколько недель на лестницах, с корзинами, собирая вишню, чтобы потом сдать её в местный кооператив. Здесь Маршаль родился, и в свои семьдесят три он вполне похож на сельского старейшину: золотой зуб, подтяжки, румяное, доброе лицо, белые волосы. Белые усы придают ему лёгкое сходство с последними прижизненными портретами Стэнли. Но на этом сходство кончается.

Маршаль — бывший дипломат. В начале 1970-х он был послом Бельгии сразу в трёх странах Западной Африки: Гане, Либерии и Сьерра-Леоне. Однажды он наткнулся в либерийской газете на заметку, где мимоходом упоминалось о десяти миллионах жертв в Конго времён короля Леопольда.

«Я был потрясён, — вспоминает Маршаль. — Я написал министру иностранных дел в Брюсселе: “Мне нужно опровергнуть это возмутительное наветническое заявление. Но я сам ничего не знаю об истории того времени. Пожалуйста, пришлите мне материалы”.

Я ждал. Но ответа так и не получил. Именно тогда началось моё любопытство».

Маршалль был человеком осторожным, обстоятельным, из тех, кто предпочитает читать книги в подлиннике, проследить любую крупицу информации до её первоисточника, черпать историю не из пересказов, а из самих документов. Разгоревшийся интерес привёл его к тому, что он погрузился в изучение раннего периода конголезской истории — и вскоре понял: найти официальные документы будет не просто после того костра, который полыхал неделю и пожрал архивы Леопольда. Однако кое-какие важные бумаги уцелели в 1908 году, среди них — никогда не публиковавшиеся стенограммы показаний африканских свидетелей перед Комиссией по расследованию 1904–1905 годов. К счастью для себя, Маршалль обнаружил, что этот бесценный корпус документов в итоге оказался в архивах бельгийского МИД — его собственного ведомства. Он с нетерпением ждал возможности их изучить.

Затем Маршалль служил на другой должности в Африке, «но Конго всегда сидело у меня в голове. В нём витал какой-то гнилой дух. Я узнал, что с 1900 по 1910 год шла огромная кампания в международной прессе; миллионы людей погибли, но мы, бельгийцы, не знали об этом совершенно ничего. И потому, когда я в 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел в Брюсселе, первым делом я отправился в архив министерства и попросил показать мне протоколы Комиссии по расследованию».

«Невозможно», — ответили ему. Показания свидетелей были помечены штампом «*Ne pas à communiquer aux chercheurs*» — «не подлежит ознакомлению исследователями». Маршалль возразил: с момента представления отчёта комиссии прошло

уже семьдесят лет, к тому же он имел дипломатический ранг посла. Но это ничего не изменило. К делам его не допустили. «В архивах МИД существовало правило: они не могли показывать исследователям материалы, которые могли повредить репутации Бельгии. Но ведь всё, что касалось этого периода, вредило репутации Бельгии! Поэтому они не показывали ничего». Объятый одержимостью, Маршаль ещё полтора десятилетия прослужил на дипломатической службе: вновь Африка, кабинетные должности в Брюсселе. Всё свободное время он посвящал исследованию и писательству. Выйдя в отставку в 1989 году, он занялся этим уже профессионально. Четыре десятилетия чиновничьего опыта приучили его находить самые скользкие документы, и он объездил все европейские и американские архивы, где только могла быть информация о Конго. Он нашёл частные коллекции в Бельгии, спасшиеся от леопольдовского огня. Он понял, что самые пронзительные свидетельства — в письмах и рапортах молодых колониальных офицеров, прибывших в Африку с благородными надеждами и столкнувшихся с мрачной реальностью. Он штудировал миссионерские фонды, деловую переписку компаний, побывал в Ирландии, чтобы изучить бумаги Кейсмента и пройтись по пляжу, где тот высадился в свою последнюю миссию.

Будучи ещё дипломатом, Маршаль писал под псевдонимом Делатей — девичьей фамилией своей прабабки. «Замечательная была женщина. Но её вычеркнули из семейной истории: родила ребёнка вне брака. Имя её не упоминали. Табу. Как и история миллионеровбитых». Свой труд о Конго Леопольда он написал сперва по-голландски, потом переработал и издал четырёхтомником на французском. В самой Бельгии книги почти проигнорировали, но в науке они стали классикой: фундаментальное, беспристрастное

исследование, которому нет равных ни на одном языке. А всё началось с той самой либерийской газетной заметки.

Маршалль говорит о своей работе с горячностью одержимого: голос повышается, руки разлетаются. Он срывает с полок книги, вытаскивает из ящиков фотографии. На снимках — все дома в Британии, где жил Э. Д. Морель. «В Бельгии Мореля считали предателем и подлецом. Я хочу вернуть ему его настоящее место».

Его мучило то, что он долгие годы представлял свою страну, не зная ничего об этом тёмном куске её прошлого. Ещё больше — что собственное министерство закрывало перед ним архивы. В какой-то момент высокопоставленный чиновник предложил компромисс: «Мы покажем вам документы, но только если вы обещаете не писать по ним». Маршалль отказался. Лишь через восемь лет настойчивых просьб ему наконец открыли доступ к материалам Комиссии. Он издал их отдельной книгой с комментариями.

Была ещё одна причина, по которой Маршалль был глубоко потрясён своими открытиями. До того, как поступить на дипломатическую службу Бельгии, уже в возрасте за сорок, он почти двадцать лет проработал в Конго — в его последние годы как бельгийской колонии и в первые годы независимости. Свою карьеру он начинал молодым помощником окружного администратора при колониальном режиме. Спустя годы, впервые познакомившись с историей рубежа веков, Маршалль вместе с женой Паулой тщательно перебирал в памяти прошлое, пытаясь уловить слова или намёки, которые теперь могли обрести иной смысл. Он вспомнил один такой эпизод:

«Когда я приехал в Конго в 1948 году, моё первое поручение — объезжать деревни и вручать медали вождям, которые во время

Второй мировой собирали для правительства каучук. Знаете, всех снова погнали в лес, добывать дикий каучук. Я наградил примерно сотню вождей. Со мной был капрал и шесть-семь солдат. Капрал сказал мне: “Каучук на этот раз — это ерунда. Но в первый раз — вот тогда было ужасно”. И только тридцать лет спустя я понял, о чём он говорил».

На всём африканском континенте именно колонизаторы писали школьные учебники; вместе с широкой практикой запрета книг и цензуры прессы это привело к институционализированному забвению в письменной памяти. В Конго, на протяжении полувека бельгийского правления после смерти Леопольда, учебники для африканцев превозносили Леопольда и его «свершения» столь же пышно, как советские учебники превозносили Ленина. Так, учебное пособие 1959 года для молодых конголезских солдат, готовившихся стать унтер-офицерами в «Force Publique», утверждало, что история «показывает, как бельгийцы, проявив героизм, сумели организовать эту огромную территорию». Сражаясь с «арабскими работоторговцами», они «за три года жертв, упорства и стойкого мужества блистательно завершили самую гуманную кампанию века, освободив истребляемые и порабождённые народы этой части Африки». Что же до критиков, чьи имена не упоминались, то «нападки, раздававшиеся в ходе клеветнических кампаний, предпринятых завистливыми иностранцами... показали свою несостоятельность».

Это предписанное властями забвение, разумеется, не смогло полностью проникнуть в деревни, где сохранились предания

о «каучуковом терроре». Но даже там коллективная память оказалась куда более скудной, чем можно было бы ожидать. Лишь усилиями горстки преданных антропологов удалось зафиксировать и сохранить эти воспоминания — чаще всего в виде местных легенд о какой-нибудь особенно жестокой фигуре из периода, который помнят, как *la guerre du Blanc* [война белого человека], или, на языке монго, *lokeli* — «нечто подавляющее». Иногда в сопоставлении со свидетельствами Кейсмента или миссионеров удавалось установить, что этот «злодей из легенды» был окружным комиссаром, агентом каучуковой компании или местным вождём, сотрудничавшим с колонизаторами. Порой память о терроре вращалась прямо в язык: на языке монго выражение «послать кого-то собирать каучук» стало означать «деспотически тиранить».

Относительно мало коллективных воспоминаний о «каучуковой эпохе» уцелело в сельской Африке: ведь устная литература в первую очередь хранит память о царях, династиях, победах в битвах. А династии, которые сумели пережить это время, почти всегда делали это благодаря сотрудничеству с колониальными властями. Как отмечает Ян Вансина в своей истории народа куба: «В династических преданиях не сохранилось никаких рассказов об этих событиях [каучуковое рабство времён Леопольда]. Правители, получавшие выгоду от системы, вовсе не собирались вписывать это в официальную память». В городах, где ныне живёт значительная часть конголезцев, процесс стремительной урбанизации сам по себе привёл к драматическим потрясениям. Так, Киншаса, которая чуть более ста лет назад была лишь небольшой деревушкой, сегодня разрослась в хаотичный мегаполис с населением около семи миллионов человек, многие из которых недавно перебрались сюда из деревень в отчаянных

поисках работы. Эти перемены надорвали и ослабили нити, связывавшие поколения и передававшие устное наследие. Традиционные культуры сильно ослабли, а вместе с ними исчезает и сама память о тех силах, которые некогда их сокрушили.

Десятилетия спустя после смерти Леопольда в Конго сложилась любопытная легенда. Будто король вовсе не умер, а переселился в свою бывшую колонию и превратился в католического епископа Жана-Феликса де Ампитинна — властного аристократа, долгие годы имевшего огромный политический вес в Конго. (Ясно, что толчком к легенде послужили его внушительная фигура и большая белая борода «королевских» размеров.) Говорили, что де Ампитинн — это Леопольд, вернувшийся на землю, а может, незаконнорожденный сын короля; мол, в решающие моменты он из тени приказывал полиции стрелять в бастующих шахтёров или велел судье «пожётче» обойтись с подсудимым.

Впрочем, никакого перевоплощения не требовалось, чтобы Леопольд оставил о себе след. История тяжёлой глыбой лежит на Африке: долгие десятилетия колониализма, несколько столетий трансатлантической и арабской работорговли и — что слишком часто забывают — несчётные века местного рабства до того. Главным наследием Европы времен колониальной эпохи стали для Африки не демократия в британско-франко-бельгийском смысле, а авторитарное правление и грабёж. И, пожалуй, ни одной стране на всем континенте не было труднее выйти из этой тени, чем Конго.

Когда независимость всё-таки пришла, стране повезло мало.

Как и прочие колониальные державы, Бельгия оказалась застигнута врасплох волной самоопределения, охватившей Африку в 1950-е. В 1959-м в Леопольдвиле вспыхнули массовые демонстрации, кроваво подавленные «Force Publique». До того наследники Леопольда полагали, что независимость возможна, но лишь через много десятилетий. Африканцев к этому «далёкому дню» обучали понемногу; когда же давление выросло и в 1960 году независимость стала фактом, во всём Конго насчитывалось меньше тридцати выпускников университетов. Не было ни офицеров-конголезцев, ни инженеров, ни агрономов или врачей. Из примерно пяти тысяч управленческих должностей в колониальной администрации лишь три занимали африканцы.

Бельгийский король Бодуэн прибыл в Леопольдвиль, чтобы официально и наставнически «даровать» Конго свободу. «Теперь, господа, от вас зависит доказать, что вы достойны нашего доверия», — произнёс он. Мир всколыхнула гневная импровизированная речь Патриса Лумумбы в ответ. За месяц до того коалиционные выборы вывели его в премьер-министры — первые общенациональные демократические выборы в истории территории, — и этот победитель резко не понравился бельгийцам. Лумумба считал, что одной политической независимости мало: Африке нужно избавиться и от экономической зависимости от Европы. Его речи мгновенно зазвенели тревогой в западных столицах. Бельгийские, британские и американские корпорации вложили в Конго огромные средства, страна богата медью, кобальтом, алмазами, золотом, оловом, марганцем, цинком. Вдохновенный оратор с голосом, уже выходившим за границы страны - Лумумба был фигурой стремительной и харизматичной; а главное — не продаваемой. Не найдя сочувствия на Западе, он обратился за

помощью к СССР. Для американского и европейского капитала он стал «чумой», и дни его были сочтены. Спустя менее двух месяцев после назначения первым демократически избранным премьером подкомитет Совета нацбезопасности США по тайным операциям во главе с директором ЦРУ Алленом Даллесом санкционировал его ликвидацию. Руководитель операций ЦРУ Ричард Биссел позже сказал: «Президент [Дуайт Эйзенхауэр] ... относился к Лумумбе так же, как и я, и многие другие: как к бешеной собаке... и хотел, чтобы проблему устранили». На одном из ключевых совещаний, как вспоминал другой присутствовавший тогда чиновник, Эйзенхауэр недвусмысленно сказал главе ЦРУ Даллесу, «что Лумумбу следует устранить».

Рассматривались различные варианты «решения проблемы», в том числе яд (партия которого была отправлена шефу резидентуры ЦРУ в Леопольдвиле), винтовка большой мощности и наёмные убийцы. Но подойти к Лумумбе достаточно близко для их применения оказалось трудно, поэтому ЦРУ и бельгийцы, всё ещё работающие в армии и полиции Конго, поддерживали анти-Лумумбовские фракции в правительстве страны, уверенные, что они справятся с задачей. После ареста и многократных избиений премьер-министр был тайно расстрелян в Элизабетвиле в январе 1961 года. Подстрекаемый тайно своим правительством, бельгийский пилот управлял самолётом, доставившим Лумумбу туда, а бельгийский офицер командовал расстрельной командой. Двое бельгийцев затем расчленили его тело и растворили в кислоте, чтобы не оставить могилы мученика. Мы не можем знать, остался бы Лумумба верен надеждам, которые он воплощал для стольких людей в Африке, если бы выжил. Но США и Бельгия позаботились о том, чтобы у него не было шанса.

Ключевым человеком в лагере конголезцев, организовавших убийство Лумумбы, был молодой Жозеф Дезире Мобуту — тогда начальник штаба армии, бывший унтер-офицер колониальной «Force Publique». Рано замеченный Западом как «надёжный», он получал наличные от местного сотрудника ЦРУ и западных военных атташе ещё в период подготовки убийства. В тёмных очках и генеральском мундире с золотым шитьём и шпагой он встречался с президентом Кеннеди в Белом доме в 1963-м. Кеннеди подарил ему самолёт для личного пользования — и экипаж ВВС США при нём. При поощрении Вашингтона Мобуту в 1965-м совершил переворот и стал диктатором. И оставался им более тридцати лет.

Дальнейшая военная помощь США помогла Мобуту отразить несколько попыток свергнуть его. Одних политических противников он приказывал пытать и убивать; других — втянул в свои правящие круги; третьих вынудил к изгнанию. За три десятилетия его правления Соединённые Штаты предоставили ему более миллиарда долларов гражданской и военной помощи; европейские державы — особенно Франция — внесли ещё больше. В обмен на такие колоссальные вложения США и их союзники получили режим, надёжно стоявший на антикоммунистических позициях, и удобный плацдарм для операций ЦРУ и французских военных. Но своей стране Мобуту принёс мало что, кроме смены названия — в 1971 году Конго стало Заиром.

Государственные СМИ величали его Вождём, Отцом Нации, Кормчим, Мессией. С одобрения США и Европы основные богатства страны текли в карманы Мессии и иностранных горнодобывающих компаний. Верность Мобуту западным покровителям делала его завсегдатаем Вашингтона, где он хитро

менял мундир на гражданский костюм, резную эбеновую трость и «африканскую» леопардовую шапочку — работы изящной парижской шляпницы. Рональд Рейган неоднократно принимал его в Белом доме, называя «голосом здравого смысла и доброй воли». Джордж Буш-старший приветствовал как «одного из самых ценных наших друзей», добавив: «Для меня честь — пригласить президента Мобуту первым из африканских лидеров с официальным визитом в мой президентский срок».

Мобуту вместе с окружением черпали из казны так вольно, что государство перестало работать. В 1993-м, не имея денег платить армии и чиновникам, он пустил в оборот новую валюту. Торговцы её не принимали — солдаты взбунтовались, разграбили магазины, учреждения, дома. Сотни убитых. Годами мусор лежал горами — некому было вывозить. Немногие иностранные авиакомпании ещё садились в стране, но избегали ночёвок — страховка не покрывала. Финансирование школы и больниц практически исчезло. Посольство США предупреждало сотрудников в столице: на блокпостах не открывать двери и не опускать стёкла — документы показывать через стекло, чтобы не лишиться кошелька.

К моменту свержения в 1997-м тридцатидвухлетнее правление сделало Мобуту одним из самых богатых людей мира: личное состояние оценивали в 4 миллиарда долларов. Он проводил уйму времени на своей яхте на реке у Киншасы, бывшего Леопольдвилля. Одно из больших озёр он переименовал в Озеро Мобуту Сесе Секо. Он обзавёлся дворцами во Франции, Бельгии, Португалии, Испании, Швейцарии и не только. Граница между государственным и личным для него не существовала: в один год он тридцать два раза отправлял государственный реактивный лайнер в Венесуэлу — перевезти пять тысяч длинношёрстных овец на своё ранчо в

Гбадолите; пока его собственную яхту ремонтировали в 1987-м, он просто реквизирует самый комфортабельный из немногих оставшихся пассажирских теплоходов на реке. И требовал — и получал — долю практически в каждой крупной компании, работавшей в стране.

Свести сегодняшние беды Африки исключительно к европейскому империализму — упростить историю. Но всё ж таки: взгляните на Мобуту. Кроме цвета кожи, мало что отличало его от монарха, правившего теми же землями век назад. Единовластие. Огромное состояние, отнятое у страны. Озеро, названное в свою честь. Яхта. Присвоение государственных активов. Крупные пакеты акций в частных компаниях, работавших на его территории. Точно так же, как Леопольд, правивший своим частным «государством» и ни с кем не делившийся основными прибылями от каучука, Мобуту обзавёлся собственным «карманным» набором золотых рудников — и каучуковой плантацией. Его привычка печатать деньги всякий раз, когда возникала нужда, больше всего напоминала леопольдовскую практику выпуска облигаций Конго.

«Побеждённые, — писал в XIV веке Ибн Хальдун, — всегда стремятся подражать победителям в главных чертах — в одежде, ремёслах, во всех отличительных признаках и обычаях». Роскошная «Villa del Mare» Мобуту — розово-белый мраморный дворец в Рокбрюн-Кап-Мартен на Французской Ривьере, с крытым и открытым бассейнами, золотой сантехникой и вертолётной площадкой — стоит всего в дюжине миль вниз по побережью от мыса Кап-Ферра, где когда-то располагались владения Леопольда. С одного мыса виден другой.

Какой эпитафией можно увенчать движение, сто лет назад отдавшее себя борьбе за справедливость в Конго?

У движения реформаторов Конго было два достижения, чья сила простирается далеко за пределы его эпохи. Во-первых, благодаря усилиям Эдмунда Мореля, Роджера Кейсмента и столь же мужественных, но менее известных фигур — Джорджа Вашингтона Уильямса, Уильяма Шеппарда, Эзекии Эндрю Шану, — мир получил колоссальный массив фактов, вписанных в историческую летопись. Этот массив устоял, несмотря на отчаянные старания Леопольда и его поклонников — тогда и теперь — сжечь его, заглушить молчанием, извратить мифотворчеством. Эта запись истины имеет особую ценность для континента, чья история переполнена пустотами и умолчаниями.

Второе великое достижение — сохранение среди сторонников движения особой традиции, особого взгляда на мир: человеческой способности негодовать перед лицом боли, причинённой другому человеку, независимо от цвета его кожи, страны или дальности расстояния.

Когда реформаторы Конго выступали на сотнях массовых собраний по всей Британии и США, они показывали слайды: фотографии взрослых и детей с отрезанными руками, принудительных работников в роли носильщиков, разрушенные деревни. “ЛЕКЦИЯ С ПАНОРАМНЫМИ СЛАЙДАМИ О ЗВЕРСТВАХ В КОНГО”, гласила реклама. «60 отличных фотографических слайдов, сделанных миссис Харрис, ранее работавшей в Баранга, Свободное государство Конго. Описание лекции переработано преподобным Дж. Х. Харрисом и мистером Э. Д. Морелем». Эти слайды были черно-белыми, примерно три дюйма в квадрате, предназначены для проекторов «волшебная

лампа». Тот, кто сегодня отправится на их поиски, может найти их. Они лежат в двух пыльных деревянных коробках на полке для хранения на первом этаже небольшого здания с низкой арендой в южном Лондоне. В этом здании находится офис Anti-Slavery International, ранее Anti-Slavery Society, ранее Anti-Slavery and Aborigines Protection Society, ранее British and Foreign Anti-Slavery Society. Джон и Элис Харрис управляли обществом много лет после своей работы с Морелем. Существовая непрерывно с 1839 года, оно является старейшей организацией по правам человека на земле. Сегодня, в этой комнате с коробками слайдов, мужчины и женщины двадцати лет энергично ходят туда и обратно, перенося плакаты, видеокассеты и пачки брошюр — о детском труде в Бангладеш, Непале и Малайзии, о женщинах в домашнем рабстве на Ближнем Востоке, долговой кабале в Бразилии, детской проституции в Таиланде, женском генитальном увечье в Африке, эксплуатации иммигрантов-домработниц в Англии.

Традиция, живущая в том лондонском офисе, развивалась и расширялась на протяжении последних двухсот лет. Сегодня мы реже говорим о гуманизме с его оттенком патерналистской щедрости и чаще говорим о правах человека. Базовые свободы в жизни не рассматриваются как дары, раздаваемые благожелателями, а, как сказал Кейсмент на своем суде, как права, которыми все люди обладают от рождения. Именно этот дух лежит в основе таких организаций, как Amnesty International, которая считает преступлением помещение кого-либо в тюрьму исключительно за его или её убеждения, будь то в Китае, Турции или Аргентине, и Médecins Sans Frontières, которая считает, что больной ребенок имеет право на медицинскую помощь, будь то в Руанде, Гондурасе или Южном Бронксе.

Движение за реформы в Конго в своём наилучшем проявлении не только помогло сформировать и укрепить определённые убеждения, но и перешагнуло их пределы. Современные правозащитные организации, как правило, имеют дело с последствиями — человек в тюрьме, женщина в рабстве, ребёнок без лекарств. Морель же говорил и о причинах: прежде всего о захвате африканской земли и труда, что и сделало возможной всю систему эксплуатации Леопольда. Именно этот радикализм — в подлинном и глубочайшем смысле слова — питал страсть ведущих деятелей конголезского реформаторского движения и в итоге привёл Мореля и Кейсмента, после их борьбы за справедливость в Конго, в тюрьму Пентонвилл.

Широкая традиция, частью которой они стали, уходит корнями к Великой французской революции и дальше; она питается примером людей, вставших против неравенства, от восстаний рабов в Америке до полувекового сопротивления, приведшего Нельсона Манделу к власти в Южной Африке. В своей десятилетней борьбе на мировой арене движение за реформы в Конго стало важнейшим звеном этой цепи, и нет традиции более почётной. Во времена конголезской кампании век назад сама мысль о полноте прав человека — политических, социальных, экономических — была смертельным вызовом для устоев большинства государств на земле. Таким вызовом она остаётся и сегодня.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

ГОМА, ВОСТОЧНОЕ Конго. Жаркий, солнечный день. По глубоким колеям израненных войной улиц тянет жареными подорожниками, выхлопами мотоциклов, переспелыми фруктами. Женщины несут детей на спинах, на головах балансируют ведра или узлы с бельём. Мужчины катят велосипеды, увешанные вязанками дров, ящиками газировки, канистрами с бензином. Грузовики с большими поклажами увозят на крыше целый слой пассажиров. Белые внедорожники и бронемшины миротворцев ООН, а в них солдаты — в голубых касках, беретах, бейсболках, а у индийских сикхов — в голубых тюрбанах. В рыночных рядах — тюки секонд-хенда из-за границы, и потому продавцы угля или бананов сидят в майках с надписями «Disneyland, San Francisco 49ers, Royal Hawaiian Resort».

Я приехал сюда писать статьи о гражданской войне, то затухающей, то вспыхивающей вновь, но невозможно не видеть всюду прямое продолжение того, что эта земля переживает уже более века. Природные богатства и сегодня уходят за границу, почти не оставляя ничего людям здесь. Признаки повсюду. С оглушающим рёвом в небе проносятся издававшие виды турбовинтовые «Антоновы» советской поры, гружённые оловянной рудой, добытой на богатом месторождении в глубинных районах страны. По красной грунтовке мчится трейлер, перегруженный брёвнами, оставляя за собой пыльный шлейф. И есть богатства, невидимые глазу: золотая пыль или мелкие алмазы, зашитые в подкладку рубахи или спрятанные под стелькой. По оценкам, 97 % золота Конго покидает страну, не проходя через налоги.

Как некогда Леопольд, перестраивавший дворцы и покупавший

виллы на ривьере на деньги Конго, так и Мобуту Сесе Секо обращал свои прибыли в дворцы. Один из них и сегодня стоит в Гоме: раскидистый краснокирпичный особняк с ухоженным газоном, спускающимся к озеру Киву. Беломраморные полы, винтовая лестница, ведущая в круглый кабинет, где висит безвкусная люстра из сотен стеклянных шариков. На инкрустированном столе золотыми завитками переплетены инициалы М и В — Mobutu и Bobi Ladawa, его второй жены (первая, символично, носила имя Мария-Антуанетта). Две гардеробные длиной по три метра каждая некогда ломились от её платьев. Раздельные его и её ванны: её — из розового мрамора, с двумя раковинами в виде ракушек и большой джакузи.

И сегодня в Конго продолжается практика принудительного труда. Разнообразные вооружённые группировки, сражающиеся в бесконечно запутанной гражданской войне, регулярно насильно привлекают мирных жителей: заставляют их носить боеприпасы, добывать воду и дрова, а порой и рыть землю в поисках золота. Согласно опросу 2007 года, проведённому среди более чем 2600 человек в этом регионе, свыше половины признались, что за последние полтора десятилетия их заставляли выполнять работы против их воли. В часе езды от Гомы я встретил одного из таких людей в лагере для беженцев, где несколько тысяч человек ютились в хижинах из травяной соломы, а более удачливые имели сверху синий тент, выданный ООН. Ему двадцать девять лет; на нём футболка и сандалии, он просил не называть его имени. В лагерь он прибыл всего два дня назад из своей деревни. Его левый глаз закрывает повязка. На прошлой неделе солдаты конголезской армии, сражавшиеся против повстанческой милиции, согнали его в носильщики. Во время боя он воспользовался суматохой и бежал.

Ночь он провёл в лесу, а вернувшись в деревню, обнаружил, что солдаты её разграбили, а жители разбежались. Другие военные снова приказали ему нести их снаряжение. Когда он отказался, они вонзили штык ему в глаз. Он видит немного, но неясно; врачи не знают, восстановится ли зрение полностью. Его жена и двое детей, двух и восьми лет, бежали в лес, и он лишь надеется, что они до сих пор там живы.

В Монгбвалу, в нескольких сотнях миль к северу от Гомы, где в конце эпохи Леопольда караваны закованных в цепи носильщиков гнали на золотые прииски, я оказался на месте зарождающейся гигантской шахты, которую разрабатывает транснациональная корпорация AngloGold Ashanti, базирующаяся в Южной Африке. В окружающих холмах люди живут в лачугах с земляными полами, освещаемых свечами или керосиновыми лампами. Но на вершине холма территория шахты — это небольшой «западный островок» с современными офисами, водопроводом, туалетами и электричеством. На мониторе компьютера австралийский геолог в хаки-шортах показывает мне трёхмерное изображение подземных залежей Монгбвалу: пласты золотой руды, окрашенные в ярко-красный и жёлтый, пересечены тонкими зелёными линиями других пород. На схеме отмечены и многие из более чем пятисот пробных скважин, пробуренных компанией алмазными буровыми наконечниками, некоторые из которых уходят почти на две тысячи футов в глубину.

Буровые работы подтвердили: здесь скрывается настоящее сокровище. Под пластом земли менее чем в полквдратной мили заключено свыше 2,5 миллиона унций золота. Во время моего визита на объекте трудилось около двух с половиной сотен сотрудников компании. Пока что их деятельность

сосредоточена в пределах огороженного периметра, тщательно охраняемого частными секьюрити, среди которых — непальские гуркхи, ветераны британской армии. Прожектора и высокий забор, увенчанный колючей проволокой, побудили местного конголезского правозащитника назвать этот лагерь «Гуантанамо». Лишь ничтожная доля доходов от подобных добывающих предприятий остаётся в стране — да и та, в значительной мере, оседает на счетах высокопоставленных чиновников. Так, AngloGold Ashanti за последние семь лет добыла в соседней Танзании золота на сумму свыше полутора миллиардов долларов, однако в виде налогов и роялти в самой стране осталось лишь девять процентов этой колоссальной суммы.

Потратив миллионы долларов на разведку, компания внесла лишь скромные пожертвования на нужды ближайшей больницы, школ, футбольного турнира и тому подобного, держась на почтительном расстоянии от коалиции местных групп и церквей, добывающихся поддержки для этой отчаянно бедной общины. «Из всего, что мы включили в наш список требований и жалоб, — говорит мне Ричард Магабусини, избранный вождь и член коалиции, — ничего не было сделано. Они всё время повторяют: “Мы только ведём разведку. Рассмотрим это позже”». “AngloGold Ashanti” предпочитает иметь дело с иной группой — собранием более сговорчивых «представителей общины», которых она сама и подобрала, что скорее напоминает карманный профсоюз при компании.

В Монгбвалу я провёл ночь под москитной сеткой в католической миссии и проснулся утром под звуки гимнов. Рядом возвышается просторный собор, возведённый бельгийцами: стрельчатые окна, тёмный деревянный потолок, от его парадных

ступеней открывается чарующий вид на западную окраину великого экваториального леса — того самого, где некогда разыгрался каучуковый террор. Над алтарём висит огромное, почти настенное полотно — наглядное свидетельство того, как бывшие хозяева колонии видели самих себя. Богоматерь с младенцем парят на золотом облаке; внизу, вознося цветы в знак поклонения, — девять или десять африканцев, взрослых и детей, некоторые из них держат знамя с названием старой бельгийской горнодобывающей компании Mines d'or de Kilo-Moto, работавшей здесь в колониальные времена. Внизу, в углу картины, изображён колдун с перьевым головным убором и ожерельем из раковин; испуганный, он обращается в бегство, поверженный этой странной смесью корпоративной мощи и Девы Марии.

Пишу эти строки спустя два десятилетия после того, как книга впервые вышла в свет. В начале работы было удивительно трудно заинтересовать ею кого-либо. Из десяти нью-йоркских издательств, получивших подробное предложение, девять ответили отказом. К счастью, десятое — Houghton Mifflin — решило иначе, как и Macmillan в Великобритании. Сегодня на английском и ещё на четырнадцати языках в печати более 750 тысяч экземпляров. Книга дала жизнь документальному фильму Пиппы Скотт «King Leopold's Ghost», нескольким рэп-композициям, авангардным постановкам на сценах Офф-Бродвея и Швеции, а также удивительной скульптуре калифорнийского художника Рона Гарригеса — коллажу из слоновой кости, каучука, оружейных деталей, стреляных гильз, костей, резных фигурок

баконго и многочисленных медалей, которыми Леопольд столь щедро награждал. Когда в 2016 году на экраны вышел фильм «The Legend of Tarzan» — попытка перезапустить старую франшизу для XXI века, — действие его перенесли в Конго Леопольда 1890 года. Кто оказался коварным злодеем? Леон Ром. А кто — дерзким, смелым спутником Тарзана? Джордж Вашингтон Уильямс. Сюжет, конечно, сводился к привычным подвигам на лианах, и вновь Голливуд представил белого героя, спасающего Африку при поддержке львов. Но всё же было отраднo увидеть на экране вагоны с награбленной слоновой костью, солдат из «Force Publique» и закованных в цепи каторжников — которых, разумеется, Тарзан освобождает. Жаль лишь, что в реальной истории это было куда труднее.

И всё же эта история продолжает жить и сегодня. На набережной бельгийского Остенде, в любимом курорте Леопольда, уже много лет возвышается величественная конная статуя короля, окружённая бронзовыми фигурами благодарных африканцев и местных рыбаков. Однажды ночью, в 2004 году, анархисты отпилили руку у одного из африканцев — чтобы памятник, как они объяснили в анонимном факсе, правдивее отражал реальное наследие Леопольда в Африке. Спустя четыре года бельгийский художник обливал голову и плечи другой статуи короля на брюссельской площади красной краской — символической кровью. А в 2020-м, в ответ на массовые протесты и петиции, власти убрали памятники Леопольду сразу в нескольких бельгийских городах. Для автора, который когда-то считал, что его книга, возможно, никогда не увидит света, всё это стало поистине примечательным путешествием сквозь историю.

Иногда я размышлял, почему столько издателей сказали

«нет». Большинство из нас в Северной Америке и Европе привыкло считать, что тирании, достойные внимания и изучения, — это коммунизм и фашизм. Подсознательно мы ощущаем большую близость к их жертвам — почти все они были белыми. Сознательно мы видим в них историческую новизну: десятки миллионов погибших, тоталитарные идеологии, выжигавшие любое инакомыслие. Но мы забываем, что десятки миллионов африканцев погибли ещё раньше — под властью колониализма. Колониализм тоже был тоталитарным: что может быть абсолютнее системы принудительного труда? И в колониях царила цензура: житель Бельгийского Конго имел не больше шансов высказаться за свободу в местной газете, чем диссидент в сталинском СССР. Колониализм тоже оправдывался стройной идеологией — от стихов Киплинга и лекций Стэнли до проповедей и псевдонаучных книг о форме черепов, «ленивых туземцах» и «гении европейской цивилизации». А называть каторжников *libérés* — «освобождёнными людьми», как это делали чиновники Леопольда, было столь же извращённым употреблением языка, как надпись «Arbeit Macht Frei» над воротами Освенцима. Коммунизм, фашизм и колониализм — каждый по-своему — утверждали право на тотальный контроль над жизнью подданных. И во всех трёх случаях последствия продолжали отравлять будущее ещё долго после формальной смерти самой системы.

Когда я начинал работу над этой книгой, я знал, что последствия колониализма Леопольда отзовутся далеко за пределами жизни тех, кто испытал его напрямую. Но я и

представить не мог, что сама книга откроет для меня целый мир их потомков. С момента её выхода я встречался с внуком Патриса Лумумбы и переписывался с внучкой Э. Д. Мореля. Я обнаружил скрытую диаспору конголезцев в США: почти в каждом городе, где я выступал, после лекции несколько человек задерживались и подходили поговорить. Через некоторых из них я смог отправить французское издание книги в школы и библиотеки Конго. В одном калифорнийском книжном магазине появилась разноцветная группа мужчин и женщин, знавших всё о Уильяме Шеппарде: оказалось, они из пресвитерианской общины, связанной с его старой миссией. В Стокгольме я оказался среди шведских баптистов, отмечавших память миссионера Э. В. Шёблома — одного из первых и самых мужественных критиков Леопольда. В Нью-Йорке ко мне подошла пожилая белая женщина с тяжёлым акцентом, наклонилась над столом и резко сказала: «Я жила в Конго много лет, и всё, что вы пишете, — правда!» — и исчезла, прежде чем я успел расспросить её подробнее. Однажды дома я застал телефонное сообщение: «Мне нужно с вами поговорить. Моего деда бельгийцы загнали до смерти как носильщика».

В 1998 году, одновременно с выходом в США, Призрак короля Леопольда вышел и во Франции, и в Нидерландах — двух главных языках Бельгии. Тогда в Антверпене мы вместе с историком Жюлем Маршалем (о нём речь шла в последней главе) отыскиали место на городских доках, где стоял Морель сто лет назад, фиксируя прибывающие грузы конголезской слоновой кости и каучука, и впервые понял, что перед ним — продукты рабского труда. К сожалению, Маршал вскоре скончался от рака, но успел получить хотя бы часть той признательности, которой был лишён при жизни.

В Антверпене и Брюсселе я встречал внимательных слушателей, обеспокоенных правами человека и извинявшихся за то, что в школе им не рассказывали о кровавом прошлом их страны в Африке. Газеты отзывались положительно. Но затем началась реакция. Она исходила от десятков тысяч бельгийцев, которые были вынуждены покинуть Африку в спешке, потеряв дома и привычный мир после провозглашения независимости Конго в 1960 году. Существовали десятки организаций бывших «колонистов» с названиями вроде «Братское общество бывших кадетов Центра военной подготовки европейцев в Лулуа-бурге». Коалиция этих групп запустила сайт с пространной тирадой против книги: «сенсационализм... смесь фактов, домыслов и вымышленных ситуаций». Другая атака на «лживые глупости» книги начиналась со скорбного обращения к самому Леопольду: «Ты, кто надеялся после долгой жизни наконец обрести вечный покой, ошибался». В одном провинциальном бюллетене бывших колонистов писали: «Псы ада снова спущены на великого короля».

Между тем в книге почти не было информации, которой раньше не публиковали бы другие исследователи, в том числе бельгийцы вроде Маршала. Но мы всё ещё живём в глубоко имперском мире, и несправедливо, что слова американца звучат весомее. «The Guardian» посвятила длинную статью «новой книге, вызвавшей бурю в стране, только начинающей осознавать своё колониальное наследие». В ней цитировался профессор Жан Стенжерс, консервативный африканист, заявивший: «Через два-три года её забудут». Премьер-министр Бельгии явно хотел побыстрее закрыть скандал: «Колониальное прошлое окончательно в прошлом, — сказал он газете. — Больше нет никакой сильной эмоциональной связи... Это история».

Но историю трудно стереть. В 2001 году министр иностранных дел Бельгии Луи Мишель разослал своим посольствам по миру секретную инструкцию: как отвечать на неудобные вопросы читателей «Призрака короля Леопольда и Сердца тьмы». (Его совет: переводить разговор на миротворческую работу Бельгии в современной Африке). Позднее, продолжая обороняться, он назвал Леопольда II «настоящим визионером своего времени, героем».

Иные события тоже помогли вернуть колониальное прошлое в политическую повестку Бельгии. Год спустя после выхода моей книги бельгийский писатель Людо Де Витте опубликовал труд «Убийство Лумумбы», где впервые собрал обширные доказательства причастности Бельгии к гибели первого демократически избранного премьера Конго. Вскоре фильм гаитянского режиссёра Рауля Пека Лумумба донёс эту историю до широкой аудитории. В 2001 году бельгийский парламент провёл расследование, подтвердившее многие выводы Де Витте, и правительство принесло официальные извинения. США, которые столь же активно добивались устранения премьера, так и не сделали этого.

Все эти события поставили в неудобное положение учреждение, описанное в финальной главе, — Королевский музей Центральной Африки. В 1999 году его представитель признал, что рассматриваются изменения экспозиций, «но абсолютно не из-за этой недостойной книги американца». Один из сотрудников-оппозиционеров начал писать мне письма о закулисных конфликтах в музее, и в итоге правительство назначило нового директора. В 2005 году временная выставка якобы рассказала «правду о колониализме», но оказалась шедевром уклончивости.

Лишь в 2018 году музей вновь открылся после пятилетней реконструкции. По-прежнему странно видеть колоссальное собрание африканского искусства за тысячи миль от мест, откуда оно было вывезено, но сегодня экспозиции куда честнее говорят о бремени рабства и колониализма. Отсутствие подобного взгляда раньше, впрочем, не было уникальным. Где, например, в США можно увидеть серьёзную музейную экспозицию о жестокой войне за колонизацию Филиппин или о длинной цепи военных интервенций в Центральной Америке и Карибском бассейне? И понадобилось четыре века, прежде чем в Вашингтоне появился Национальный музей истории афроамериканцев.

Перечитывая эту книгу спустя несколько лет, я снова остро почувствовал то, где хотел бы сказать больше. Наибольшее разочарование — в невозможности показать африканцев полноправными действующими лицами этой истории. Историки постоянно сталкиваются с этой бедой: письменных свидетельств от колонизаторов, богатых и влиятельных — в избытке, от колонизированных, бедных и беззащитных — почти нет. Мы знаем массу подробностей о нравах и быте Леопольда, и почти ничего — о вождях конголезских общин того времени, ещё меньше — о повседневной жизни деревенских жителей, погибших на резиновых промыслах. Мы можем проследить карьеру Стэнли, но почти ничего — о его ближайших африканских современниках, купцах с побережья, уже водивших караваны носильщиков вглубь страны, когда Стэнли только начинал «осваивать» территории для Леопольда. Мы имеем полные биографии Мореля, Кейсmenta, Шеппарда, но почти ничего — о Кандоло или Мулуме Ниама,

поднявших восстание и погибших. Эта диспропорция неизбежно смещает акцент и умаляет роль самих конголезцев.

Я бился над этой проблемой, но так и не нашёл решения. Есть прекрасные этнографические исследования народов Конго, но биографических свидетельств об отдельных африканцах той эпохи почти нет. История, рассказанная через персонажей, неизбежно превращается в историю Леопольда и тех, кто его поддерживал или противостоял ему в Европе и Америке. В самом начале работы над книгой один африканский романист сказал мне: «Чтобы рассказать всё по-настоящему, это должна быть художественная проза». В каком-то смысле он был прав: только в романе можно глубоко войти в мир чувств и переживаний простых конголезцев — так, как это сделал, например, Чинуа Ачебе для колониальной Африки или Тони Моррисон для американских рабов.

Однако сегодня у нас есть доступ к одному источнику африканских голосов в леопольдовской эпохе, которого не существовало, когда я писал книгу. Цитата африканца по имени Цвамбе, приведённая ближе к концу десятой главы, взята из серии интервью 1950-х годов с десятками конголезцев, переживших «каучуковый террор» полвека назад. Эти беседы вёл бельгийский миссионер Эдмон Боеларт, а затем вместе с другим миссионером, Густаафом Хюльстаэртом, и конголезским коллегой Шарлем Лонкамой перевёл их на французский. Оба священника в известной мере были антиколониалистами, из-за чего нередко имели проблемы с католическими властями. Центр Aequatoria, действующий при миссионерской станции близ порта Мбандака на реке Конго, вместе с бельгийскими сторонниками опубликовал полный текст этих интервью в Интернете — всего около двухсот страниц. К сожалению, все они слишком кратки,

чтобы дать целостное представление о чьей-либо жизни, но всё же представляют собой редкое свидетельство очевидцев. Более развернутая устная история африканца, пережившего эпоху Леопольда и её последствия, встречавшего Стэнли и позже работавшего у британских миссионеров, содержится в небольшой книге, неизвестной мне во время написания этой работы: “La Vie de Disasi Makulo: Ancien esclave de Tippo Tip et catéchiste de Grenfell” - «Жизнь Дизаси Макуло: бывшего раба Типпо Типа и катехиста Гренфелла» авторства Макуло Акамбу, изданной в Киншасе в 1983 году.

Для книги, которую я написал после «Призрак короля Леопольда», я несколько лет жил мысленно в окружении протестантских евангелистов, сыгравших ключевую роль в британском аболиционистском движении 1787–1833 годов. Этот опыт заставил меня задуматься о том, что в своей предыдущей работе я, возможно, недооценил значение евангелической традиции в успехе конголезской реформы среди британской общественности. Недавнее исследование Кевина Гранта «A Civilised Savagery: Britain and the New Slaveries in Africa, 1884–1926» укрепило это впечатление. Грант показывает, что практически все, кто писал о Мореле (включая и меня самого), упустили из виду тот факт, что баптистские миссионеры ещё до основания Ассоциации реформ в Конго Морелем собирали в Шотландии большие аудитории на «волшебные фонари» — слайды, демонстрировавшие зверства в Конго. (Как выяснил другой исследователь, многие из этих фотографий были сделаны и показаны фарерцем Даниэлем Й. Даниэльсеном, капитаном нескольких миссионерских пароходов, в том числе того, на котором путешествовал Роджер Кейсмент.) Грант также обнаружил тревожные факты о том, как одержимость

Морея конголезской кампанией приводила его к замалчиванию бедственного положения каторжников в Португальской Африке, которые добывали какао-бобы для его друга и покровителя, шоколадного магната Уильяма Кэдбери. И всё же описание Гранта лишь усиливает уважение к мужеству Мореля в годы Первой мировой войны. Он не только отбывал наказание на каторжных работах за свои антивоенные убеждения, в то время как его бывшие союзники-миссионеры без стыда поддались шовинистическому угару, но и оказался почти единственным, кто во время войны и после неё открыто отстаивал право африканцев на их собственную землю.

Почти через десятилетие после выхода этой книги появилась работа Тима Джила Stanley: “The Impossible Life of Africa’s Greatest Explorer”, основанная, в частности, на недавно ставшем доступным массиве документов. Я внёс несколько поправок с учётом открытий Джила, но, возможно, не в таком объёме, как того хотелось бы самому Джилу и другим поклонникам Стэнли. Читателям предстоит самим вынести суждение об этом сложном, измученном человеке, оставившем после себя столь противоречивые свидетельства о собственных переживаниях.

Благодаря письмам внимательных читателей, в последних изданиях книги Призрак короля Леопольда я исправил несколько незначительных ошибок. Но одно место, где не потребовалось никаких изменений, — это рассказ о числе жертв в пятнадцатой главе. Признать этот огромный масштаб утрат всегда было самым трудным для защитников Леопольда. Без точных данных переписей оценка всегда останется предметом приблизительных подсчётов. Но и тогда, и сегодня самые авторитетные оценки остаются высокими. В дополнение к тем, на которые я ссылался в той главе,

можно было бы упомянуть и многие другие. В обстоятельной истории, опубликованной в 2009 году, конголезский историк Исидор Ндайвел э Нзим, как и цитируемые мной учёные, также оценил сокращение населения территории в эпоху Леопольда и сразу после неё примерно в десять миллионов человек. Защитники Бельгии иногда указывают, что катастрофическая смертность наблюдалась и в других африканских колониях, а в относительном выражении — ещё выше среди американских индейцев. Оба замечания верны. Но они не отменяют и не оправдывают колоссальные человеческие потери в Конго времён Леопольда.

Эта книга впервые появилась сразу после того, как режим Мобуту пал, а сам он затем умер. Во время его долгого правления большинство государственных служб прекратило своё существование, а правительство стало, как и при Леопольде, в значительной степени системой, служившей обогащению самого лидера и его окружения. По показателям здравоохранения, продолжительности жизни, образования и доходов конголезский народ оказался в худшем положении к концу правления Мобуту, чем по завершении восьмидесяти лет колониального периода в 1960 году. Его солдаты содержали себя, собирая пошлины на блокпостах, генералы продавали военные самолёты с целью получения прибыли, а во время японского строительного бума посол Конго в Токио продал здание посольства и, по-видимому, присвоил деньги.

Когда Мобуту пал в 1997 году, многие надеялись, что его долго страдавший народ наконец-то пожнет плоды огромных природных богатств страны. Но этого не случилось. Разграбление

продолжилось при преемниках Мобуту, оставляя три четверти населения с доходом менее эквивалента \$2 в день. Диссиденты исчезают в тюрьмах, а коррупция носит откровенный характер: в 2012 году начальник штаба одного министра объявил на официальном бланке министерства цену за встречу с ним — \$6,000, причём \$3,000 дополнительно требовалось за встречу вне офиса. Другие новости из так называемой Демократической Республики Конго остаются мрачными: разграбленные школы и больницы, десятилетние солдаты с автоматами АК-47, примерно два миллиона изнасилованных женщин, иногда войсками, инфицированными ВИЧ. В течение многих лет после падения Мобуту восточные регионы страны время от времени раздирались гражданской войной. По всей стране действовали войска семи соседних африканских стран, беспощадные милиции местных военачальников и повстанческие группы из других стран, использовавшие эту огромную и незаконную территорию как убежище, такие как хуту-милиция, ответственная за геноцид в Руанде в 1994 году. Руандийская армия преследовала этих солдат в Конго, устроила своего рода контргеноцид, а затем присвоила себе природных ресурсов Конго на сумму более 250 миллионов долларов всего за два года. Различные силы, а также номинальное правительство Конго и несколько оппозиционных групп, были связаны или раздираемы постоянно меняющимся множеством союзов.

Многонациональные корпорации также участвуют в разграблении. То, что теперь защищает их интересы, — это уже не старая *Force Publique*, а подпольные соглашения с различными армиями и фракциями. Так же, как в старые времена поиск прибыли подстёгивался слоновой костью и каучуком, сегодня

эти компании с жадностью добывают алмазы, золото, древесину, медь, кобальт и колумбий-танталит, или колтан, используемый в компьютерных чипах и мобильных телефонах. Цена колтана порой соперничала с ценой золота за унцию; восточный Конго обладает крупнейшими в мире запасами. Наиболее ожесточённые бои иногда смещались в зависимости от колебаний цен на сырьё, ведь сражались за минералы, а не за идеологию. Я иногда слышал от конголезских друзей: «Мы бы не имели столько бед, если бы не были столь богаты».

Борьба за эти богатства привела к огромной потере человеческих жизней. Точные статистические данные неизвестны, и оценки сильно разнятся, но подсчёты прямых и косвенных смертей варьируются от двух до пяти миллионов. Среди погибших было мало солдат. Большинство — обычные мужчины, женщины и дети, оказавшиеся под перекрёстным огнём, неудачно наткнувшиеся на мины или вынужденные спасаться бегством, уходя в леса или в переполненные лагеря беженцев, которые в сезон дождей превращаются в поля грязи. Как и во времена Леопольда, наибольший урон наносят болезни, опустошающие травмированное, голодное население, часть которого находится в бегстве. Несмотря на периодические перемирия и соглашения о разделе власти, смертность продолжает оставаться высокой.

Повстанческие милиции, африканские соседи Конго и некоторые из их корпоративных союзников мало заинтересованы в прекращении «распада государства». Они предпочитают экономику «наличные в чемоданах» налогообложенной и регулируемой системе, которая дала бы всем гражданам реальную долю прибыли от природных ресурсов. Но для Конго сочетание огромного минерального богатства и дисфункционального правительства

оказалось катастрофическим. Когда в государственной казне нет денег, армии превращаются в самофинансирующиеся сети шахтёров и контрабандистов. Когда школ и рабочих мест мало, они легко вербуют детей. Когда миллионы стрелкового оружия, циркулирующего по Африке, можно купить на уличных базарах или у солдат и полицейских, которые не получили зарплату, оружие становится доступным всем.

Нет могущественной внешней силы, подобной реформаторам Конго под руководством Мореля, которая могла бы лоббировать меры помощи. И, разумеется, неясно, какая помощь была бы наиболее эффективной. Но некоторые меры всё же следует попробовать. Одной из них было бы прекратить бездумно поставлять оружие в Африку. Только в 1990-е годы Соединённые Штаты предоставили африканским армиям военную технику и подготовку на сумму более 200 миллионов долларов, включая шесть из семи армий, участвовавших на раннем этапе гражданской войны в Конго. Особенно разрушительной была долгосрочная поддержка США Руанды, которая уже два десятилетия спонсирует ряд антиправительственных конголезских милиций.

Гораздо более крупная и оснащённая полномочиями миротворческая сила ООН также могла бы помочь, хотя международное вмешательство в стране похоже на то, как если бы охранники патрулировали банк во время ограбления. Но альтернатива ещё хуже. И, наконец, для всей Африки одним из шагов к выравниванию международного экономического поля, которое остаётся несправедливо настроенным против бедных, было бы прекращение субсидий и торговых барьеров, из-за которых фермерам в странах Южного полушария так трудно продавать свой урожай в Европу или Северную Америку.

Я написал эту книгу отчасти для того, чтобы показать, насколько глубоко европейский колониализм повлиял на мир, в котором мы живём. И, вспоминая, как США и Европа защищали свои инвестиции, поддерживая алчных африканских диктаторов, таких как Мобуту, мы должны говорить и о неоколониализме. Но я хочу закончить на ноте осторожности. Несмотря на воровство Леопольда и его преемников, было бы неправильно полностью винить колониализм в проблемах современной Африки. Большая часть истории состоит из завоеваний одних народов другими. Тем не менее, от Ирландии до Южной Кореи страны, когда-то жестоко колонизированные, сумели построить относительно процветающие и демократичные государства. То, какой была структура общества до завоевания, сильно влияет на то, насколько хорошо оно восстановится после него. Страны, которым удалось лучше справиться после ухода колонизаторов, часто обладали более развитой экономикой, сильным чувством национальной идентичности, письменным языком или долгосрочными торговыми связями.

Другие регионы мира справились значительно хуже, и это касается большей части Африки. Здесь задействовано несколько факторов, которые выходят далеко за рамки колониального наследия. Один из них — ужасное положение женщин и всё связанное с этим насилие, репрессии и предрассудки. Другой — глубоко укоренившаяся терпимость и даже поклонение сильным лидерам, таким как Мобуту. Наконец, в больших частях Африки долгий период местного рабства всё ещё катастрофически вплетён в социальную ткань общества.

Эти же препятствия существуют и в других местах. Дискриминация женщин замедляет справедливость и прогресс в десятках стран. Демократия как в Соединённых Штатах, так и в Европе находится под угрозой со стороны властолюбивых демагогов, которые быстро обращаются к этническому шовинизму. И Африка не одна в своём наследии рабства: Чехов, зная тяжесть истории крепостного права в своей стране, говорил о том, как русские должны выжимать рабство из себя, капля за каплей. Продолжающиеся трудности России показывают, насколько долгим и трудным является этот путь.

Даже без проблем, связанных с колонизацией, рождение жизнеспособного, по-настоящему демократического общества обычно является медленным, трудным и неполным процессом. Чтобы Западная Европа смогла перейти от Священной Римской империи и множества герцогств, княжеств и мини-королевств к своему нынешнему многообразию наций, потребовались века кровопролития, включая смертельно опасную Тридцатилетнюю войну, чья анархическая многогранность и наплыв грабящих чужаков напоминают современное состояние Конго. Но Европе в конечном итоге удалось преодолеть всё это, и я надеюсь, что Африка сможет сделать то же самое.

Адам Хохшильд, июнь 2020 года

